

**ВИТАЛИЙ
ВАСИЛЕВСКИЙ**

**ВРЕ-
МЕН-
НИК**



В И Т А Л И Й

ВРЕМЕННОК

РАССКАЗЫ • ПОВЕСТИ • ОЧЕРКИ

ВАСИЛЕВСКИЙ

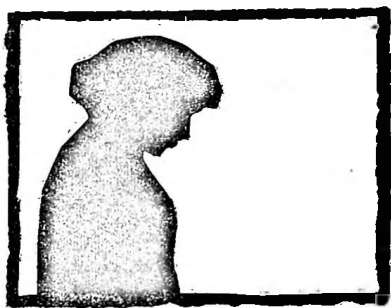
БИБЛИОТЕКА КГПИ

Инв. № 186551

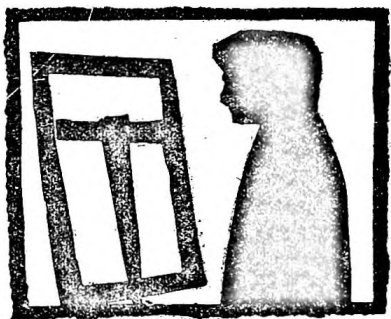
Виталий Василевский известен читателям как автор книг «Сердце победителя», «Восенная косточка», «Начало пути», «Вчера и сегодня», «Пели песню девушки», «Летопись».

В повестях и рассказах, вошедших в новую книгу В. Василевского «Временник», поднимаются проблемы, которые глубоко волнуют нашего современника. Тема нравственного, морального совершенства людей, тема воспитания нового человека, свободного от пережитков рабской мещанской морали с ее равнодушием к окружающему, эгоизмом и жестокостью, остро решается в таких произведениях В. Василевского, как «Волков», «Тебе можно позавидовать», «По ленивой волне», «Юва — семья, гнездо, дом». Жизненно правдивы и убедительны образы людей долга, совести, рабочей чести, которых нельзя прельстить хваткой обманной фразой, которые открыто и смело идут на конфликт с носителями пережитков старого («Волков», «Моментальный снимок», «Переходный возраст»),

Художник Е. И. БАЛАШЕВА



РАССКАЗЫ







УСТИНЬЯ ИВАНОВНА

Старший политрук Пахомов был ранен летом сорок первого года.

Очнулся он в санитарном автобусе, вбитом вражеской бомбой в кювет,— значит, забытие было таким крепким, что Пахомов не расслышал ни взрыва, ни треска искромсанный машины, ни предсмертных стонов соседей.

Лежал он на полу, придавленный, как бревном, окоченевшим трупом. Выбравшись

из машины, Пахомов увидел, что мертвый шофер положил голову на руль, словно уснул. Сухая земля у автобуса впитала кровь, и было похоже, что здесь опрокинули ведро дегтя.

Дорога была забита грузовиками, то ли поломанными, то ли брошенными. Раздувшиеся от солнечного жара, слонopodobные туши лошадей лежали плашмя на асфальте.

Батальон вчера сражался в окружении, и Пахомов понял, что дорога на Лугу теперь перерезана противником. Следовательно, нужно было идти в обход. И он свернул на проселок, ведущий в глухой лес.

Вероятно, он часто падал от слабости, терял сознание или попросту засыпал в ухабах. В сумерках он вышел к железной дороге. Рельсы сизыми ручьями струились на восток.

Вдруг из-за поворота вылетел без гудка, со свистом рассекая вечерний воздух, паровоз, увешанный, словно березовыми вениками, красноармейцами в выцветших гимнастерках. Они висели на лесенках, площадках, цепляясь за какие-то невообразимо узенькие выступы.

«Как же так,— удивился Пахомов,— разве немцы здесь не прошли?»

А паровоз умчался, унося на задней стенке тендера багровый сполох заходящего солнца.

В канаве стояла лужа, черная, маслянисто-тяжелая, припудренная песком, но Пахомову сейчас было не до брезгливости — подполз, приник потрескавшимся губами, долго тянул противно-теплую воду. И тут же уснул.

Проснулся он на телеге в копне медово-душистого сена. Лошадь шагала шагом, под телегой звякала какая-то железка. У самого конского хвоста сидела боком к Пахомову, свесив ноги с грядки, женщина в белом платочке. Она была плотной и показалась ему похожей на каменную скифскую бабу с кургана в Херсонской степи.

Над лесом висел новорожденный месяц, нежный, розово-голубой, словно младенец.

Телегу резко тряхнуло в ухабе, и Пахомов застонал.

Женщина обернулась:

— А!.. Очнулся, комиссар?

Первые дни Пахомов лежал в клетке на койке ничком, словно в стеклянном гробу: все видел, все слышал, но смутно, и ничем не интересовался, будто уже отмаялся.

Сквозная рана на плече затягивалась, но, вероятно, он был контужен в санитарной машине, ибо зачастую на него нападал безумный страх, и Пахомов радовался, что заточен в стеклянном гробу — убежище от неотвратимой судьбы.

А судьбы не надо бояться... Судьба — добрая, она кормит Пахомова с ложечки бульоном, обмывает, расчесывает деревянным гребнем уже начинающую курчавиться русую бороду. Судьбу зовут Устиньей Ивановной, она фельдшерица-акушерка, живет на берегу озера в пятистеннике, поставленном ее дедом-лесником.

Приподнимаясь на локте, Пахомов видел в окне озеро, черное, заросшее ряской, похожее на вышитый елочками зеленой шерстью коврик над детской кроваткой.

Хозяйство в доме вела тетя Клава, бессловесная старушка с крохотным коричневым, словно из кудели, личиком.

Весь день в доме стояли зеленые сумерки от выросших в палисаднике тополей, и дом был похож на аквариум, и тетя Клава плавала в нем туда-сюда рыбкой, увы, не золотою, а темно-медной, неказистой. Перед божницей круглые сутки горела лампада, и в горнице приятно пахло вымытыми горячим целоком полами и развешанными по стенам пучками мяты, полыни, укропа.

Управившись с нехитрыми делами, тетя Клава садилась в переднем углу под божницей с Библией, читала, беззвучно шевеля губами, и, вероятно, события сорок первого года казались ей пришествием анти-

христа, потому что старушка непрестанно всхлипывала и крестилась.

Поздним вечером, иногда ночью скрипели колеса у ворот, в темное окно стучали кнутовищем, и Устинья Ивановна с привычной неторопливостью одевалась, уезжала. Возвращалась она утром, смертельно усталая, осунувшееся лицо ее было покрыто влажным матовым глянцем, словно от испарившейся рассветной росы.

Заглянув в клеть к Пахомову, она грубо шутила:

— Война гудит, а бабы рожают. Довоенный посев!..
Такого богатыря молодуха в Выселках отпечатала — загляденье! — Подумав, Устинья Ивановна вздыхала: — Теперь бабам до-о-олго поститься: оскудело мужское племя!

И уходила на сеновал, спала там до обеда, наверное, без сновидений.

Часто навевались пациенты: деревенские бабы, жилистые старики, суетливые старушки, и Устинья Ивановна запиралась с ними, шепталась, наделяла порошками и мазями из домашней аптечки.

Днем она никогда не ездила к больным, — Пахомов подметил это, но не придавал значения.

Вымыв, накормив с ложечки Пахомова, Устинья Ивановна охотно вступала в беседу, примостившись на краю деревянной кровати, но разговор обычно состоял в том, что она рассказывала деревенские новости, а Пахомов поддакивал ей улыбкой.

Отмалчивался он потому, что блаженная лень ододела.

— Полицей навевывался... Кузьма Зуйков, бывший топорник нашей пожарной команды.

«А я и не знал, что появились полицаи...»

— Тобою интересовался: дескать, обер-лейтенант требует полной описи населения.

«Гм, обер-лейтенант! Должно быть, комендант района...»

— Ну, я отрезала: никого не касается, что взяла в дом муш-шину!

Она так и произнесла, пожалуй, нарочно: муш-шину.

«Это она меня взяла в дом муш-шиной...»

— А ты женатый?

Пахомов кивнул: женатый.

— Детишек много?

Пахомов показал пальцами: двое.

— И-и-и!..— Устинья Ивановна пригорюнилась.— А меня не благословил бог детьми... Кадровый или запасник?

Как в этом случае ответить: улыбкой или жестом? С трудом Пахомов прошептал, что он преподаватель истории в средней школе, ушел на фронт добровольцем в первый день войны. И закрыл глаза.

— Спи, спи, бог с тобою,— сказала Устинья Ивановна, вставая.

Недели через две, когда Пахомов начал ходить по избе, держась за стенку, Устинья Ивановна ему преподнесла:

— Сегодня в баню пойдем! Веничком тебя прожгу!..— И, заметив, что он смутился, рассмеялась:— Да ты не робей! Поди, отшибло все мужские понятия!

На полке, в сухом каленом зное, дерущем и глаза и горло, Устинья Ивановна, так часто напоминающая Пахомову скифскую бабу, порозовела, и, любуясь ее статью и мощью, он подумал:

«О, псковская богиня, рожденная из мыльной банной пены!..»

Преподаватель истории был склонен к сентиментальности...

Изгоняя из него немощи, Устинья Ивановна и вправду хлестала чудодейственным веником,— Пахомов круто пошел на поправку.

И однажды спохватился:

— А где пистолет?

— В нужник бросила.

— А... партбилет?

— Сожгла в печке вместе с вшивой гимнастеркой и удостоверением личности,— хладнокровно сказала Устинья Ивановна.

— О! О! О!— простонал в отчаянии Пахомов, взявшись обеими руками за голову.

Если б дотянулся до Устиньи Ивановны — ударил бы.

— Теперь тебе эта книжечка не потребуется, — раздельно сказала она, безучастно глядя на плачущего Пахомова. — Хватит, покомиссарили!

— Как же я с ними встречусь? Как им в глаза взгляну?

— Кому это — им?

— Коммунистам!

— Э, да ты еще надеешься с коммунистами встретиться? — изумилась Устинья Ивановна. — И напрасно, совершенно напрасно!

— Обязательно встречусь! — взвизгнул Пахомов.

— Ну, комиссар, — неожиданно серьезным тоном сказала Устинья Ивановна, — я так думаю: если у коммуниста совесть чиста, то партия ему все прочее простит. Опять же на меня, бабу зловредную, сошлись. Я не откажусь, бумагу подпишу: струсила, сожгла... А теперь мы с тобою в полоне!

— В полоне, — бессмысленно, будто в бреду, повторил Пахомов.

— В полоне, — эхом, с обескураживающей ясностью подтвердила Устинья Ивановна.

И ночью она пришла к нему и бесстыдно воскресила его мужественность, и когда она обнимала, когда целовала, то рот ее был в легком спиртовом пламени.

Теперь Пахомов окончательно раскис, зато к обеденному столу прикипел плотно: управлялся и со щами, и с ухой, и с жареной рыбой, и с пшенной кашей, да так люто, что тетя Клава в растерянности вздрагивала, а Устинья Ивановна с удовлетворением крикала.

«Веду растительный образ жизни», — посмеивался над собою Пахомов.

На него напала бесконечная болтливость, и вечерами он терзал Устинью Ивановну:

— Пойми, царь, царь Николашка, дурак из дураков, но не пустил немцев к Киеву и Минску. Сашка

Керенский, тоже дуролом, сдал Ригу со злым умыслом. В начале восемнадцатого года регулярной армии не существовало, но на вашей же Псковщине немцев остановили отряды питерских рабочих, красногвардейцев... А сегодня немцы у Ленинграда, Москвы, на Дону, в Крыму. Когда ж такое было в истории России!

— Кутузов, однако, впустил французов в Москву, — трезво напомнила Устинья Ивановна.

— То Наполеон!.. А с нами воюет ефрейтор!

Когда Устинья Ивановна задумывалась, то в лице ее прорезались твердые холодные черты каменной скифской бабы.

И сейчас она думала долго, сосредоточенно.

— Время свое покажет...

Преподаватель истории с любопытством посмотрел на фельдшерицу.

— Это ты к чему?

— А к тому, что на близком расстоянии пропорции путаются. Может, внуки наши прочтут историю без прикрас и узнают, где право, где лево.

— А пока, значит, в полоне сидеть? — с горечью сказал Пахомов.

— Хочется, так сиди! — зло фыркнула Устинья Ивановна и быстро ушла...

Ежевечерне Пахомов нашептывал ей с беспросветным унынием:

— Какая была держава, какая армия!

— А мы с тобою теперь и держава и армия, — сказала Устинья Ивановна, и были слова эти самой твердой чеканки.

Но Пахомов предпочитал слушать не ее — себя.

— Русь в татаро-монгольском полоне была, теперь в немецкий угодила...

— Э! — хмыкнула Устинья Ивановна. — «Сдюжим!», как сказал недавно по радио граф Алексей Николаевич Толстой.

— Где ж это тебе довелось слушать по радио Алексея Николаевича? — прищурился Пахомов.

Не смутившись, Устинья Ивановна пошутила:

— Край у нас лесисто-болотистый. «Там чудеса:

там леший бродит, русалка на ветвях сидит...» В чаще леший ухает.

— Сдюжим?— спросил себя Пахомов.— Нет?— Ему было не легко сказать, но он сказал:— Нет! В полоне... Без армии уже не подняться.

Откинувшись плечами на стенку клетки, да так, что доски захрустели, Устинья Ивановна расхохоталась.

— Это я в полон пойду? Я?... Дудки! Помню, мать моя на четвертом десятке взялась за грамоту, осенним вечером при лучине открыла букварь и прочитала вслух по слогам: «Мы не рабы... Рабы не мы». Вот и запали вешие слова с того вечера в душу, а было мне тогда шесть годков. Ха! На плаху взойду!— гневно добавила она.

— Однако...

— А чего «однако»?— Устинья Ивановна быстро вскипала и так же моментально отходила.— Однако, что при немцах живу мирно и бабам помогаю рожать? Да? Ремесло такое... Однако, что самогон в бане варю? Грешна, люблю опрокинуть рюмку под малосольный огурец! Опять же спирта в аптечке нету, а самогон тройной перегонки горит, подлец!.. Однако, что с тобой сплю? Эх, комиссар, я ж баба румяная!..

— Эдак каждый найдет себе оправдание.

— Ты уже нашел: контузия.

— Да не в контузии дело,— с досадой возразил Пахомов,— а в том, что все рухнуло, все рассыпалось. Пепелище!.. Как это в «Слове о полку Игореве»?.. «О русская земля, уже за шеломянем еси!»

— За Шелонью еси,— подхватила Устинья Ивановна и, заметив недоумение Пахомова, объяснила:— Это у нас река Шелонь... Омутистая! В омутах водяной затаился, русалки резвятся. Колдовство!— И, потянувшись, засмеялась.

Она смеялась грубо, раздувая ноздри, но иногда как бы всхлипывала, и это всхлипывание звучало по-детски трогательно, и Пахомов умилялся, прощал Устинье Ивановне развязные, какие-то судорожные манеры, властный тон, матерщину, какой она не раз при нем потчевала не только пациентов, но и тетю Клаву.

— И ты русалка?— улыбнулся Пахомов.

— Я ведьма,— серьезно ответила Устинья Ивановна.

Как-то за вечерним чаепитием, сидя у самовара, Устинья Ивановна взглянула в окно и с досадой поморщилась:

— Ну-у, полицай пожаловал. Черт несет!

По тропинке от озера к дому ехал верхоконный.

— Кузьма Зуйков! Была я народным заседателем в суде, схлопотала ему три года за злостное хулиганство.

— Теперь он припомнит тебе эти три года,— сказал Пахомов.

— Самогоном откуплюсь,— успокоила его Устинья Ивановна и в самом деле попросила тетю Клаву принести с погреба бутыль.

У пышноусого Кузьмы был обиженный вид, словно он забыл, что приглашен в воскресенье на именинный пирог, и плотно пообедал дома.

Поздоровался он с Пахомовым без удивления,— конечно, знал, что Устинья Ивановна взяла в дом мужчину.

— Ну, что там, в райцентре?— спросила хозяйка. Полицай выпил, пососал усы.

— Обстановка проясняется. Библиотеку закрыли, а книги— в костер! Дом культуры закрыли. Сельскохозяйственное училище эдаким же манером.

— Не ценили советскую власть!— вырвалось у Пахомова.

— Не за что было ее ценить,— вольно усмехнулась Устинья Ивановна и предложила гостю очередную стопку.

Посмотрев на себя со стороны, Пахомов со стыдом признал, что его, так сказать, не шокирует соседство немецкого полицая, что упоминания в разговоре о коммандатуре, старостах, обер-лейтенанте не возмущают, а нагоняют тоску...

— Чем же твой намерен заняться при нынешнем положении?— вдруг кивнул на Пахомова полицай.

— В попы пойдет,— беспощадно распорядилась судьбою Пахомова Устинья Ивановна.— В Отрадном церковь открывают. С благосклонного разрешения немецких властей.

— Да, да, да... Дело не пыльное,— согласился гость,— но ведь требуется надлежащая квалификация.

— Научится! Вон, божественное пособие.— И Устинья Ивановна достала из-за икон растрепанную, в матерчатом переплете Библию, развернула: страницы пестрели восковыми накрапами, похожими на янтарные запонки.

Потрогав пальцем запонку, полицай завздыхал:

— Премудросты!..— Опрокинул стопку, перевел оценивающий взгляд на Пахомова.— В попы, пожалуй, не потянет: внешность не та. А в дьяконы возьмут за милую душу.

— И это не худо,— лениво засмеялась Устинья Ивановна.

— Знамо дело.

Прощаясь, Кузьма так жалостливо посмотрел на початую бутыль, что Устинья Ивановна без объяснения сунула ее гостю в карман.

Сквозь приоткрытую дверь Пахомов услышал, как на крыльце Устинья Ивановна спросила:

— Ну, как процветаете при новых-то порядках?

— Да частному сектору вроде бы послабление,— шепнул полицай,— но зябко, Устинья Ивановна, болотно... И лавочники и старосты поминутно озираются!.. А ты бы своему сказала, чтоб не распускал языка.

— Рясу наденет и примолкнет,— пообещала Устинья Ивановна.— Чего еще?

Полицай замялся:

— Зря, ой зря ты зачестила на пристань.

— На пристань езжу к страждущей Пелагее,— громко сказала Устинья Ивановна.— Как у нее сердце зашлось, гонит подводку. И мне надоело трястись чуть не каждую ночь!

— Поди, не страждущая Пелагея спалила немецкий пакгауз.

— Вот ты и карауль, если нанялся немцам в холуи!

— Ну ты и язва,— сказал с уважением Кузьма, — вот язва!

— А иди-ка ты!..— вдруг вспылила Устинья Ивановна и, расхохотавшись, ошеломила Кузьму такой свистящей и репой матерщиной, что лампадка перед божницей зашаталась.

Когда она, позевывая, вернулась в избу, присела к потухшему самовару, Пахомов с сердцем сказал:

— Легко же ты меня пристроила!

Протопали копыта под окнами, всхрапнул конь.

— Знаешь, мне здесь виднее,— строго сказал Устинья Ивановна.— В полку ты был как патрон обойме. У деревни свой нрав и свой нор.

— Это я понимаю.

— Ничего ты не понимаешь,— мягко продолжала Устинья Ивановна.— Иди в попы. Очень мне хочется попастьей пожить.

Как-то после обеда Устинья Ивановна быстренько управилась с пациентами и ушла на сеновал, а Пахомов остался на высоком о пяти ступеней крыльце и с глубокомысленным видом погрузился в пищеварительный процесс.

Он видел перед собою черное озеро, похожее на закопченное ко дню солнечного затмения стекло, а за озером перелески, холмы, узкие, рыжие, как брошенные в траву солдатские поясные ремни, дороги, далекие деревушки, журавли колодцев, торчащие вразнобой, словно спицы лопнувшего велосипедного колеса.

Пронизывающая сердце тишина стояла над землею, но ведь не прошла страда; из скупых рассказов Устиньи Ивановны Пахомов знал, что колхозники... э, вчерашние колхозники, а нынешние свободные землевладельцы жнут хлеба серпами ночью и сразу же увозят снопы подальше в лес, в неприступные чащи.

«Призрачна ж твоя власть, господин обер-лейтенант!— злорадно ухмыльнулся Пахомов.— Полон-то оборачивается фикцией!..»

Сам того не замечая, он чаще и чаще смотрел на жизнь глазами Устиньи Ивановны.

На тропинке за озером показалась девушка в линочехе, застиранном сарафане. Она быстро шла, опустив голову, машинально то расплетая, то заплетая переброшенную через плечо тугую, цвета воронова крыла косу. Вбежав на косогор у дома, она выпрямилась, перевела дыхание и заметила на крыльце Пахомова. Сконфузившись, она подошла к колодцу, вылила воду из ведра в колоду и аккуратно вымыла запыленные ноги.

— Здравствуйте! А тетя Устя дома?

Она глядела на Пахомова и застенчиво и лукаво, и он догадался, что русая борода ему к лицу, понял — по округе идет молва, что Устинья Ивановна взяла в дом доброго молодца.

— Дома, дома, да понимаешь... — Пахомов не удержался от самодовольной улыбки.

Глаза у девушки были серо-синие; под кофтой стояли твердые груди; босые, покрасневшие от жгучей колодезной воды, с оловянного отблеска ногтями ноги были маленькие, но сильные. Темно-золотистый загар отлакировал нежное ее личико и голые до локтей руки.

— Мое дело безотлагательное, — требовательно сказала она.

Из сеней выглянула тетя Клава, кивнула: «Здравствуй, Алена», послушала и послала девушку на сеновал: разбуди, мол, сама, а мне напарываться на ругань Устиньи Ивановны не хочется...

И действительно, сперва на сеновале раздалось раздраженное восклицание: «А, жизнь проклятая, отдохнуть не дадут!», но едва Устинья Ивановна увидела Алену, как всполошилась: «Да что случилось-то?» — и, не дав ей промолвить слова, увела в горницу.

На крыльце, проходя мимо вставшего Пахомова, она пошутила:

— Извини, у нас дело женское, секретное.

Буквально через минуту она вернулась побледневшая, но сосредоточенная, как бы заряженная душевным напряжением.

— Мы уходим, — сообщила она и Пахомову и тете Клаве. — Видно, задержимся. — И вдруг выругалась: —

У-у-у, бабы длинные языки! Ну я с ними расправлюсь.

Накинув на голову принесенный теткой полушалок, она широко зашагала по тропе вниз к озеру. Алена вприпрыжку спешила за нею, быстрым шепотом что-то досказывая.

Ничего удивительного не было в том, что Устинья Ивановну внезапно вызвали к больному, даже не при-слав подводы, но потому ли, что надвигалась гроза и не-подвижный, полный истомы, давящий на сердце лес-ной воздух сгустился до физически осязаемой плотно-сти и бесконечно просторные, светлые поля притихли так, как притихает обычно земля перед слепящим взрывом молнии, потому ли, что тетя Клава, проводив племянницу и Алену, рухнула на колени перед киотом и, отбивая поклон за поклоном, взмолилась: «Спаси, всевышняя, не обойди милостью», но Пахомов места себе не находил — и на кровать бросался ничком, и дрова рубил под навесом, лихо ухая при каждом взмахе топора... Что-то подсказывало ему, что случилось недоброе.

В предгрозовых сумерках бешено загревели копыта по спекшейся от жары дороге, наметом к открытым окнам подскакал Кузьма Зуйков, привстав на стремянах, крикнул:

— Устинья Ивановна!

— Ушла! Ушла с Аленой! Днем ушла! — тоже криком ответила ему тетя Клава, выбегая за ворота. — А куда — не сказывала. Ой, лихонько!

Пахомов подошел к окну.

На скуластом лице Кузьмы на этот раз не было всегдашнего обиженно-сонного выражения, в седле он сидел как впаянный; нагайка плясала в толчками содрогавшейся правой руке.

— Какая Алена? Из Выселок или из Сталинского колхоза?

Был бы Пахомов поспокойнее — подивился б живучести названий: в районе властвуют немцы, а деревни именуются по-прежнему.

— Из Выселок! Хромой Анастасии дочка.

— А! — коротко простонал полицей, врезал нагай-

На тропинке за озером показалась девушка в линочехе, застиранном сарафане. Она быстро шла, опустив голову, машинально то расплетая, то заплетая переброшенную через плечо тугую, цвета воронова крыла косу. Вбежав на косогор у дома, она выпрямилась, перевела дыхание и заметила на крыльце Пахомова. Сконфузившись, она подошла к колодцу, вылила воду из ведра в колоду и аккуратно вымыла запыленные ноги.

— Здравствуйте! А тетя Устя дома?

Она глядела на Пахомова и застенчиво и лукаво, и он догадался, что русая борода ему к лицу, понял — по округе идет молва, что Устинья Ивановна взяла в дом доброго молодца.

— Дома, дома, да понимаешь... — Пахомов не удержался от самодовольной улыбки.

Глаза у девушки были серо-синие; под кофтой стояли твердые груди; босые, покрасневшие от жгучей колодезной воды, с оловянного отблеска ноготками ноги были маленькие, но сильные. Темно-золотистый загар отлакировал нежное ее личико и голые до локтей руки.

— Мое дело безотлагательное, — требовательно сказала она.

Из сеней выглянула тетя Клава, кивнула: «Здравствуй, Алена», послушала и послала девушку на сеновал: разбуди, мол, сама, а мне напарываться на ругань Устиньи Ивановны не хочется...

И действительно, сперва на сеновале раздалось раздраженное восклицание: «А, жизнь проклятая, отдохнуть не дадут!», но едва Устинья Ивановна увидела Алену, как всполошилась: «Да что случилось-то?» — и, не дав ей промолвить слова, увела в горницу.

На крыльце, проходя мимо вставшего Пахомова, она пошутила:

— Извини, у нас дело женское, секретное.

Буквально через минуту она вернулась побледневшая, но сосредоточенная, как бы заряженная душевным напряжением.

— Мы уходим, — сообщила она и Пахомову и тете Клаве. — Видно, задержимся. — И вдруг выругалась: —

У-у-у, бабы длинные языки! Ну я с ними расправлюсь.

Накинув на голову принесенный теткой полушалок, она широко зашагала по тропе вниз к озеру, Алена вприпрыжку спешила за нею, быстрым шепотом что-то досказывая.

Ничего удивительного не было в том, что Устинью Ивановну внезапно вызвали к больному, даже не пригласив подводы, но потому ли, что надвигалась гроза и неподвижный, полный истомы, давящий на сердце лесной воздух сгустился до физически осязаемой плотности и бесконечно просторные, светлые поля притихли так, как притихает обычно земля перед слепящим взрывом молнии, потому ли, что тетя Клава, проводив племянницу и Алену, рухнула на колени перед киотом и, отбивая поклон за поклоном, взмолилась: «Спаси, всевышняя, не обойди милостью», но Пахомов места себе не находил — и на кровать бросался ничком, и дрова рубил под навесом, лихо ухая при каждом взмахе топора... Что-то подсказывало ему, что случилось недоброе.

В предгрозовых сумерках бешено загремели копыта по спекшейся от жары дороге, наметом к открытым окнам подскакал Кузьма Зуйков, привстав на стременах, крикнул:

— Устинья Ивановна!

— Ушла! Ушла с Аленой! Днем ушла! — тоже криком ответила ему тетя Клава, выбегая за ворота. — А куда — не сказывала. Ой, лихонько!

Пахомов подошел к окну.

На скуластом лице Кузьмы на этот раз не было всегдашнего обиженно-сонного выражения, в седле он сидел как впаиванный; нагайка плясала в толчках содрогавшейся правой руке.

— Какая Алена? Из Выселок или из Сталинского колхоза?

Был бы Пахомов поспокойнее — подивился б живучести названий: в районе властвуют немцы, а деревни именуются по-прежнему.

— Из Выселок! Хромой Анастасии дочка.

— А! — коротко простонал полицей, врезал нагай-

ку в крутой бок коня, и обезумевший от неожиданной боли жеребец шарахнулся, едва не вдавив в забор беззвучно ахнувшую тетю Клаву, но, усмирившись удилами, рванул с косогора к озеру, унося пригнувшегося Кузьму.

Гроза прошла стороною, не даровав Пахомову долгожданного успокоения, возможности глубоко вдохнуть очищенный и остуженный ливнем воздух; во время вечернего чаепития на боку медного самовара играли короткие сухие зарницы.

Пахомов чувствовал себя зрителем какого-то таинственного, видимо трагического, спектакля, понимая, как это унижительно теперь ему, окрепнувшему, и злился на Устинью Ивановну, отвечавшую на расспросы то молчанием, то шуточкой, и давал слово сегодня же поговорить с нею напрямик.

Поблагодарив тетю Клаву за ужин, он поплелся в клеть, повалился на кровать и долго лежал без сна, укоряя себя за то, что распустился, разбаловался на сытых харчах, ухоженный, обласканный Устиньей Ивановной, и едва он задремал, в ворота гулко, как в пустое ведро, забарабанили, послышался зычный крик Кузьмы:

— Эй, старая, отворяй!

Пахомов выскочил на крыльцо, не одевшись, и в темноте увидел, что в распахнутую калитку вошел так и полыхающий горячим потом, нервно всхрапывающий конь, во мраке еще более могучий, чем днем.

На руках Кузьмы лежала, запрокинувшись, Устинья Ивановна, и полицай, не слезая с седла, подал ее, как полотенце, Пахомову, буркнув в усы:

— Сомлела!

И с замиранием сердца Пахомов принял эту, теперь драгоценную ему, ношу и внес в клеть, бережно положил на свою еще теплую кровать.

Тетя Клава, всхлипывая, причитая, металась со свечою в трясущейся руке то к калитке, провожая Кузьму, то в клеть.

— Да уйди, бесстыжий, дай ее раздену,— вдруг напустилась она на Пахомова.

Он пожал плечами: каждую субботу тетя Клава собирала ему и Устинье Ивановне белье, отправляя их вдвоем в баню...

В горнице кротко сияла лампада, и в открытое окно тянуло влажной прохладой ночного леса. Бессильно, чувствуя, как гудит кровь в висках, Пахомов опустился на лавку: никогда он не предполагал, что так испугается из-за Устиньи Ивановны... «А жена? Дети?» — спросил он себя и с недоумением развел руками: и жена и дети теперь как бы превратились в прочитанную давным-давно книгу, которую приятно вспомнить, но перечитывать которую не хочется.

Тетя Клава бесшумно вкатилась в горницу.

— Зовет.

И он заторопился.

Устинья Ивановна лежала навзничь на кровати, разбросав по подушкам волнистые каштанового цвета волосы; сияние свечи падало на лицо, и пылали измученные глаза.

— Подойди! — строго сказала она, а когда Пахомов подошел, дрогнувшим голосом шепнула: — А ты побледнел, выбежав на крыльцо... Значит...

— Еще бы! — в бессознательном порыве воскликнул Пахомов.

— Значит... — Она запнулась. — Вот этого я не забуду! — И смежила потяжелевшие от слез ресницы.

— Объясни по-человечески, что здесь происходит? Куда ты ушла? Почему примчался Кузьма? — вплотную подступил к ней Пахомов.

— Что случилось? Да ничего не случилось! — Она тянула с ответом, чтобы успокоиться, а едва овладела собою, сказала с привычным Пахомову наигрышем: — Вызвали к больной... на обратном пути в лесу бандиты наскочили. Бежала, вот сердце и зашлось... Слава богу, Кузьма попался встрече, подхватил в седло...

— Какие бандиты? Откуда взялись бандиты?

— Да кто, видишь ли, говорит, что дезертиры в болотах прячутся, другие твердят, что немцы нарочно сколотили шайку, чтобы валить грабежи, поджоги на наших партизан...

«Наших», — отметил в уме Пахомов.

— Злопыхатели, немецкие подпевалы, а есть такие, есть, вопят, что партизаны не брезгают насилем!

— Что, в районе действуют партизаны?

— Почему ж им не действовать? — с оттенком обиды спросила в свою очередь Устинья Ивановна.

— Кова черта я-то здесь торчу! — возмутился Пахомов, но Устинья Ивановна остановила его:

— Плохо мне, устала, прости, ложись в горнице на полу... — И, доверчиво глядя на него влажными глазами, повторила: — Прости!

А утром у самовара она сообщила Пахомову с отчужденным видом:

— Алену... девоньку, которая за мной прибежала, пристрелили вчера бандиты.

Пахомова закорчило от стыда.

В октябре в окна то лепил мокрый снег, то стучала сухая крупа, но часто бушевали затяжные дожди, и вся округа завязла в бездорожье.

Как-то ненастным утром после чаепития Устинья Ивановна повелительно взглянула на тетю Клаву, и старушка колобком выкатилась из горницы.

Поставив локти на стол, опустив в чашу ладоней широкий, уже начавший расплываться подбородок, Устинья Ивановна сказала непривычно деловитым тоном:

— В Борисоглебском лесу Сергей Поликарпович, наш партийный секретарь, наконец-то собрал партизанский отряд. Поезжай к нему, комиссар. Ты решил, что все кончилось? Нет, все лишь начинается, — без упрека добавила она. — Русский медведь сопит-сопит да как рявкнет!... — Рассмеявшись, она продолжала веселее: — Отъелся, отоспался, вылечился, с бабой поспал — пора и честь знать!

Задержав дыхание, Пахомов посмотрел на нее с восторгом и недоверием.

— Хотела тебя, правда, в церковь послать, да, на счастье, нашелся настоящий свлценник, пресимпатичный старче... Ему и кадило в руки! Пусть замаливает мои грехи вольные и невольные.

— А какие у тебя грехи? — Пахомов отвернулся, чувствуя, как нежность залила сердце.

И потому, что он отвернулся, Устинья Ивановне легче было признаться:

— Грех, страшный грех на мне!.. Муж тоже добровольцем, как ты, ушел на фронт. Под Волгой погиб. Года не вдовела... Плоть не усмирила! Положим, плоть-то моя слишком своевольная, — похвасталась она, разводя руками, как бы приглашая Пахомова полюбоваться, но тут же всхлипнула: — И-их!..

И убежала в сени.

Выплакавшись, она через несколько минут заглянула в горницу.

Пахомов, бессвязно разговаривая сам с собою, жестикулируя, шагал из угла в угол, то вдруг топал сапогом по половице, то неистово, взхлеб смеялся.

Выждав, когда он опамätуется, Устинья Ивановна вошла в горницу быстрыми шагами, разбрасывая коленями вправо-влево шуршащую ситцевую юбку, неприступно закинула голову.

— Бери партбилет, комиссар, береги пуще глаза, как я берегла!.. Отметили в подпольном райкоме, что был в июле — сентябре на излечении. И печаткой стукнули... А пистолет, прости, отдала одному пареньку, связному: ему нужнее.

— Чего ж ты меня мучила! — сказал Пахомов, выхватывая обеими руками из ее руки партбилет.

— Я ж ведьма, Мишенька!.. — Впервые Устинья Ивановна назвала его по имени. Помедлив, объяснила спокойнее: — Квельый ты был! С гнильцой. На такого не понадеешься. Такого обережешься... А в мучениях душа светлеет. Булат закаляют огнем, а не наговором! — Подойдя к сидевшему на лавке Пахомову, она сильно прижала голову его к своей могучей груди, погладила, как мальчика, по курчавым волосам, шепнула: — В баньку сходим, напоследок попарю... А там и в дальний путь!

К вечеру небо обложило волокнистыми, грязного оттенка тучами; дождь монотонно шуршал в палисаднике. Пузырились лужи в колдобинах. От озера поднимался туман, как дым от пепелища.

Ужинали молча, как в госпитальной палате, где один из больных обречен не дожить до утра.

Резко стукнули в окно.

— Пора! Ну, присядем по русскому обычаю. Тетя Клава...

Старушка, не перебросившаяся за эти месяцы с Пахомовым и десятью словами, расплакалась, мелкими крестами усыпала его лицо, пыталась сунуть чудотворную ладанку, на этот раз не страшась насмешливого взгляда Устиньи Ивановны.

— Прощай, Миша! Не поминай лихом... Должно быть, не увидимся! — Устинья Ивановна говорила твердо, но с непритворным волнением. — Впрочем, если уцелеем в огненной купели... Ну, прощай! — И поцеловала его трижды, обняла, как мужа.

Он хотел сказать, что благодарен ей не за то, что выходила и вылечила, — это могла б сделать любая добрая женщина, та же тетя Клава, — а за то, что вдохнула она в его оробевшее, надтреснутое сердце страстную жажду жизни, но испугался, что прозвучат сейчас слова неестественно и Устинья Ивановна обидится.

И — промолчал.

Напрасно!

Долго упрекал себя Пахомов, что был черствым в минуту прощания.

У палисадника стояла телега, набитая сеном, прикрытая дерюжным пологом. Возница в брезентовом плаще сидел спиной к Пахомову.

Устинья Ивановна стояла на крыльце, прикрывая ладонью бьющийся по ветру огонек свечи, и пятна золотистого света попеременно с тенями блуждали по ее лицу, и лицо то молодело, лучилось светом, то темнело, старело...

Сразу же за домом начинался лес, и чем глубже уходила дорога в чащу, тем плотнее сбегались к ней высокошумные деревья.

— Полезай под дерюгу, мне-то что — дома обсохну, а тебе ведь пешком по болоту драть километров восемь, — сказал возница.

Голос показался знакомым, Пахомов взгляделся: полицейй Кузьма.

«Час от часу не легче,—суеверно подумал Пахомов.— Н-да, действительно, здесь чудеса...»

Студеная тишина давила на виски, и, чувствуя, что без Устиньи Ивановны он опять погружается в безграничную тоску, стыдясь себя, Пахомов тронул Кузьму за плечо:

— Дай покурить.

Молча полицейский протянул кисет с крупнозернистой махоркой.

«Как я мог оставить тебя — свое прибежище, свою судьбу?..»

Он вспомнил, как однажды на рассвете, лежа рядом с ним под тяжелым, как кошма, ватным одеялом, Устинья Ивановна набожно, как заклинание, прочитала стихотворные строки:

Благослови же небеса,
Ты первый раз одна с любимым!

И засмеялась безрадостно.

— Ты меня не любишь. Относишься ко мне покровительственно... А я уже прилепилась к тебе ласточкиным гнездом.

— Ты же сильнее меня! — Лишь в ее объятиях Пахомов мог признать это без унижения.

Задумавшись, Устинья Ивановна помолчала.

— Пожалуй, я сильнее тебя в делах. В деянии!.. А как баба!.. — И заслонила лицо рукою...

И, вспомнив сейчас это, Пахомов в порыве, вероятно, истерическом, вздохнул:

— Эх, Устинья Ивановна, Устинья Ивановна!

— Воительница! — тотчас, словно ждал сигнала, подтвердил Кузьма.

— И правда, что она тебя на три года упекла?

— Правда.

— И ты... простил?

Резко повернувшись, Кузьма посмотрел на Пахомова не с возмущением, а с сожалением.

— Да ты что, рехнулся? Немцы пришли, немцы!.. Россию надо из беды спасти! Как же не прощу, не покорюсь, если Устинья Ивановна — уполномоченный

партизанского штаба!.. В лагере, конечно, не скрою, клялся избу спалить. Нет, клялся в окно ночью влезть, приковать ее вожжами к кровати, а потом поджечь — коптись, стерва! — так свирепо, что скулы хрустнули, отрубил Кузьма.

«И в самом деле рехнулся! Или, наоборот, прихожу в сознание?» — сказал себе Пахомов. Остановиться не мог — вцепился в Кузьму:

— Фельдшерица!

— Фельдшерица! — возмутился Кузьма. — И слава богу, что фельдшерица... Была действительно фельдшерицей, а теперь ей из обкомовского подполья велено быть хозяйкой всего района. Вожжи крепко взяла — не выронит!

Чтобы хоть как-то сохранить достоинство, Пахомов воскликнул:

— У всех на виду! Что же вы ее не бережете? Кузьма на этот раз обиделся.

— «На виду»! — передразнил он. — На всех тропах заставы. По району рыскает волчицей тайно. А я? Головою отвечаю. В этот день из полымя выхватил!

— Бандиты...

— Ка-акие бандиты! Наши же полицаи гнались... Бабушка одна разболтала, типографию выдала... Э, что с тобою толковать! Ничего не видел, ничего не понял! — И с досады чертыхнулся.

Дорога круто покатилась с пригорка, под колесами запищала жидкая грязь. Светлея в ночи, широкая, но мелководная речка певуче гудела у свай разрушенного моста. На фоне непроницаемой стены темных и от дождя и от мглы деревьев нежно сияла колоннада берез. Откуда-то пахнуло сладким дымком костра.

Кузьма свернул, телега накренилась к канаве.

— Слезай, теперь пешаком по болоту.

— А ты куда? — наивно спросил Пахомов.

— А я в комендатуру на дежурство, немецкое жалованье отработывать! — огрызнулся полицей.

Он вложил пальцы в рот, свистнул Соловьем-разбойником так пронзительно, что лошадь забилась в оглоблях.

И тотчас в прибрежном лозняке послышался ответ-

ный свист, из кустов вышел парень с автоматом на груди.

— Принимай, Петя, пополнение. Расписка не требуется,— сказал Кузьма весело, не так, как давеча с Пахомувым разговаривал.— В отряде благополучно? Ну и слава богу. Приветы всему воинству, а это депеша от Устиньи Ивановны! — и протянул пакет.

— Здравия желаю, товарищ старший политрук! — по-военному сказал юноша, отдавая честь.

И этот церемониал, с которым Пахомов свыкся в полку и от которого, казалось бы, отвык, а на самом деле — не отвык, мгновенно же взбодрил его, он выпрямился, ответил молодцевато:

— Здравствуйте, товарищ!

Кузьма тем временем вывел лошадь обратно на дорогу и, не прощаясь, прыгнул в телегу. Колеса гулко затрещали по булыжнику.

В реке мелодично гремела вода, толчками набегая на сваи, обтекая сваи.

Летом сорок девятого года на подмосковной даче супруги Пахомовы сидели за поздним воскресным завтраком.

Дети, повзрослев, тяготились дачным бытом и норавли по любому поводу остаться в городе...

Сняв пенсне, потирая пальцами багровые вмятины от зажима на переносице, Мария Павловна листала свежий номер «Огонька».

— Смотри-ка, Миша,— вдруг засмеялась она,— как девочка на тебя похожа!

Взяв журнал, Пахомов увидел очерк «Председатель», фотографию председателя колхоза «Рассвет» Устиньи Ивановны Мальцевой. Рядом с похорошевшей, дивно помолодевшей от материнства Устиньей Ивановной на крыльце знакомой Пахомову избы сидела узколицая, надменно красивая девочка.

— Вылитая наша Зина — первоклассница! И этой, пожалуй, лет семь. Ну твои, твои брови, глаза, очертания губ.

— Всякое на свете случается,— буркнул Пахомов.

«А я тебе не сказал ни слова при расставании...»

Со страницы журнала девочка смотрела на отца без любви и осуждения.

— Пойду полежу.

— Мы же собирались в гости к Волобуевым.

— Иди одна. Опять водку придется пить. Не хочу!

— У тебя что, плохое настроение? — без тревоги спросила жена.

— Да, что-то взгрустнулось, — сказал Пахомов.

ТИШИНА

Тде-то в степи солнечный луч обжег веки спящего на сеновале лейтенанта Козырева. Проснувшись, отодвинувшись от жгучего буравчика, просверлившего крышу, лейтенант с ужасом услышал тишину, которую справедливо было бы назвать предсмертной.

На войне тишина страшнее любой стрельбы; каждый фронтовик это помнит, а молодые, не хлебнувшие ратных невзгод, пусть верят мне на слово...

Козырев проспал подряд четырнадцать часов, и когда сполз по сколоченной из жердей лестнице, то увидел, что двор пуст.

Он не смог обвинить ни друзей, ни знакомых в предательстве, — конечно, они звали его, но Козырев так измучился за неделю непрерывного отступления в степном пекле, да и в сено зарылся так глубоко, что не услышал их криков.

В избе на полу валялась чья-то шинель с офицерскими петлицами. На столе в жестяной кружке догорала стеариновая свеча; бесцветный в солнечном свете лепесток огня стоял неподвижно.

Значит, уехали затемно, а сейчас... сейчас половина двенадцатого.

Бездумно Козырев смотрел сквозь окно на забитый бурьяном огород. Он не интересовался, где хозяева. Это была профессиональная привычка солдата, позволяющая отвлекаться от всего постороннего, мешающего выполнять воинский долг. И теперь этот долг заставил его подняться, закутить, затянуть потуже ремень и шагать на восток. И Козырев зашагал размеренно, вразвалку, с расчетом отмахать за день километров пятьдесят и вечером быть у переправы.

Деревни, хутора обезлюдели: как видно, жители ушли в балки.

Лишь в одной деревне у ворот добротного пятистенка стоял мужчина лет сорока в ладных сапожках и матерчатом синем картузе. Он пристально посмотрел на кубари Козырева, но не поздоровался, не заговорил.

И за околицей Козырев забыл о нем.

Разбитая отступающими обозами дорога струилась, как мелкая, с просвечивающим песчаным дном река. Степь, словно глиняный горшок, дышала в лицо Козыреву жаром испепеленной земли. Тишина была душистая, тягучая, как мед, и чем тише становилось окрест, тем сильнее робел Козырев и убыстрял шаги.

Если б он не встретил войну год назад на границе, то в этот день наверняка бы рехнулся. Степь на десятки километров вокруг была пуста: ни звука не слышалось, ни шороха. Танковые жернова противника мололи наши отходящие части за рекою, далеко на востоке. Клубком пыльной травы перекаати-поле катился Козырев по шоссе, всеми забытый.

И все-таки он шагал к переправе, зная, что застрелиться всегда успеет.

Вражеские самолеты, направляясь к переправе, серебряными челноками вспарывали небо, волоча за собою жгуты взвихренного воздуха, похожего на мотки белой пряжи.

Горизонт потемнел, но, вероятно, до реки было еще далеко: зарницы зенитных выстрелов пылали беззвучно.

— Эй, служивый!

Вздвогнув, Козырев положил руку на пистолет, но тотчас нервно рассмеялся: гитлеровцы так благодушно не окликали прохожих, они либо убивали, либо старались пленить, но чаще всего убивали.

Свесив ноги в канаву, у дороги сидел военный в нижней рубашке и мелкими аккуратными стежками чинил гимнастерку. Рядом стояла обшарпанная детская колясочка, прикрытая шинелью.

— Наш, вижу без проверки документов, будем знакомы: капитан Вяземцев,— бесстрастным тоном радиодиктора сказал военный.

— Козырев.

Глубоко запавшие в орбиты глаза Вяземцева были воспалены от пыли и усталости. Брови у него были белесые, и под ними бугрились красные, с палец толщиной, тоже воспаленные полосы.

— Куда идешь, лейтенант? — продолжал без улыбки Вяземцев. — Откуда ты бредешь — понимаю, а вот куда путь держишь — в толк взять не могу.

— Туда же, куда и вы, — к переправе, — пожал плечами Козырев.

— Напрасно, совершенно напрасно, — я там был: бомбят плотно, оба моста разбиты, понтоны затоплены, берега завалены трупами. Мясорубка!

Он спрятал иголку, нитки, встряхнул гимнастерку, а когда повернулся, то Козырев увидел, что нижняя рубашка на спине Вяземцева разорвана, залита подсыхающей кровью.

— Осколком?

— А я не разобрал: осколком или пулей. Будто хлыстом ожгло! — Капитан натянул гимнастерку с кривым, во всю спину рубцом шва, приосанился и обратился к лейтенанту строже: — Доложи, почему отбился от части? Проспал? Ах, проспал!.. Должностное преступление. Ответишь на всю катушку.

Он был на полголовы ниже, и Козырев, взглянув сверху на Вяземцева, спросил с брезгливым недоумением:

— Это тебе ответу?

— Именно. Я, лейтенант, постарше тебя... и, следовательно...

— Следовательно?

— Следовательно, в настоящих условиях осуществляю функции командования.

— Ты всегда говоришь казенными фразами?

— Господи помилуй, да это и есть мои слова, — не обидевшись, сказал капитан и без перехода добавил приказным тоном: — Слушай, лейтенант, километрах в восьми к северу, там, — он показал в степь, — деревушка. Ночью мы достанем лодку или сколотим плот и переплывем на тот берег. Другого пути на восток нету. Переправа для нас с тобой закрыта.

— Что ж, пойдем, — согласился Козырев. — Вдвоем помирать веселее.

— Пословица, безусловно, глупая,— вынес приговор Вяземцев.— Не помирать надо, а пробиться к регулярным частям Красной Армии. У меня...— и он сдернул шинель с детской коляски.

В ней лежал металлический, канцелярского образца сейф.

— Секретное делопроизводство,— объяснил Вяземцев.— Отвечаю головой! Меня убьют— ты доставишь в штаб первой же регулярной части, сдашь под расписку.

— С приложением надлежащей печати?

Вяземцева мудрено было пронять.

— Именно.

— А если меня убьют?— глупо усмехнулся лейтенант.

— Вот потому и говорю, что вдвоем надо пробиваться на тот берег. К своим!.. По теории вероятности один из нас уцелеет.

— А где же остальные штабисты?

— Погибли. Прямое попадание бомбы.

— Не все же погибли, кто-то убежал, бросив сейф,— рассудительно заметил Козырев, вылавливая без разрешения из портсигара Вяземцева папироску.

— Ответят на всю катушку.

— Сколько ж ты дней плетешься с этой колымагой?

— Трое суток. В балках прятался. Под обстрел попадал,— и Вяземцев, полуобернувшись, показал шов на гимнастерке.

— И не мог зарыть сейф?

— Мог, но не зарыл!— И на этот раз капитан не рассердился.— Здесь оперативные материалы, необходимые для борьбы с вражеской агентурой.

— Тьфу, опять казенные фразы!..— Против воли Козырев чувствовал в капитане силу характера, может, и неприятного и непонятного ему, но такого, какому подчиниться.— Да что там... Пошли!

И помог Вяземцеву перенести коляску через кювет.

Они долго шагали по растерзанным гусеницами танков полям, спускались в теплые, влажные, как предбанники, балки, отлеживались в по-осеннему сквозных перелесках: вражеские снаряды и бомбы сбили листву с ветвей... У беспечного Козырева был в запасе полу-

обгрызенный сухарь, зато в колясочке капитана хранились и банки мясных консервов, и буханка ржаного хлеба, и сливочное масло в стакане.

До деревни было, конечно, не восемь, как предполагал Вяземцев, а верных восемнадцать километров, и вышли они к ней в сумерках.

Степь в этот час светилась, и синее ее сияние, казалось, не зависело от солнца и не менялось с приходом июльской ночи.

— Иди в разведку, — скомандовал Вяземцев, едва на горизонте рельефно обозначились крыши домов и черные деревья в палисадниках, окаймленные ртутным блеском лучей заходящего солнца.

— Связался с тобою на погибель! — вспыхнул лейтенант. — Без твоей колымаги был бы теперь на том берегу.

— Вполне возможно, — подтвердил Вяземцев, — но я не могу без надобности рисковать... — и показал на коляску. — Значит, выполняй приказ.

— Чей приказ? Твой?

— Именно. Я старше тебя по званию. По должности. И вообще... это ж элементарное дело: нельзя наобум совать в населенный пункт.

— Тьфу! — с отчаянием бессилия выругался Козырев, но опять подчинился — ушел.

Вернулся через полчаса, вымазанный пылью и грязью с головы до ног — пришлось ползти, — и с безрадостной гримасой сказал, что деревня забита гитлеровцами, саперы строят мост через реку.

— И сюда опоздали, — бесстрастно подытожил Вяземцев. — Пойдем обратно на запад, в тыл противника... — Он не тратил времени на раздумья. — У меня есть кое-какие партизанские явки. Помогут выбраться!

— Ты что, полоумный? А?... — спросил Козырев, наклонившись к низкорослому капитану. — Никуда не пойду! Пропавши ты пропадом со своим железным ящиком! Перед рассветом река затуманится — переплыву.

— А я плавать не умею, — признался Вяземцев без огорчения. — И ящик действительно железный. А за невыполнение приказа в боевой обстановке знаешь что полагается? — и дотронулся до пистолета.

— У меня пушка тоже исправная! — взвизгнул

Козырев.— Не грози!.. Куда мы пойдем, ну куда? Где твои партизаны?

— Если их здесь нету, то мы обязаны собирать оставших, вон таких, как ты, и сколачивать партизанский отряд. На переднем крае партизанить невозможно. В тылу попросторнее. И вообще, лейтенант, окончательное слово принадлежит смерти, а мы с тобою живые, здоровые, следовательно, обязаны бороться!

— Всегда бы ты так говорил,— вздохнул Козырев.— А то заведет политотдельскую шарманку!.. Пошли!..

Они шагали, теперь в обратном направлении, всю ночь, толкая по очереди взвизгивающую колесиками коляску, и Вяземцев благородно молчал, а Козырев то и дело подбадривал и его и себя неистовой бранью.

К рассвету низины и балки затуманились.

«Сейчас бы я переплыл реку!..»

Туман был сухой, как дым, и от него кололо под веками, першило в горле.

«Переплыл бы реку, плаваю я отлично, и был бы со своими, началась бы привычная полковая жизнь, а за год войны я такого насмотрелся, что ни Нарком-здравом, ни Наркомземом меня не удивишь!..»

И Козырев с ненавистью сверлил взглядом сочувренных глаз мясистый затылок капитана.

В предрассветном тумане они случайно наткнулись на полевой аэродром, тоже брошенный, тихий, как сельское кладбище, изрытый воронками, заваленный по краям сожженными, исковерканными самолетами с красными звездами. В мелкой балке правее стояли штабеля ящиков с бомбами, пулеметными лентами, бочки с горючим.

Здесь их поджидали.

Поджидал их длинноногий лейтенант с наивным веснушчатым лицом.

В небрежно накинутаой на плечи кожанке, с автоматом в руке, он стоял у ящиков и без удивления, даже без любопытства глядел на шатающихся от усталости Вяземцева и Козырева.

— Ваш ЗИС за версту слышен,— сказал он с шальным спокойствием.— Колеса бы смазали.

— Мази, понимаешь, не хватило,— в тон ему сказал Вяземцев.

— Вон у меня целая бочка...

Разговаривали они с тем бессознательным щегольством, каким зачастую в самых трагических обстоятельствах кокетничали фронтовики: дескать, ничего особенного не случилось, все идет, как положено.

— А ты что тут делаешь? — спросил Вяземцев, разматывая сырые от пота портянки, с блаженством разминая затекшие ступни и пальцы ног.

— Собираю коллекцию равнокрылых и ложносетчатокрылых стрекоз, — вежливо отпарывал лейтенант. — По заданию Академии наук.

— Самое подходящее время, — кивнул Вяземцев. — А ты не отшучивайся, докладывай, как положено по уставу.

— А ты не задавай идиотских вопросов, — отрезал лейтенант. — Аэродром сторожу и немцев жду.

— Видишь? — Капитан бросил на Козырева тяжелый взгляд. — Учись.

Лейтенант подхватил со злой улыбкой:

— Учись умирать!.. Это на смертном ложе Николай Первый сказал внуку, будущему царю Александру Третьему: «Учись умирать!»

— Если и придумано, то умно, — наложил резолюцию Вяземцев, — Как звать-то?

— Андрюшка. Андрей Скляренко.

— Нет ли у тебя, Андрюша, спирту?

— Залейся!.. — Лейтенант повеселел.

Через минуту они сидели в балке, глотали обжигающий десны и горло неразбавленный спирт: единственный колодец — объяснил Андрей — пересох... На закуску он выставил мясные консервы, натертое крупнозернистой солью сало и шоколад «Золотой ярлык». Но хлеба не было, — грызли безвкусные, словно прессованная бумага, галеты.

Через минуту Андрей рассказывал с бешеным самообладанием:

— А как без приказа бросишь аэродромное имущество? Каюк! Хана! «Вышка»!.. Любой прокурор прижется.

— Да вот тебе и прокурор, — выразительно показал на капитана Козырев.

— Опять непристойные шуточки, — лениво сказал

Вяземцев; как видно, накалялся он медленно, взрывался не сразу.—Предупреждаю об ответственности!..

Проснувшись в сумерках, Козырев долго с раздражением следил за тем, как Вяземцев брился, протирал смоченной в спирту ваткой лицо, пришивал подворотничок. Попросил у Андрея вакцину, щетку, бархотку — надраил до блеска сапоги.

«Аккуратист!» — бесился Козырев.

Он лежал на шинели, пристанывая, потягивался, как бы проверяя мускулы, кости, нервы — отдохнул ли? — и думал, что, вероятно, бывалый фронтовик отличается от новобранца тем, что умеет упрощать невероятно сложные боевые события, необычайное превращать в будничное... Если бы сам он, Козырев, переплыл ночью реку, нашел свой полк, то был бы счастливейшим человеком...

А капитан тем временем обстоятельно расспрашивал Андрея:

— Значит, у тебя был комендантский взвод? Ага... огромная сила! Говоришь, генерал забрал часика на два, обещал вернуть? Заставу на шоссе сколотили, у моста? И никто не вернулся? Понятное дело: погибли. А ты почему не задерживал проходящих бойцов?

— Да ведь они по шоссе драпали, сюда не заглядывали. Отступление — нет хуже... Чего ты хочешь!

— Хуже отступления — бегство, — подумав, уточнил Вяземцев. — А почему с партизанами не установил связи?

— Какие тебе к черту партизаны! — благодушно огрызнулся Андрей.

— Мужики-то по балкам прячутся.

— Может, и прячутся, но мне с аэродрома не уйти. Вяземцев согласился:

— Не уйти... Так я вечером пошлю на разведку этого лентяя, — и кивнул на лежавшего неподалеку Козырева.

— Это кто ж лентяй? — для вида обиделся лейтенант.

— Ты лентяй! Все делаешь из-под палки. Не вижу рвения. Значит, и в полку отбывал номер!.. — Капитан бубнил монотонно, словно отчаялся приструнить Козырева.

Внезапно Вяземцев и Андрюшка побледнели, со счастливым испугом взглянули друг на друга — из-за низко плывущего над степью марева прорвался сухой, словно стрекотание ручной кофейной мельницы, стук мотора.

— Ура-а-а!.. Блерио перелетел через Ла-Манш! — завопил во всю силу легких Андрюшка и, разбежавшись, дважды, как акробат в цирке, перекувырнулся в воздухе.

Вяземцеву это понравилось:

— Ишь бычок!.. — А Козыреву он крикнул сердито: — Стыдитесь, лейтенант, возьмите себя в руки!

В этот момент из белого, как раскаленное железо, по первому ощущению прозрачного, а на самом деле непробиваемого взглядом неба смешно вывалился неуклюжий, но легкий, словно из спичечных коробков слепленный, самолет, весь сквозной, как велосипед, подвешенный к скобе на террасе. Плюхнувшись с треском на траву, он покатился, ловко увертываясь от воронок.

Пропеллер еще вертелся, со свистом наматывая на себя воздушные нити, а Вяземцев, Козырев и Андрюшка, как мальчишки, взявшись за руки, подбежали к самолету.

Летчик выглянул из кабины, подсунул тыльной частью ладони очки на лоб.

— Слушай, парень, где штаб тридцать третьего корпуса? — спросил он Андрея, не здороваясь, с будничной деловитостью, словно шли маневры. — Понимаешь, срочный пакет из штабарма. Понимаешь, рыскал по степи — ни одного ориентира!

— Хватился! — На коменданта напал душу рвущий смех. И, видя, что летчик искренне огорчился, крикнул: — Господи, да не здесь же!

— Может, слышал от кого?

— От кого я услышу?!.. Идиот! Трое суток сидел один, чтоб с ума не сойти, читал вслух сам себе «Евгения Онегина»! — И с комическими ужимками продекламировал: — «Я вам пишу, чего же боле...»

— Подожди, Андрюшка! — Вяземцев властно отодвинул его в сторону и лаконично, но убедительно сказал, что корпус разбит, а штаб, вернее — остатки

штаба дня три назад передислоцировались в низовье реки.

Летчик протяжно свистнул.

— Почему же в штабarme не знают?

— Потому что потому, получается на «у»! — хихикнул Козырев.

Ему показалось, что Вяземцев то и дело пристально поглядывал на второе — пустое пока — кресло в кабине самолета и что-то прикидывал в уме.

«Вот сейчас оседлает кресло и умчится в штабarm, бросив нас на произвол судьбы...»

Ясность в положение внес неунывающий Андрюшка:

— Спирту хочешь?

— Угости! — И летчик выпрыгнул из кабины.

Раскинув в балке «скатерть-самобранку», Андрюшка с изысканным поклоном пригласил гостя, но первую стопку все-таки налил не ему, а себе — нельзя ж, сами посудите, отказаться от компании.

— Что мне делать? — закусывая шоколадом, размышлял летчик. — Понимаешь, сам начальник штабarm вручил пакет, велел не возвращаться, если не найду комкора. «Ценою жизни...» Цена-то не дорогая, а зазря помирать не хочется, — дернул он краем рта. — Добро бы в бою!..

— А как на переправе? — Козырев спросил о том, что неотступно его терзало.

— Какая переправа! — Летчик отмахнулся. — Километров за семьдесят немецкие танки чешут. К Волге врутся. Не известно, найду ли на старом месте штабarm.

Вяземцев пил в очередь, стопку за стопкой, но не спускавшему с него глаз Козыреву было ясно, что капитана допекает какой-то искуc.

«Убежит, обязательно убежит! А как его остано- вишь? Действительно, и по званию и по должности он выше. У-у-у!...» И Козырев отвернулся.

— Так вот что, — негромко сказал Вяземцев и жестом показал Андрюшке, что пора убрать бутылку.

Тот надул губы, но подчинился.

— Так вот что, — повторил капитан, — тебе на пакете я напишу, что комкор, если жив, находится там-то... И приклепну печать своего отдела. — Он показал на на-

грудный карман гимнастерки.— Значит, никаких претензий...

— Что ж, это выход! — И летчик, отняв у стоявшего рядом Андрея бутылку, хлебнул из горлышка.

— Хватит! — повысил голос Вяземцев.— Нажрешься и заплутаешься.

— Я из полярников, мы там спиртом держались.

— Так вот что, — продолжал капитан строго, — у тебя в кабине свободное место...

— Пожалуйста, — с небрежностью столичного таксиста предложил летчик.

Андрей визгливо засмеялся и издали подразнил летчика бутылкой.

«Начинается!..» Сердце Козырева загремело набатным колоколом.

— Мне — нельзя.

Взволнованный Козырев не оценил величия этого поступка.

— Коменданту?.. — Летчик потянулся за бутылкой, но Андрюшка вовремя отскочил.

— И ему нельзя. И лейтенанту нельзя! — Вяземцев ткнул пальцем в Козырева.— Хотя в нормальных условиях я б его откомандировал: неустойчив.

На Андрюшку приговор Вяземцева не произвел никакого впечатления: прыгал, смеялся, дразнил летчика бутылкой, но Козырев уткнулся лицом в траву.

— Увезешь в штабартм сейф, — сказал Вяземцев без нажима.

— Сейф? Какой сейф? Кому там нужен сейф? — Летчик не понял.

— Он нужен, — веско сказал капитан.

— Да не слушай ты его! — Козырева так и колотило.

Кожа на лице Вяземцева напряглась, и резко выступили надбровные дуги.

— Пойдем! — И, вскочив, капитан с неожиданно пробудившейся силой поднял за шиворот Козырева.

— Пошли! — крикнул Вяземцев летчику и Андрюшке.

Детская колясочка стояла за ящиками, и на нее было странно и страшно смотреть — до того нелепо выглядела на фоне штабелей авиационных бомб, хрупкая,

уютная, как бы хранящая в себе нежность и покой спящего еще так недавно в ней ребенка.

— Ах, так! — задыхаясь, кричал Вяземцев; вот когда он потерял власть над собою. — Глядите! — И сорвал, швырнул прочь шинель.

На дверце сейфа, у замка темнели расплывчатые, будто сургучные пятна.

— Ну, чего особенного? Обычная ржавь. И какое это имеет значение! — Козырев пожал плечами.

— Ах, ржавь? Это не ржавчина — это кровь моего кореша Васьки.. Василия Митрофановича Савельева. Фашистские парашютисты напали на штаб. До последнего патрона Савельев отстреливался!

— А ты?

— А я собрал обозников, телефонистов, писарей и контратаковал! Отбил сейф и тело Василия Митрофановича.

Он сделал шаг, но нервное оцепенение сковало Козырева, и он не отступил, зато, переглянувшись, отскочили летчики и Андрюшка.

— Давай, взяли! — скомандовал капитан уже ровным, но внутренне kloкочущим голосом.

С доводящей Козырева до исступления методичностью Вяземцев документально оформил передачу сейфа; он так и выразился: «Документально оформить...» Взял расписку, снял с шеи висевшие на цепочке, как ладанка, ключи, отдал летчику, наказав передать все в сохранности какому-то Евгению Борисовичу.

— Если он, конечно, еще живой..

— Утром был жив, а теперь не ручаюсь, — сказал летчик.

— Ты там все-таки скажи кому следует: так, мол, и так, лейтенант Андрей Скляренко, — в самый последний момент не выдержал комендант. — Пусть меня забирают отсюда.

— Я тебя уже забрал в партизанский отряд, — обрадовал его капитан. — И не рыпайся!

— Мне-то что!.. Солдат спит, а служба идет! — В глазах Андрюшки опять заплясали смешливые огоньки.

А Козыреву показалось, что в его глазах — сумасшедшинка.

Самолет улетел, и всем взгрустнулось, даже Вяземцев примолк, хотя и держался с прежним достоинством.

Оборвалась последняя ниточка, пусть — паутинка, связывающая их с армией, с привычным военным укладом, с друзьями, семьями. Как-то сложится их судьба?..

Комендант и Козырев обменялись глубокомысленными взглядами, но капитан перехватил их сговор и пригрозил:

— Ни капли без моего разрешения.

— Позвольте, что за тон, хозяин-то аэродромного имущества я! — выкатил грудь колесом Андриюшка.

— Ты был им, а теперь перешел в мое распоряжение, — осадил его Вяземцев скрипучим тенорком; когда он так говорил, то создавалось впечатление, что при каждом слове капитан ломал пальцами сухую ветку. — Имейте в виду: пьянки не потерплю. А сейчас за дело.

Минуту спустя выяснилось, что необходимо надежно спрятать в ближайших балках исправные пулеметы с самолетов, пулеметные ленты, авиационные бомбы; из бомб получатся мины для подрыва мостов и дорог в тылу противника.

— Лейтенант Скляренко отвечает за боепитание и вообще за все имущество, на лейтенанта Козырева возлагаю разведку... — Капитан добавил миролюбиво: — Бутылки пересчитаю сам.

При этих словах на лице Андриюшки отразилась беспросветная тоска.

— Ага, теперь ты видишь! — злорадно воскликнул Козырев. — Устроит он нам веселую жизнь!

— Ну ты и зануда, — поморщился Вяземцев. — Где начал войну? На Буге?.. Крепкая закваска! Значит, верится мне, что в бою будешь молодцом.

Козыреву хотелось ответить грубостью или издевкой, но вдруг он почувствовал, что врать не сможет, как не смог бы соврать отцу. И, пряча глаза, сказал:

— Не сомневайся.

— Ну, значит, работаемся!

Пока Вяземцев сосредоточенно изучал карту, делая на ней карандашом пометки, Андриюшка неутомимо шнырял между ящиками, затем подсел к Козыреву, шепнул, что бутылок двадцать зарыл под потухшим костром.

Пил Козырев всегда умеренно, и дело было не в припрятанном спирте, а в какой-то успокаивающей устойчивости фронтовой дружбы, и он тотчас ощутил веселящую и душу и голову лихость: «А кова черта унывать? Живут партизаны, воюют, да еще как!.. И я стану воевать».

И на Андрея напало умиротворение: без передышки рассказал несколько одесских анекдотов и каждый раз начинал смеяться первым, вовсе не интересуясь, нравятся ли они Козыреву.

— Давай в кости сразимся, пока наш полководец разрабатывает диспозицию.

Ноги лежавшего на траве Вяземцева дернулись, но он промолчал.

— Давай,— согласился Козырев.

Тишина над степью, пряно пахнувшая полынью, к вечеру потяжелела, как вода в ведре, забытом на дворе осенней ночью, но горькая эта тишина уже не казалась Козыреву зловещей.

ТЕБЕ МОЖНО ПОЗАВИДОВАТЬ



ригадир тракторной бригады Косогорского совхоза Балмашов потерял перочинный ножик.

А ножик был с пятью лезвиями, консервной отмычкой, штопором и даже крохотными ножницами, бока ножика были отделаны перламутром.

Сергей Потапович перерыл весь дом, гаркнул жене: «Провальная яма!..», заподозрил в похищении старшего, Павла.

С Варей пришлось вечером мириться; сын достойно отверг такой поклев.

И вдруг Балмашов вспомнил, что намерен был открывать ножиком банку болгарских голубцов в балагане, — так называли здесь полевой стан.

Видно, там и забыл на нарах.

После обеда Балмашов отправился пешком к балагану, — туда всего шесть километров.

Было студено, но ясно; солнце, похожее на подвешенный к потолку медный таз, в котором Варя варила летом варенье, висело низко, золотило нежаркими лучами ковыль да края многоярусной гряды облаков.

Степь была привольной, но пасмурной, скучной без привычного Балмашову мерного рокота тракторов и комбайнов. Такой — сизой, хмурой — она и останется до первого снега.

Балмашов шагал, опустив голову, с всегдашним глубокомысленным видом, словно обдумывал что-то необыкновенно важное. А на самом деле он ни о чем особенном не думал — дышал... Сергей Потапович все, за что брался, делал серьезно: в кино, в темноте сидел, как в президиуме торжественного заседания; обед разогревал, если Варя задер-

жалась на работе, колдуя, будто извлекал «философский камень».

Пожалуй, и на поиски ножа-то Балмашов сейчас пошел не потому, что не мог приобрести в кооперативной лавке новый, такого же фасона, если не лучшего, а потому, что это не дело — терять зазря отцовский подарок.

Балаган — потемневший от дождей и снега дощатый сарай — стоял в ложбинке, у родника, одиноко звеневшего, теперь до весеннего сева уже никому не нужного.

Сложенный из камня, обмазанный глиной очаг чернел грязным пятном, словно брошенная в траву полевая тряпка. Низинка была уже залита предзакатной тенью.

Толкнув фанерную дверцу, войдя в балаган, Балмашов увидел, что на нарах кто-то спал.

Спал чужак, приبلудный, — Сергей Потапович сразу об этом догадался: незнакомец свернулся кренделем, поджав тощий зад, будто боялся, что его в любой миг могут выбросить пинком отсюда.

— Эгей, человек! — начальническим тоном окликнул Балмашов: балаган-то все-таки был его бригады, здесь он чувствовал себя хозяином.

Спящий вскинулся резко, как от толчка, и загорелое, конопатое лицо Сергея Потаповича почернело от досады: перед ним сидел, свесив ноги, охорашиваясь, его старший брат Осип — Красавчик по прозвищу.

Осип был сызмальства буен во хмелю и уже десятиклассником получил два года за мордобой. Вернувшись из тюрьмы, учиться не захотел, устроился каким-то чудом кладовщиком, но за слишком вольное обхождение с казенным достоянием отправился в приполярные края.

Балмашову он в те годы писал — просил денег, махорки. Сергей Потапович посылки с махоркой отправлял, а деньги приберег, решив со свойственным ему рассудительным упрямством, что в тех местах без денег-то жить безопаснее.

Как-то соседка, добродетельная старая дева, шепнула ему, что Варя послала Осипу сто рублей телеграфом.

Балмашов вздохнул, потемнел лицом, будто обуглился, и обложил соседку таким матом, какого та отродясь не слыживала.

А жене ничего не сказал.

— Здравствуй, брательник!— весело сказал Осип и снял руку с голенища правого сапога, с упрятанной там финки.— А я слышу, словно жеребец отвязался, о четыре копыта траву мнет!..

— По амнистии, что ли?— спросил Балмашов, садясь на нары, но не рядом с Красавчиком.

— Эва, хватил! По договору уже четыре года протрубил, вольнонаемным.

И в самом деле, много воды утекло с тех пор..

Красавчик был по-прежнему сказочно хорош, лих— такой же стройный, витой, как канат, из жил и мускулов.

А Балмашов погрузнел, прибавил в весе и сейчас казался старше Осипа. Сидел он почему-то согнувшись, зажав коленями кисти рук, уставился в сгнившую половицу.

— Паспорт чистенький, с допуском во все столицы,— хвастался Красавчик.— Погляди-ка!

Сергей Потапович взял, полистал и, сразу овладев собою, усмехнулся.

— Чегой ты года-то себе уменьшил? Богатую невесту ищешь, что ли?

— Во-во!— обрадовался Осип, раскатившись белозубым приятным смешком.— В Нальчике нашел. Черкесская княжна!.. Как ангел небесный— прекрасна, как демон— коварна и зла!— продекламировал он, дергая плечами.— Туда путь держу. Особняк, в саду сорок три яблони и, заметь, нарзанный ключ. Мальчишек с ведрами пошлю на вокзал, к поезду, положим, по гривеннику— стакан, а барыш-то каков!..

— Тебе можно позавидовать!— заметил Балмашов, вспомнив любимую братом поговорку.

В лице Осипа промелькнуло что-то детское, умоляющее, но молниеносно сменилось злостью.

А Сергей Потапович поддал жару:

— Путь что-то выбрал не прямой!

— К тебе, брательник, хотел заглянуть,— с издевательской кротостью поведал Осип.— В областной

газетке прочел о твоих трудовых подвигах. Портретиком залюбовался!.. Вот родная кровь-то, балмашовская, и заиграла! Да с шоссе топал пешаком, притомился, решил здесь поспать. Думаю, помоюсь, почиусь,— он выразительно вытянул грязные сапожищи,— и к ужину заявлюсь. Приду с визитом в полном ажуре!

Балмашов наострил уши, засопел.

Обычно Красавчик выкладывал правду, самую свякую, с таким видом, что она выглядела бесстыжим враньем. Но шоссе действительно пролегло к югу от балагана, здесь была торная тропа, какой возвращались в совхоз местные жители. И очерк о бригаде Балмашова с портретом был напечатан в газете, точно, на этой неделе.

— Ну, нельзя же!— заливался Красавчик, плутовски подмигнув.— Знатный механизатор! Гордость целины! Новатор! Тебе можно позавидовать!— добавил он бесстрастно, как бы желая именно этим спокойствием показать, что поговорка вырвалась случайно.— Способен ли я был проехать мимо? Посуди! Так и вылетел турманом из международного вагона, на плацкарте полсотни потерял.

— Что ж, пойдем,— предложил не шибко радушно Балмашов, вставая.— Чем бог послал...

Он всегда как-то терялся перед братом: в детстве — восхищаясь удалю, в юности — еще не смея дать отпор наглости Красавчика.

— А вот это еще неизвестно, неизвестно!— завертелся Осип, как стружка, брошенная в костер.— Удостоился лицезреть героя целины и предполагаю — хватит! Смирненно удаляюсь... Как бы анкетного дела тебе не подпортить, брательник. Поди, в Кремль пригласят на слет либо на совещанье, а тут кто-то капнет: брат-то звон где был. Дважды!

— Твоя ли печаль?— вспылил Балмашов.— Забыл, какой год на дворе?

— И опять же, светлая личность, чем потчевать станешь?— не унимался Красавчик.— Пирогами или проповедью? Помню, не мало-о-о крови ты мне перепортил своими наставлениями. Все на путь истины вернуться уговаривал... Учиться заставлял! Так сказать, прильнуть к родничку науки!

И внезапно Балмашов обрел утраченную было уверенность, выпрямился под потолок, развернул плечи, загромождив весь дверной проем, и посмотрел на брата с недостижимой высоты.

— Вечор ты у моего окна топтался? То-то, гляжу, в грязи обгорелые спички, окурки.

От волнения Красавчик косил. И теперь зрачки его заметались, сбились вкось, выкатились белки, похожие на голубиные яйца.

— Оставьте ваши инсинуации! — неуверенно вскричал он. — Нужда была!..

Но Балмашов на этот раз не ошибся.

И впрямь, вчера в сумерках Осип прыгнул с попутного грузовика и пошел степью к совхозному поселку, злорадно представляя, как оробеют, смутятся нежданной встречей Варя и брат.

От шофера он узнал, что бригадир живет в крайней избе.

Прильнув к окну, он увидел, что Балмашовы ужинали. Ведерный чугун стоял на краю стола, Варя высыпала картошку прямо на чисто скобленные доски, тут же горкой насыпала соли. Сергей Потапович, лобастые мальчишки, — пожалуй, лет восьми и лет шести, — с белыми, словно сметаной смазанными волосами, лупили картошку, макали ее в соль, в блюдечко с конопляным маслом.

Аккуратной стопкой лежали длинные ломти ржаного хлеба, — ах, даже сквозь раму почуял Осип парной, пьянящий аромат домашнего каравая, и так заколотилось его волчье сердце.

Варя побелела тридцатилетним величавым дородством, сетка морщинок опутала ее глаза, но от них она стала еще краше.

Он вспомнил, как, обнимая, Варя картаво шептала: «Крла-са-а-авчик!..», и застонал, отрывисто прорыдал: «Ха!..»

Да, жизнь прошла. Тут ничего не поделаешь — прошла...

Сергей Потапович, почувствовав что-то недоброе за окном, обернулся с тревогой, и Красавчик убежал в ночь, к балагану.

Но и сейчас он не захотел сдаваться, куражился,

развалилась на нарах, пятная грязным каблуком полу своего расстегнутого новешенького, дорогого драпа пальто.

— Я конь необъезженный! Вольный ветрище! Хочу — в Нальчик, к княжне, хочу — на Чукотку! А ты чего в жизни видел, святоша? В воловьем ярме ходил, землю глазами рыл!

«Ишь небожитель!» — подумал Балмашов, но, сжав лицевые мышцы, не улыбнулся, как его подмывало.

— Что ж не зашел? Покормили бы. Денег бы дали! — нараспев упрекнул он.

— Не нуждаюсь, — взвизгнул Красавчик. — Вон сколько! Не ворованные — получка. Сумма прописью, год, число...

Теперь Балмашов ему поверил без колебаний.

Красавчик вывалил из брючного кармана пачку свеженьких, скользких, хрустящих, расползающихся по нарам ассигнаций.

— Порога не перешагну! — бушевал он. — Сейчас же, незамедлительно на шоссе, шоферу — четвертную в зубы, и на поезд! Не поминай лихом, брательник! Спасибо за гостеприимство!

— Ну, прощай, если так, — сказал Сергей Потапович. — Нам не пиши! — добавил он с порога.

Этих кощунственных слов он не простил себе долго: кровь-то балмашовская...

И, вероятно, поэтому он, отойдя, оглянулся. Красавчик стоял в дверях балагана, приложив ладонь козырьком ко лбу.

— Варя-то меня забыла? — слабым голосом спросил он.

— Пожалуй, забыла, — отрезал, даже не тратя времени на размышления, Сергей Потапович.

Смеркалось, и он сбился с тропки, тотчас на сапоги навернулись ломти липкой вспаханной земли, и Балмашов взмок до ноздрей, устал, и это помогло ему ни о чем не думать.

Холодный, разгулявшийся к ночи ветер трепал сухой, скелетообразный куст репейника неподалеку.

В лицо Балмашову летели с межей легкие, как зола, травинки.

Небосвод раскололся ветвистой трещиной, бледно-

зеленой от сияния восходящей луны, да на горизонте горел ясный призывный свет в окне балмашовской, крайней в порядке избы, суля изможденному путнику успокоение.

Уходя утром на работу в ремонтную мастерскую, Балмашов заметил в столбе калитки, у самого кольца щеколды свой ножик с перламутровой отделкой.

Нож был вбит в древесину таким бешеным ударом, что, как Сергей Потапович ни старался, вытаскивая, а сломал острие лезвия.

СВИДАНИЕ С ЮНОСТЬЮ



ван Васильевич Соловцев, пожилой холостяк с установившимися привычками, осенью завернул по служебным делам в Синегорск, где не бывал с двадцать восьмого года, после отъезда на рабфак.

В поезде Ивана Васильевича продуло, и он свалился в жесточайшем гриппе на гостиничную кровать.

Первые дни его навещали служащие подведомственного Соловцеву областного треста, приносили кисленькое: клюкву, моченую бруснику и прочее.

Обнаружив на подоконнике пустую бутылку из-под перцовки, доктор строго-настрого запретил дежурной пускать к больному любвеобильных сослуживцев.

А Соловцев не заметил наступившего одиночества: он то дремал, то лениво созерцал, как в хрустальных подвесках люстры роятся золотые пчелы отблесков света, ему хотелось непрерывно потягиваться, зевать.

Лежал он на роскошной двуспальной, красного дерева кровати, широкой, как грузовик, на той самой «единице» мебельного гарнитура, которая неизменно помогала ему «валом» выполнять государственный план.

И все ему казалось, что он по-прежнему едет в поезде: гремели колеса, ревел паровоз.

Это в ресторане, на первом этаже, прямо под его люксовским номером, надрывался джаз-оркестр. Когда били в гулкие медные тарелки, Иван Васильевич вздрагивал, шептал:

— Эк тебя!..

Наконец он забылся, проспал часов четырнадцать подряд и проснулся весь в испарине, бодрый.

Стемнело. Сквозь неплотно задернутые

шторы врывался косой свет уличного фонаря. Вечерний город существовал, жил помимо Соловцева, с неистовым плеском уличного движения, с софитами театральных сцен, с полуторачасовым волшебством кинокартин, с великолепием магазинных витрин, с толпами гуляющих — мечтателей, смеющихся влюбленных, одиноких ревнивцев, свирепых пьяниц..

Выскочив из-под одеяла, Соловцев с наслаждением размялся, попрыгал на пушистом ковре между кроватью и диваном.

У этого дивана, тоже «единицы» мебельного гарнитура, был странный норов: никто на него сутками не садился, а он вдруг, от скуки, что ли, клокотал, вскипал пружинным звоном, как откупоренная бутылка боржома — пузырьками.

Поплескавшись в ванне, побрившись, наведя на лицо кремом с заморской этикеткой окончательный глянец, Соловцев молодцевато крикнул: «Живем!»

Костюм был ладно сшит, по фигуре; пока Иван Васильевич отлеживался, горничная аккуратно выгладила и костюм и галстук.

«В большом городе и погоду-то не замечаешь», — сказал себе, выходя из гостиницы, Иван Васильевич и залюбовался сиянием мокрого асфальта: это нежное сияние рождалось где-то в глубине, словно тротуары были затянuty черным стеклом.

Проворно перебежав улицу, увертываясь от бешено, как бы вслепую, мчавшихся автомобилей, Соловцев с удовлетворением отметил, что сердце не сбилось с ровного хода.

А когда-то ни асфальта, ни трамвая, ни троллейбуса не было здесь в помине, и летом мальчишки ползали по мостовой, для чего-то выпалывая по наистрожайшему приказу горсовета траву, рвущуюся к свету из-под булыжников.

Усмехнувшись снисходительно, будто припомнив свое же детское озорство, Соловцев зашагал куда-то. А вот куда?

Синегорск, как и все советские города, где побывал в командировках Иван Васильевич, резко делился на две части: новую, каменную, выросшую на пустырях

громадами высоких зданий, и старую, плоскую, деревянную, одноэтажную, с садами.

Сейчас, вечером, новый Синегорск был похож на бухту, плотно заставленную многопалубными кораблями, развесившими по бортам нити светящихся иллюминаторов. А старый город, приземистый, напоминал темное море с редкими, пляшущими в волнах баке-нами.

И через минуту Иван Васильевич заметил с недоумением, что забрел в старую половину Синегорска, идет мимо съезжившихся от ветхости домиков, которые, прищурившись за ставнями, неодобрительно рассматривали припозднившегося прохожего.

Соловцев ступать даже начал осторожнее, дабы стуком шагов не спугнуть тихую дремоту местной жизни.

Вот здесь как будто стояла церковь, пышная, как белотелая купчиха.

Он подошел поближе, глянул сквозь безлиственные ветви сада, словно тушью нанесенные штрихи на белокаменных стенах: то же здание, величественное, уходящее ввысь, да не то... Колокольню как-то переделали, и она выглядела сейчас средневековой башней, пристроили веером расходящиеся флигеля, на вывеске золотые буквы: «Синегорский медицинский институт».

И пониже на жестянке приписано, что канцелярия института находится на Кузнечной улице.

На Кузнечной улице жила в те годы Зина Горбатова.

С Зиной Соловцев дружил.

Зина была то умной, как баба-яга, то без колебаний разрешала себе превратиться в форменную дуру, то рассудительной, словно учительница математики, то шалуньей; словом, она была — семнадцатилетней.

Поссорившись как-то с нею, приревновав к Илюшке Раппопорту, Соловцев накурился до звона в ушах и беспощадно выяснил все ее недостатки: ключицы торчат, большеротая, на щеках такой тугой пунцовый румянец, что можно предположить: Зину исподволь готовили, отмывали, красили, чтобы выставить экспонатом в музее здравоохранения.

Утром, опамятававшись, он прибежал к Зине и

опять был очарован, покорен хлынувшей — потоком — ему в сердце доверчивостью, нежностью девушки.

Вот теперь-то Иван Васильевич понял, чем была она красива в ту пору...

Сидя на шаткой ступеньке крыльца во дворе ихнего дома, рядом с розовощекой ото сна — прямо в музей! — Зиной, он осмелился взять ее руку, прикрыть свои глаза ее ладонью, кораллово заалевшими в лучах солнца пальцами.

«Господи, как далеко!.. Третью веку назад!» — подумал Соловцев, а ноги уже несли его к Кузнечной, и ему было досадно, что так расчувствовался, и было боязно заглянуть в свою же юность, как в глубокий, почти бездонный, недостижимый взору овраг.

«Заверну, как говорится, на огонек!» — храбрился Иван Васильевич. — Собственно, я же не виноват ни перед нею, ни перед мужем, если таковой имеется... Ну, писал сперва из рабфака через день, потом — через неделю, потом — через месяц. А потом все пересохло, как степное озерцо в засуху. История обычная!»

Но обычные-то истории — и как это не пришло в голову умному Соловцеву! — самые горькие, самые не-поправимые...

До Кузнечной не доплеснулся асфальтовый прибой, даже булыжная мостовая не пролегла между палисадниками, и одинокий фонарь качался, как бакен в ночном море.

Трехоконный дом Горбатовых стоял прочно, достойно. Поди, еще десятки лет так простоит.

На Ивана Васильевича напала оторопь, он ухватился за заборчик палисадника, как за бруствер окопа, из которого надо вот-вот выпрыгнуть, пойти в атаку.

А ведь ходил не раз и — уцелел.

И вдруг за инеем кисейной занавески прошла та, кто семнадцатилетней осталась для него и такой останется всегда, прошла та, стройная, сильная, изящная, как яхта под парусами, та, от которой он отказался.

Раздвинув занавеску, она бездумно посмотрела на улицу, и сердце Соловцева покатилося: тот же свет юности, то же очарование...

Она была прелестна, как прелестны дети, попросту

не замечавшие окружающих, находящие полноту счастья в самих себе, в своем бытии.

«Дочь? Вероятно, дочь»,— вздохнул Иван Васильевич.

Он даже не отступил в тень, догадавшись, что ей он скучен, неинтересен, как фонарь на противоположной стороне улицы.

«Да чего уж, да зачем?.. Прошлого не вернешь»,— вяло подумал Соловцев, как бы издалека рассматривая свое тыквой торчащее брюшко, морщины, свои бесцветные усы, словно у неумелого актера, загримировавшегося Тарасом Бульбой.

В доме погас свет, будто опустили шторы.

У ворот соседнего дома Иван Васильевич заметил горбатую старушку, собиравшую в мешок щепки, белевшие на темной земле, как окуньки, выпрыгнувшие из сети.

— Мамаша,— перешагнув через лежавшие тут же, свежеекоренные бревна, обратился Соловцев,— случайно не знаете, Горбуновы здесь живут?

Он нарочно, чтоб не попасть впросак, изменил фамилию.

— Это какие же Горбуновы?— приложив руку к щеке, спросила старушка необычайно пронзительным голосом.— Здесь нету никаких Горбуновых! Горбатовы?— Охваченная жадным интересом, она выронила щепку.— Может, тебе, отец, Горбатовы нужны?

— Ну, Горбатовы,— покраснел Иван Васильевич.

— Так вот горбатовский-то дом, вот!.. Заходи во двор. Только Зенаида Петровна,— старушка по-старомодному произнесла «Зенаида»,— в Бирск уехавши, с внуком нянчиться. Ну, младшая дома, Софья. Да ты собачки-то не бойся: брехливая, а трусиха!

— Спасибо, мамаша,— сказал Соловцев и пошел было к калитке, но проскользнул мимо нее, как робкий пловец, огибающий стремнину, прижимающийся к берегу.

Он надеялся, что старушка не приметит его поспешного бегства.

И верно, она опять занялась сбором щепок — то ли забыла о нем, то ли отложила расспросы младшей Софьи о незваном госте до утра.

Шлепая калошами по жидкой грязи, Соловцев прошмыгнул за угол и лишь там отдышался, принял обычный солидный вид, взбив кончиками пальцев усы, подтянув галстук.

Собственно, ничего не стряслось. Вламываться поздним вечером в чужой дом как-то неудобно. О чем ему беседовать с юной Софьей, как представиться? Вот если бы Зина была дома, то иное дело, конечно...

Улица, скупо освещенная реденькими бусами фонарей, повела его куда-то вправо, но не к гостинице.

Однако Соловцев подчинился ее потоку, ибо там, где проносились вечерние полупустые, словно перевозящие не пассажиров, а голубые глыбы льда, трамваи, где шныряли увертливые легковушки, рычали, сотрясая землю, грузовики, где у кинотеатра и ресторана толпились люди, он чувствовал себя самоувереннее, бодрее и, так сказать, естественно вписывался в городской пейзаж.

И Соловцева уже навестили игривые размышления о том, как он, вернувшись в стольный град, расскажет приятельнице о неудачном визите, о несостоявшемся свидании с Зиной.

Пожалуй, Людмила Ипполитовна отнесется к происшествию так же иронически, как и он, и, рассмеявшись, посоветует Ивану Васильевичу не впадать в лиризм, а заняться в командировках выполнением прямых служебных обязанностей.

Повеселев, Соловцев начал внимательнее приглядываться к окружавшим его строениям, как бы выискивая повод для дополнительных рассказов приятельнице о провинциальных курьезах.

Помнится, на углу Пантелеймоновской и Дворянской,—теперь улицы получили новое именование, но при нэпе их еще называли по-старому,—в низке какой-то оборотистый частник торговал галантерейным мусором.

Иван Васильевич приостановился, заглянул,—подвал был освещен, на прилавке, словно церковный трехсвечник, стояли колбы с ядовито зеленым и красным сиропом, а за ними все тот же постаревший торговец, сучая, мял в кулаке мясистый нос.

«Поторговать-то как хочется»,—подумал с издевкой

Соловцев, скользнув брезгливым взглядом по жестяной вывеске какого-то коопторга.

Ухватившись за перильца, чтоб не споткнуться, он сошел в подвал.

Продавец его встретил единственно возможным вопросом:

— С сиропом или без сиропа?

— Что ж на пенсию-то?— заинтересовался Иван Васильевич, ткнув пальцем в жгуче изумрудную колбу.

— Значит, не выслужил,— с неохотой сказал продавец, пырская газировкой в бокал, с виртуозной ловкостью взбивая зеленую пену.

«На север, видно, путешествовал за уголовно наказуемые деяния?»— подумал Соловцев, рассматривая лысый, в шишках, череп старика, похожий на череп парикмахерского манекена, с которого сполз парик.

— Давненько в вашем городе не бывал,— сказал, потянувшись, Иван Васильевич.— Однако изменился неузнаваемо! Целые улицы выросли! А заводов-то, заводов!..

Трудно сказать, для чего он затеял эту беседу, не нужную ни ему, ни старику.

— Фасады!— заметил продавец, и в глазах его искорками мелькнула затаенная злость.

— Это в каком же смысле?

Собственно, смысл был предельно ясным: за фасадами новых, только что воздвигнутых зданий, по мнению торговца, бурлила та же прежняя жизнь, неустроенная, с корыстью, завистью, торгашеством.

— А вот в таком!.. Да вы пейте-ка водицу, пока не выдохлась,— предложил продавец, отсчитывая Соловцеву сдачу мокрыми медяками.

Не пригубив, Иван Васильевич оттолкнул бокал и вышел, провожаемый слабенькой укоризной:

— Что ж не отведали?

А Соловцев, взяв единым махом одиннадцать ступенек, не отдышавшись еще, поднял руку, ибо к перекрестку, сверля темноту, приближался зеленый огонек, будто блуждающий светофор.

— Такси!

В номере Иван Васильевич повесил на «плечики»

забрызганное грязью пальто, долго, тщательно мылся, а заглянув в зеркало над рукомойником, скорчил сам себе зверскую гримасу: «Эк неврастения-то разыгралась!..»

Пустьки, надо поужинать плотнее, с водкой, да завалиться дрыхнуть, вот и вся недолга.

Вернувшись из ванной, он достал чистую сорочку, расправил ее идеально заглаженные ласты, сдул пушинку,— все: и комфорт уютного номера, и горячая вода в умывальнике, и сиреневая, еще не надеванная рубаша, и предвкушение обильного ужина — уже доставляло ему удовольствие, но вдруг сам по себе забурлил диван таким наглым металлическим лязгом, что Иван Васильевич отскочил, перепугавшись.

— А будьте вы прокляты с вашим «валом», с гарнитурами! — завыл Соловцев и пнул диван, как шкодливого пса.

Схватившись за голову, он повалился на двуспальное ристалище, смяв тюлевую накидку.

Нет, не возвращаются реки в русла свои, и каждый новый день не повторяет вчерашнего.

Если он прозевал жизнь, судьбу, нежась на солнце-пеке, страхась нужды, семейных забот, то сам и виноват.

Конечно, работа и сейчас приносит ему душевное удовлетворение: он кому-то нужен, ценят его. Но что ему в дачке с местной канализацией, водяным отоплением, с гаражом для собственного автомобиля, если старость обязательно выдастся жалкой и скучной!..

Повернувшись на спину, жмурясь от блеска хрустального лампона, — эх, тоже роскошь, тоже «вал»! — Иван Васильевич вспомнил, как грозовой июльский ливень однажды застиг его и Зину в загородном саду.

И какой ливень! Потоп... Они бежали по дорожке, ослепленные магниевыми вспышками молний, разрывая шуршащие, словно из стекла, жгуты отвесно льющейся воды; угрюмого завывания грома не слышали — лишь биение сердца.

И, влетев опрометью в беседку, они без восклицаний бросились друг другу в объятия, прильнули, слились нерасторжимо.

Во всяком случае, Ваня Соловцев в тот момент чувствовал: нерасторжимо.

На ней было не так-то много одежды, и теперь мокрое батистовое платье не прикрывало, а обнажало ее тело ожившей танагрской статуэтки.

Он был робок, неловок, и перепутанные легкие волосы ее, упавшие ему на лицо, на веки, дрогнувший в поцелуе оледенелый рот ее — вот что оставила ему судьба в памяти, ныне уже изрядно подпорченной склерозом.

Тогда это было счастьем безмерным, упоительным..

Недолговечны летние грозы. Шумели ручьи. Крутая радуга акварельным мазком раскрасила небо. Они вышли из беседки, не глядя друг на друга, но не от стыда, а оттого, что ресницы их были мокрыми, и, пожалуй, не от ливня...

Третью века назад!..

И Соловцев сорвался, созвонился с начальником станции и, прихватив чемодан, уехал к очередному поезду, убежал от воспоминаний, как затравленный, оборвавший повод конь от таежного гнуса.

Командировочное удостоверение осталось без надлежащей отметки: за эту оплошность пришлось расплачиваться в главке из собственного кошелька.

МОМЕНТАЛЬНЫЙ СНИМОК

3

заведующего отделом оформления газеты «Синегорский рабочий» Валерьяна Сергеевича Бушуева вызвали к ответственному секретарю редакции.

Валерьян Сергеевич поморщился: он недолюбливал Сладкопевцева за грубость, старался не иметь с ним дела и фотографии, рисунки обычно сдавал заместителю секретаря, милейшему Григорию Васильевичу.

Бушуев был изящный старичок, приверженный к крахмальным воротничкам, замшевому жилету, остроносым штиблетам, к булавке с аметистом в галстук. Пенсне прочно сидело на его хрящеватом носике.

Через два года ему предстояло идти на пенсию, и Бушуев предвкушал, как он станет «свободным художником» — начнет резать гравюры на дереве, заниматься цветной фотографией, собирать альбомы репродукций, читать лекции о изобразительном искусстве в рабочих клубах и школах.

— Теперь мужчине главное дожить до шестидесяти лет, — говорил он милейшему Григорию Васильевичу. — Далее возможно жить беспредельно: таковы успехи современной медицины.

— Да ты и раньше мог бы стать настоящим художником. Членом Союза советских художников! — замечал Григорий Васильевич. — Робкий!.. Ну и к редакции привык.

— Да, да, привык, — Валерьян Сергеевич с виноватым видом опускал глаза.

И в самом деле, он привык к газете, сроднился с нею и уже терпимо относился к Сладкопевцеву, справедливо считая, что в редакционном коллективе должен быть хотя бы один грубиян.

А сейчас, в августе пятьдесят девятого года, обстановка в отделе сложилась тяжелая:

лучший фоторепортер Миша Костричкин неосторожно прыгнул с парашютной вышки в городском саду — поспешили, что он был пьян, — и вывихнул ногу; Мамедов, тоже отличный фотограф, отбыл в очередной отпуск на Южный берег Крыма.

Так что Бушуев не ожидал от разговора с секретарем ничего приятного.

А у Сладкопевцева с утра побаливала печень, он нервничал, раздражался из-за малейшего пустяка. И понятно, что встретил он Валерьяна Сергеевича с гневом:

— Надо пошевелиться, товарищ Бушуев! Маневрировать! Не вижу творческой инициативы! Отдел на грани развала!

— Позвольте, — сказал Бушуев, приподнимаясь на цыпочки.

— Нет, позвольте мне досказать! Скоро мы начнем выпускать газету без иллюстраций. Как «Ведомости Верховного Совета».

— Но я предлагал...

— А я повторяю, что не имею права вручать редакционное удостоверение непроверенной личности! Что это такое ваш Радик Скворцов? Ха! Десятиклассник!

— Первая премия на областной фотовыставке «Наши дни».

— Да нет, я не возражаю против «фотоэтюда читателя». С указанием школы, класса, возраста. Конечно, время от времени, — спохватился Сладкопевцев. — Но взять в штат, выдать удостоверение? Ни-ког-да!

— Позвольте...

— А вот позвольте вам предложить выехать вечером в колхоз «Заря» Хлебниковского района. Он в этом году на подъеме, сам Семен Платонович отметил на пленуме... Выполняет на днях два годовых плана продажи молока. Летом!.. И это в Хлебниковском районе, который из года в год тянул область вниз... Первополосный художественный снимок. Три колонки. Портреты знатных доярок. Очерк уже есть. Довольно приличный. Визированный.

Бушуеву хотелось сказать, что ему пятьдесят восемь лет, что у него радикулит, что талантливый Скворцов воспринял бы редакционное поручение как

приказ лететь в космос на межпланетном корабле и сделал бы снимок замечательный, подлинно художественный, но вместо этого вздохнул и на цыпочках вышел из кабинета.

Через полчаса он был дома.

Супруга Валерьяна Сергеевича готовилась к очередной лекции: она преподавала в педагогическом институте политэкономии.

У Елены Панкратьевны был невозмутимый характер: даже стихийное бедствие, например землетрясение, не вынудило бы ее опоздать на лекцию.

Узнав о срочной командировке мужа, Елена Панкратьевна начала готовить его в путь с такой обстоятельностью, с какой управляла каждую осень в Кисловодск. После деликатных препирательств чемодан и портплед были уложены обратно в кладовку, но шерстяные носки и термос все-таки попали в саквояж — на этот раз Валерьян Сергеевич покорился.

Раздался пронзительный звонок, и в квартиру вбежал Радик Скворцов. Это был черноволосый, с ярко-красными губами подросток. На всевозможных местах его модной куртки и узеньких брючишек сверкали застежки-«молнии».

— Валерьян Сергеевич, я еду с вами в деревню! — сказал Скворцов в сильнейшем возбуждении.

— Вы, Радик, перешли в десятый класс с тройкой по математике и с тройкой по физике. Вот почему вы никуда не поедете! — строго сказал Бушуев; он обращался к школьникам исключительно на «вы». — Предупреждаю: на «тройках» прокатиться по страницам газеты не удастся! «Гайда тройка, снег пушистый!..» — И Бушуев рассмеялся, весьма довольный собственным остроумием.

— Вы простудитесь и захвораете! — Радик обернулся к Елене Панкратьевне, ища у нее поддержки.

Елена Панкратьевна пожала плечами: если командировка в сельскую местность сопряжена с простудой, то, следовательно, нужно мириться с неизбежным злом. И вышла, чтобы взять из домашней аптечки и уложить в саквояж необходимые медикаменты.

— Почему же вы, Радик, не простудитесь, а я обязательно простужусь? — Бушуев обиделся.

— Тогда разрешите, я смотаюсь и сделаю снимки, а поместим их под вашим именем.

— Молодой человек, это подлог!— Бушуев с достоинством застегнул на все пуговицы пиджак.— Но я прощаю, ибо чувствую в ваших словах любовь к газете и, гм, ко мне!.. А на подлог не пойду и — заметьте! — считаю политически ответственное задание знаком доверия ко мне, да, да, доверия!

На станции Бушуева встретил председатель колхоза «Заря» Родионов, предупрежденный редакционной телеграммой. Это был мужчина тучного телосложения, похожий на шеф-повара первоклассного ресторана, где высокие цены в преysкуранте позволяют выполнять месячный план за две недели, а дальше и беспокоиться не о чем.

— Крайне лестно! — сказал Родионов, забирая у Бушуева саквояж. — А то приезжают всякие, с «молниями». Никакой солидности!

После этих слов Бушуев решил, что Радику следует поостороже относиться к стилю своего костюма.

— Прощу! Ступенька сломана — осторожно! — радушно приговаривал Родионов, ведя гостя под локомоток.

Было раннее утро. Едва за мелколесьем затих грохот поезда, станцию окутала дымка скучной тишины. Над колодцем, на высоком журавле, висело пустое ведро, еще не обсохшее, — светясь, падали капли, стуча о край сруба. Из трубы низкого, барачного типа дома поднимался шатучий столбик дыма, светлого на фоне черной, еще не прогретой солнцем листвы тополя. Сырая канава у дороги была набита лопухами, необычайно жирными, похожими на лягушек.

В рессорную двуколку был запряжен раскормленный мерин с таким глубоким желобом по хребту, что всадником на нем Валерьян Сергеевич мог представить лишь Александра Третьего.

Усадив Бушуева, подоткнув ему за спину подушку в холщовой замызанной наволочке, председатель разобрал шерстяные вожжи. Руки Родионова были белые, холеные, с подушечками над суставами,

«Архиерейские ручки,— отметил наблюдательный Бушуев.— Божьим старушкам бы лобызаться!»

В нем закипало смутное раздражение, он как бы готовился к отпору, казалось, что председатель завезет сотрудника редакции к себе домой, закатит баснословное угощение, не преминув предложить, гм, самогону, а при отъезде сунет в саквояж баночку липового меда.

Мерин трусил мелкой рысью; в брюхе у него гудело, как в пустой бочке.

Когда встречные кланялись, то Валерьян Сергеевич снимал шляпу, а Родионов шевелил усами.

Проехали деревянный мост над быстротекущей речкой, сжатой зарослями орешника, лозняка. Вода прыгала с камня на камень, раскачивала мелтки прибрежного камыша, кружила в мелкодонных омутах белый, как толченая соль, песок. На середине моста Родионов остановил лошадь и, указав пальцем на доски настила, сказал:

— При мне!

Солнце припекало. Левее дороги, в березовой роще открылась полянка, такая светлая, словно на ней был фонтан, разбрызгивающий на листву и траву капли жаркого блеска.

При въезде в деревню председатель опять остановил мерина и жестом усталого экскурсовода показал Бушуеву кирпичную ферму, обронив:

— При мне!

Но держался он деликатно, завез Бушуева не к себе, а к тете Груне, посулив, что у нее чисто, тихо, готовит вкусно, а за постой возьмет недорого.

— Отдохните, а затем сообща осмотрим плоды созидательного колхозного труда,— сказал Родионов без улыбки. Плавным мановением руки обратил внимание Бушуева на водонапорную башню: «При мне!..» И дернул вожжи...

Познакомившись с хозяйкой, костлявой старушкой, которой бы — по злему нраву — не командированных принимать, а торговать в потайном шинке, умывшись, Бушуев посидел на крыльце, обозревая деревню.

Избы стояли крупные, пятистенные, под железными крышами, с палисадниками; на усадьбах виднелись амбары, сарай, на огородах, в конопляниках —

бани, и у всех строений был самоуверенный вид, словно говорили они Бушуеву: хочешь — фотографируй, хочешь — не фотографируй, а мы и без твоих картинок обойдемся.

Разнежась на солнцепеке, Валерьян Сергеевич подумал, что, может, ему по выходе-то на пенсию перекочевать бы в такое село и вековать здесь, в идиллической тишине...

У правления колхоза, помещавшегося, как сказала тетя Груня, в бывшем поповском доме, на завалинке сидели курили мужчины, такие же плотные, как Родионов.

Увидев идущего от конюшни председателя, они затоптали окурки, сняли картузы, солдатские выпцветшие фуражки.

Родионов пошевелил усами.

Валерьян Сергеевич покоился на жаркой перине под ватным ситцевым одеялом, бойко насвистывая острым носиком, а за перегородкой в напряженной позе сидели тетя Груня и ее племянница Женя. Девушка была одета странно: в лыжных брюках и нейлоновой кофточке. Темно-коричневые от загара плечи и руки Жени были худые, но мускулистые; глаза ее, светло-серые, почти стального отблеска, с синеватыми белками, то вспыхивали нетерпением, то потухали.

И хозяйка и Женя с тревогой посматривали на будильник, стоявший на комод, в окружении стада фарфоровых слонов.

— Пора, что ли? — поминутно спрашивала Женя.

— Обожди, пусть посокует, — останавливала ее благоразумная тетушка.

Было еще очень рано; к стеклам прилипла дымными завитками туманная сырость; простуженно кашляла собака у крыльца; от зычных — протодьяконских — возгласов петуха тишина становилась еще неподвижнее, тяжелее.

А у постояльца было светло на душе, был он охвачен таким крепким, целительным сном, какого и не ведал в городской суете. Днем Бушуев при любезном содействии Родионова сделал серию превосходных сним-

ков. Материал оказался чрезвычайно фотогеничным: добродушные коровы с выпуклыми, как линзы, глазами, такие крутобокие, что их можно было опоясать обручами, как бочонки, доярки в белоснежных халатах; цементированные траншеи для кукурузного силоса; маслобойка и прочее.

Председатель вел себя с обаятельной скромностью, не лез в кадр, и деликатному Бушуеву с трудом удалось заставить Родионова встать в центре группы тотчас же окаменевших доярок.

— Улыбнитесь, — мягко попросил Бушуев.

И девушки натянуто улыбнулись.

Родионов нахохлил усы.

«В сущности, и Миша Костричкин и Мамедов увеличивают трудности своего ремесла. Из каждой командировки возвращаются, как из антарктической экспедиции», — подумал Бушуев, не замечая, что подражает ехидному Сладкопевцеву.

Правда, были неожиданности: тетя Груня, как выяснилось, до избрания председателем Родионова восемь лет подряд заведовала фермой. Фотографироваться она отказалась, а отведя председателя в сторону, что-то строго сказала, добавив покоробившие Валерьяна Сергеевича непристойные выражения. И Родионов скис, заскучал, рассыпался в уверениях, что все будет исполнено... Продолжалось это с минутку, и Бушуев быстро забыл неприятную сценку.

Вечером тетя Груня попотчевала Бушуева вкусным ужином и, узнав, что приезжий привык поутру натошак есть простоквашу, заняла у соседки крынку, и обещала добыть у деда Матвея окуней к завтраку, и собственноручно взбивала перину...

Тем более был ошарашен теперь, на рассвете, Валерьян Сергеевич, бесцеремонно разбуженный хозяйкой.

— Подымайся-ка, сокол, дело серьезное, неотложное! — сказала тетя Груня зловещим голосом.

Так, вероятно, в былые времена атаманша шайки разбойников будила подручных, напоминая: «Подымайтесь-ка грабить торгового гостя: копыта стучат, близок обоз!..»

А рядом с хозяйкой стояла невысокая тонкая девушка в лыжных брюках.

— Извините, конечно, что побеспокоили, но дело действительно неотложное!

— Моя племянница учительница, в соседнем хуторе живет, Евгенией кличут, там наша восьмая бригада, на хуторе-то,— пояснила хозяйка с прежним угрюмым выражением.

По простоте душевной и она и Женя не ушли за перегородку, и Валерьян Сергеевич корчился, будто в холерных судорогах, одеваясь под одеялом.

Тетя Груня вынула из печки чугунок с теплой водой, добавила в рукомойник, чтобы постоялец не обжегся студеной, колодезной. И крынку с простоквашей поставила на стол, но делала она все рывками, словно кипело в ней что-то нестерпимо жгучее.

Тем временем девушка рассказывала все еще не очухавшемуся Валерьяну Сергеевичу:

— Ни о каком выполнении двух годовых планов продажи молока говорить не приходится.

— Фикция! — заметила тетя Груня.

— Председатель закупил в потребсоюзе тонну масла и намерен сегодня же получить квитанцию... То есть перепродает под видом молока это же масло, и в перерасчете на литры получится план,— единым духом выпалила Женя.

— Инсценировка! — добавила тетя Груня.

Бушуев ничего не понял.

— Скажите, Евгения, э...

— Евгения Григорьевна,— и Женя покраснела.

Она почла бы естественным более строгое обхождение.

— Скажите, Евгения Григорьевна, а каков же смысл в этом, э... превращении масла в молоко?

— А смысл в том, что наш Родиончик хочет блеснуть двумя годовыми планами и осенью смыться...

— Карьерист! — сказала тетя Груня.

— ...и осенью смыться на повышение в область! Идет на различные махинации, чтобы прославиться!

— Конъюнктурщик! — сказала тетя Груня.

— Неужели кому-либо нужно такое бесстыдное

очковтирательство? Кого он хочет удивить фальшивым рапортом? — страстно, как гадающая на базаре цыганка, спросила Женя. — И ведь до чего ловко обстригал, а!.. Очеркиста приглашал, члена Союза советских писателей. Теперь вы, старик, попались на удочку!

Валерьян Сергеевич поморщился: он не любил, когда его называли стариком, считал себя «мужчиной средних лет».

— А ведь мы вчера весь день ждали, как вы будете реагировать на интриги Родиончика!

— Обвел вокруг пальца! — вынесла приговор тетя Груня.

Валерьяну Сергеевичу было неприятно, что его обвели вокруг пальца.

— Вы же записывали цифры для подписи к снимкам, — с укором продолжала девушка. — Прикиньте в уме, плюсуйте, но с такими удоями баланс все равно не сойдется! Да вот при ней, — Женя показала на мстительно улыбнувшуюся тетушку, — удои были куда выше!

Валерьян Сергеевич не был силен в статистике.

— Скажите, Евгения Григорьевна, а чего, собственно, вы ждете от меня? — вырвалось у него беспомощным стоном. — Известно вам, что я, э... беспартийный?

Женя и тетя Груня кивнули в знак того, что никогда не считали Бушуева членом партии с дореволюционным стажем.

— Сейчас, пока народ не поднялся, привезут на двух подводах масло. Точно!.. Нужно сфотографировать, но так, чтобы вышли этикетки на ящиках. Фотообвинение!

— Риск! — заметила тетя Груня.

— Моментальный снимок!

Валерьян Сергеевич увидел, что на скатерти перед глазами заплесали темные пятна, сдернул, протер платком пенсне.

Доселе он обитал на тихих островках: работал то декоратором в клубе лесозавода № 1, то художником в кукольном театре, а последние пятнадцать лет — в

газете. Редко, очень редко приходилось ему принимать самостоятельные решения, обычно дело ограничивалось «творческой инициативой», как выражался Сладкопевцев.

«За истекшую декаду не видел творческой инициативы в отделе оформления!» — бушевал секретарь на редакционных летучках.

Зачастую сотрудники слышали и благосклонное:

«За истекшую декаду отдел оформления проявил надлежащую инициативу!..»

Теперь предстояло взорвать первополосный материал («Семен Платонович отметил на пленуме!..»), идти на конфликт не только с Родионовым, со Сладкопевцевым, — куда там, с областным сельхозуправлением.

— Фотообвинение-е-е, — протянул Валерьян Сергеевич упавшим голосом.

— Фотообвинение, — пристукнув кулачком по столу, будто забив гвоздь по самую шляпку, сказала Жения. — Бац! Тут Родиончику крышка. Кто за маслом уехал? — обратилась она к тете.

— Кому ж ехать? Твой Прохор! — со злым удовольствием сказала тетя Груня.

И племянницу не пощадила...

Верхняя губа Жени жалобно, совсем как у обиженного ребенка, дрогнула.

— Фотообвинение! — повторил Валерьян Сергеевич, протирая платком чистые и без того стекла пенсне, с трудом удерживая трепетание коричневых, заплывших от сна век.

Он мог бы сказать, что у него радикулит, что ему пятьдесят восемь лет, что, наконец, приехал он сюда по официальному предписанию, с целью строго определенной, конкретной, что коровы, которых он вчера фотографировал, настоящие, не муляжи, что пусть ответственный секретарь и несет ответственность за рапорты Родионова, но вместо этого нагнулся и взял из-под кровати штиблеты.

По забывчивости он сидел до сих пор в носках.

Атаманша разбойников подобрела, переполошилась:

— Господи, от порога дует, простудитесь!

Сбывалось предсказание Радика Скворцова.

Пес с вытекшим гноившимся глазом бесшумно подкрался, понюхал брюки вздрогнувшего Валерьяна Сергеевича.

«Да где ж она?» — с досадой подумал Бушуев, отступая к двери, заглядывая в избу.

Женя сосредоточенно пудрилась перед зеркалом, какое держала, как икону, на груди тетя Груня, уверенным мазком подкрасила губы и лишь после этих, вероятно, необходимых приготовлений вышла на крыльцо.

— Бежим! — шепнула девушка, вовсе не интересуясь, способен ли Валерьян Сергеевич бегать. — Только бы не опоздать!

«Не опоздать!..» — уныло подумал Бушуев. И страшно и стыдно ему было признаться, что эта девушка в лыжных брюках и нейлоновой кофте — костюме экзотическом — знала, как ей сейчас действовать, а он не знал... Между тем в жизни самое главное — действовать. Пусть глупо, опрометчиво, но обязательно действовать, кидаться в схватку.

Тетя Груня с крыльца провожала их тревожным взглядом и каялась, что дозволила взбалмошной племяннице втравить в рискованную затею почтенного старичка. Но не раз тетя Груня находила в газете снимки с надписью: «фотообвинение», а через неделю-две и сообщения о наказании виновных. И потому она верила, что «фотообвинение» Родиончика в подлоге бесславно завершит его карьеру... Тетя Груня честно работала в колхозе, когда на трудовень выдавали двести граммов зерновых и двадцать шесть копеек. Работала, когда ничего не выдавали... А ныне, когда трудовень стал весомым, когда было вдоволь силоса, сена, концентратов, работать не хотела, потому что Родионов ее не уважал, не ценил, потому что стремился он к личным почестям...

Туман уже отхлынул от раскинувшейся на взгорье деревни, держался мутно-серыми озерцами в низинах, овражках. Женя и Бушуев пошли не улицей, а огородами, где пахло сырыми конопляниками. Валерьян Сергеевич непрерывно спотыкался, и Жене пришлось вести его за руку, как слепца. Из открытой двери курной бани несло гарью, как из кузницы. За огоро-

дом угодили в мокрую крапиву, Бушуев острекался, серые брюки его потемнели до колен.

Женя с азартом говорила, что самое удобное место для съемки — песчаный косогор у моста: лошади там пойдут шагом, а кустарник подступает к самой дорожке.

«Возьмет ли мой объектив в таком тумане?» — с профессиональной деловитостью подумал Бушуев.

Засев в канаве, они разговорились и уже не чувствовали стужи, охваченные охотничьим пылом.

— Я хочу, чтобы все в жизни было по-честному! А как же мне жить, Валерьян Сергеевич, милый, если я смирюсь с обманом?.. Родиончик опять продирается к высокому посту! Ведь он у нас районной властью вершил, ну, слетел за очковитирательство, лишился было партийного билета, да тут пошла мода добровольно идти в колхозы, он первым и откликнулся... Простили...

Ни в молодости, ни в зрелые годы Бушуев не отличался страстью к приключениям. А теперь что ж — старость на пороге... Но он залюбовался оживленным личиком, блеском шальных глаз девушки и уже не раскаивался, что угодил из перины в засаду.

Неожиданно загудели доски настила, послышался резкий перестук копыт, и, побледнев, Женя толкнула Бушуева в плечо, скомандовала:

— Пошли!

Согнувшись, почти на четвереньках, они выбрались из канавы.

Расчет девушки оказался верным: лошади поднимались по косогору медленно, потные, со слипшейся шерстью, бока их так и ходили, головы они опустили, словно нюхали слежавшуюся за ночь пыль. Бросив вожжи на спину передней лошади, вразвалку шагал, держась за оглоблю, парень в ватной куртке, кожаной фуражке. Смуглое лицо его, острое, напоминающее лезвие топора, выражало такую порывистую силу, что у Валерьяна Сергеевича тотчас ослабли ноги.

— Щелкайте, щелкайте, — зашептала Женя. — Ловите в фокус клеймо маслозавода! Без этикетки не получится фотообвинения! — И отчаянными жестами поторопила Бушуева.

Прямо с вокзала Валерьян Сергеевич поехал в редакцию, не заглянув домой, а беседа с рассудительной Еленой Панкратьевной ему бы, разумеется, помогла... Радик был прав: старик простудился, всю ночь в вагоне его трясло, и теперь, в трамвае, со смущенным видом Валерьян Сергеевич стряхивал мокрым, хоть выжимай, платком с ноздрей то и дело набегающие капли.

Увидев обычно элегантного Валерьяна Сергеевича небритым, в грязном плаще, в мятых брючишках, Сладкопевцев с удовольствием усмехнулся: ага, теперь узнал, почему фунт лиха.

Но едва он выслушал непрестанно запилавшегося, мямлившего Бушуева, как стиснул от гнева зубы — на скулах заиграли белые пятнышки.

— Вы что, с ума сошли? — раздельно спросил Сладкопевцев, перегнувшись через стол. — Сам Семен Платонович на пленуме... Я уже передовую написал! Очерк набран, вычитан. Полоса сверстана, оставили место для фотографий!..

— А я привез фотообвинение, — расхрабрившись, твердо сказал Бушуев. — И никакого участия в очковтирательстве, очковтирательстве антипартийном, да, да, товарищ Сладкопевцев, принимать не намерен!

— Ка-а-а-кое твое дело? — Гневясь, Сладкопевцев «тыкал» сотрудникам. — Тебя послали сделать снимки знатных доярок, коров-рекордисток, председателя колхоза. Выполняй задание и не вольнодумствуй!..

— Вы называете это вольнодумством, а я принципиальностью.

— Нашел тоже мне принципиальные фотографии!.. Кому нужна твоя принципиальность?

— Мне, мне она нужна! — срывающимся голосом воскликнул Бушуев. — Нужна тете Груне, Жене, а если неустойчивый Прохор за пол-литра поддался Родиончику, то и целуйтесь с ним! Принципиальность нужна Радике Скворцову!

— Какой Прохор? Какая тетя Груня? — Сладкопевцев взялся за виски. — Тебя что, споили там?.. Вот что, давай катушку, я сам проявлю, а ты отправляйся домой, ложись спать!

— Получите фотообвинение, а остальные кадры я засвечу.

— Слушай, тебе же осталось полтора года до пенсии,— вильнул в сторону секретарь.— Если я тебя выгоню,— а я тебя обязательно выгоню,— то лишишься солидной пенсии.

— А плевал я на пенсию! Дети — взрослые, самостоятельные, жена — доцент, кандидат наук, как-нибудь проживу... И как у вас, товарищ Сладкопевцев, язык пошевельнулся, чтобы подносить мне такие угрозы.

Быстрыми шагами Бушуев вышел из кабинета, но через минуту же вернулся.

Сладкопевцев, съездившись, держась за живот, полужележал на диване, видно печень разыгралась, и у него был такой несчастный вид, что Валерьяну Сергеевичу стало на миг жаль его, но тотчас он подавил в себе этот приступ жалости, сознавая, что никогда не простит себе, если уступит...

Выпрямившись, дрожа и от лихорадки и от злости, он отчеканил:

— Имейте в виду, Радика я к вам теперь не пущу! Не позволю растлевать юную душу!

— Ладно, ладно, пиши заявление об уходе по собственному желанию,— вяло огрызнулся Сладкопевцев.

Он полежал несколько минут, постонал, а когда боль утихла, с трудом, пошатываясь, доковылял до кресла.

«Скверно живу, фу,— сказал он, закуривая, кашляя от безвкусного, щекочущего горло табачного дыма.— Непростительно скверно! И не вырвешься из этого ко-леса!.. Хотя... хотя этот тихоня, этот эстет вырвался!»

Он дотянулся до «вертушки», набрал номер.

— Семен Платонович, неприятность произошла, по-лосу придется отложить!

Бушуев работал на полставке в том же клубе лесозавода № 1, где трудился еще до войны, и организовывал художественную студию, устраивал фотовыставку «Мой край», когда пошли слухи, что Родионов и его вы-

сокопоставленные покровители, в том числе и Семен Платонович, загремели...

«Надо бы тете Груне и Жене написать», — подумал он.

Но оказалось, что он то ли запмятовал, то ли никогда не знал их фамилии, а через день в Союзе художников состоялось обсуждение эскизов диорамы «Октябрьские дни в Синегорске», а в субботу пришлось плестись с обязательной Еленой Панкратьевной в гости к профессору Ключникову...

Так и не написал.

Тетя Груня и Женя ему тоже не писали...



а окраине Синегорска лет пять-шесть назад Машиностроительный завод начал строить гараж, но появившийся к тому времени совнархоз решил, что нужен гараж единый, гигантский, с авторемонтными мастерскими. И строительство законсервировали, но так как были произведены материальные затраты, то есть здание возведено под крышу, то площадку обнесли забором, сколотили проходную будку, наняли сторожей, а старшей среди них назначили Анисию Павловну Киселеву.

Совнархоз расформировали, центральный гараж, общегородской, так и не построили, Анисия Павловна аккуратно выполняла служебные обязанности — заполняла сторожам рапортчики на предмет получения зарплат, топила щепками печурку в будке, грела жестяной чайник и надувалась крепким, дегтярного оттенка чаем до одури, читала книги всевозможного содержания, преимущественно путешествия. Каждую весну Анисия Павловна приходила к заместителю директора по строительству и требовала ремонта забора вокруг несуществующего гаража. Заместитель хватался за голову, вращал глазами, бешевал, что этот проклятый гараж доведет его до инфаркта, однако списать с баланса ни забор, ни коробку здания было невозможно, и потому забор ремонтировали.

Анисия Павловна жила одиноко: муж-фронтовика потеряла в сорок пятом, в самый канун Победы, единственный сын Володя два года назад завербовался, уехал в Якутию на алмазы.

Писал сын редко, скупо, но Анисия Павловна не обижалась, объясняла приятельницам, что у Володьки рука не письменная, а плотничья.

В прошлом году Володя кратко сообщил,

что женился, жена постарше его, повариха в ихней же рабочей столовке.

— На Володькину красоту прельстилась! — сказала Анисья Павловна. — Конечно, старой бабе лестно...

И, возненавидев невестку, на ласковые ее послания не откликнулась, писала по-прежнему сыну, и письма получались деловые, без поклонов и родительского благословения.

Как-то февральским вечером завьюжило, замело дороги, тропки, и Анисья Павловна дремала на нарах: в такую непогоду никто не придет ломать забор на растопку... Днем она долго, пока глаза не устали, читала чьи-то записки о путешествии по Африке и теперь размышляла:

«Черный мужчина туда-сюда... Вроде цыгана! Представить себе не могу, как бы я стала париться в бане с черной бабой-африканкой!»

Добросовестный нрав заставлял Анисию Павловну время от времени посматривать на стоявшую в углу винтовку или, как говорили сторожа, «пушку», однако выходить из жарко натопленной будки, вязнуть в сугробах не хотелось.

— Полежу чуток, — уговаривала себя Анисья Павловна, — сегодня добрый хозяин собаку во двор не выгонит. Не ровен час, Гаврилыч в тулупе запутается, на смену не придет, вот и придется мне до утра дежурить.

Но подремать всласть ей не удалось, — дверь распахнулась, и в будку ввалился облепленный мокрым снегом высокий мужчина, похожий на рождественского Деда Мороза.

— Здравствуйте, тетя Аниса, — сказал Дед Мороз молодым голосом.

— Петька, узнаю по голосу, Петька Скворцов, да ты никак с неба свалился! — ахнула Анисия Павловна.

— В отпуск припожаловал, — весело сказал Петя, опустив на пол у стены мешок с какими-то громыхавшими железками. Оббив голиком у порога валенки, стряхнув снег с шапки, пальто, Петя протянул Анисии Павловне стыдную руку с багровыми пятнами, вероятно от ожогов якутскими морозами.

— А Володька? — Анисия Павловна встревожилась.

— Начальство задержало. Помилуйте, бригадир пе-

редовой бригады, да без него, тетя Аниса, весь фронт строительства рухнет! — ненатурально бодрым тоном сказал Петя.

Анисия Павловна поджала губы: ей было и приятно, что без сына начальство не обойдется, и обидно: значит, жене подчинился, а она на деньгу жадная, поди, обрадовалась, что Володька не потратится на поездку к матери...

— И днюет и ночует на стройке, — присаживаясь к печке, сказал Петя. — Шлет поклонны, а подарки, говорит, сам привезет летом.

— Нужны мне его подарки! — фыркнула Анисия Павловна. Ей не терпелось расспросить гостя о невестке, но из приличия она тянула. — Подбрось щепок, погрейся, простыл ведь, вода вон в ведерке, подбавь в чайник, хоть пустым чаем, а угошу.

— Спасибо, не хочу, а вот, тетя Аниса, вам Володя пельменей прислал, мороженных. — Петя поднял мешок, встряхнул. — Ишь гремят, как чугунные!

— И верно, гремят, — безучастно согласилась Анисия Павловна. — Как же ты ухитрился их привезти в такую даль?

— Стюардесс в самолетах просил хранить в холодильнике.

— А!..

На бровях парня застыли серебристые корочки льда, и он их сдирал, морщась, когда прихватывал волосы. Оттаяв, пообсохнув, Петя превратился в скуластого широколицего юношу. Глаза у него были добрые, а подбородок расплывчатый, будто вылепленный из белой глины.

В школе Володька верховодил им, как хотел, но не обижал, и Петя привязался к нему, кровно полюбил и без долгих раздумий завербовался, уехал с другом на алмазы...

— Что ж, в тамошних краях лета никогда не бывает? — спросила Анисия Павловна опять-таки для того, чтобы оттянуть разговор о невестке.

Петя быстро поднял голову, засмеялся.

— Да что вы, тетя Аниса! Континентальный климат! Пятьдесят градусов жары, как в Африке. Колхозы строят оросительные каналы, посеы поливают. Там

земля как слоеный пирог: сверху золой в засуху рассыпается, а пониже вечная мерзлота.

Анисия Павловна расстроилась.

— Ах, ах, ах!.. Вот дура, дура старая, про Африку читала, а про Якутию толком ничего не знаю, ты мне, Петя, достань книгу, я быстро, за день, за два, прочту.

— Это дело возможное, — кивнул Петя.

Помолчали.

Труба монотонно гудела, наливаясь малинового отблеска жаром. С подоконника, заросшего зелеными сталактитами льда, капало.

— Кого ж Володька выбрал, так сказать, подругой жизни? — наконец решилась, спросила Анисия Павловна заранее подготовленным сухим тоном.

Глаза Пети заметались.

— Представительная женщина. Пудов на семь! Хозяйка. Нет, тетя Аниса, живут они мирно, советно... На Володю-то девки заглядывались!

— Еще бы! — Анисия Павловна была искренне убеждена, что краше ее сынка нет никого на свете.

— Однако выбрал солидную. Шеф-повар!

— Володька на пищу лютой, — вспомнив, усмехнулась Анисия Павловна.

Из вежливости Петя тоже хмыкнул, а затем, помедлив, добавил:

— Девочка у Раисы, первоклассница, Виолеттой зовут.

— Это что же за имя? — с оскорбленным видом откинулась к стене Анисия Павловна.

— Самое обыкновенное, итальянское, а по-нашему: скрипка.

— Будто православных имен не хватает! — возмущилась Анисия Павловна. — Не-ет, Петяша, ты меня с толку сбиваешь, решил вокруг пальца обвести, а материнское сердце вещее, — завела она самую пронзительную, самую злую запевку, — отсюда вижу, что эта стряпуха — змея подколодная, колдунья...

Бог весть, до чего бы дошла она во гневе, но дверь снова скрипнула, и опять вошел Дед Мороз, но пониже ростом, сказал силным голоском:

— Привет честной компании, чайник кипит, а водки не вижу!

Это был Гаврилыч, сменщик Анисии Павловны. Вытряхивая из бороды комки снега, ледышки, он мелко зачастил:

— А мне еще ввечеру баяли, что Петяша Скворцов прибыл в отпуск, ну теперь, Анисия Павловна, от молодых почета не дожدهшься, так я свою полбанку захватил, калганная, собственной перегонки, зелье такое — стакан прожигает!.. Ты бы, Петька, меня завербовал на алмазы, вот я бы вас калганной обеспечил в полном составе.

Анисия Павловна обрадовалась случаю сорвать злость не на невестке — на Гаврилыче.

— Ах вы старый греховодник! Забыл, как в августе за дежурство в пьяном виде схлопотал в приказе строгий выговор с последним, — она многозначительно повторила, — по-след-ним предупреждением!

«Сколько ж было этих предупреждений?» — подумал Петя.

Прикрыв глаза ярко-коричневыми, словно смазанными йодом, веками, Гаврилыч бросил на Петю умоляющий взгляд: заступись, мол, не выдавай на расправу...

И Петя поспешил на выручку:

— У нас, дядя Саша, зона трезвости.

У Гаврилыча от изумления приоткрылся рот.

— Ни-ни?

— Вот именно, ни-ни...

— Нет, парень, мне такой климат не подходит, — наотрез заявил Гаврилыч, вытаскивая из кармана тулупа бутылку, две луковицы, облепленные махорочными крошками соленые огурцы. — Без водки я сразу загнусь, потому в ней — лекарственный бальзам! Баста, не вербуюсь, останусь под началом Анисии Павловны, — строго, но справедлива...

Анисия Павловна тем временем кипела, но последние слова Гаврилыча, произнесенные к месту, политично, смягчили ее нрав.

— Если б не Петяша с сыновым подарком, прогнала б тебя, пьяницу, с дежурства! Давай, старый хрен, грей воду в котелке, пельмени сварим, за Володькино здоровье выпьем!

По первой выпили под луковицу и огурцы.

Петя держался как-то скованно, то улыбался, но боязливо, то хмурился, и наблюдательная Анисия Павловна не преминула подумать, что приехал парень жентись, а Люська Воронина, как сплетничали кумушки, загуляла с курсантом военного училища связи.

Пока пельмени варились, Петя расспрашивал Анисию Павловну и Гаврилыча о наиболее примечательных событиях синегорской жизни.

Отведав, Анисия Павловна брезгливо повела носом.

— Да разве это пельмень? Я бы не уважала гостей, если б угостила их таким пельменем!.. Когда гостей зову, мясо рублю в корыте, тяпкой, от мясорубки у мяса металлический привкус...

Гаврилыч как бы по забывчивости налил себе «отдельную», плеснул водку в рот, выдохнул, отвернувшись, спиртной дух и приналег на пельмени,— ему они чрезвычайно понравились.

— Из какого же мяса этот пельмень? — заинтересовалась Анисия Павловна; ей хотелось еще посердиться на невестку.

— Оленина.

Гаврилыч и Анисия Павловна положили на стол деревянные ложки, с недоумением посмотрели сперва друг на друга, потом на Петю.

— А ее едят? — спросил Гаврилыч и за себя и за Анисию Павловну.

— Вы же едите,— засмеялся Петя.

Анисия Павловна рывком растегнула и тотчас застегнула верхнюю пуговку кофты, она до того растерялась, что не знала, чем теперь заняться — обрушиться ли опять с попреками на невестку или Пете сказать, что непристойно, мол, так подшучивать над людьми...

Гаврилыч, однако, не терялся: украдкой хватил полстакана, придвинул котелок и в считанные минуты прикончил, перекрестившись, оставшиеся пельмени,— на миру и смерть красна.

Сдав дежурство, Анисия Павловна надела синюю шубу с кошачьим, под котик, воротником, закуталась ковровой шалью.

— Из-за Петяши не хочется с тобою связываться,

с прощелыгой,— для порядка поворчала она.— Дове-
ряю ответственный пост, а ты выпивши!

— Ну, скажи, до чего зловредная,— с беспомощным
видом пожаловался Пете старик.

Когда вышли из теплой будки в снежную кипень,
Петя совсем замкнулся, отвечал односложно, но настой-
чивая Анисия Павловна, заставила его дать полный и
обстоятельный отчет, и ему пришлось рассказать, что
Володя с семьей живет в новом доме, таком же, какие
теперь строят в Синегорске,— с центральным отопле-
нием, горячей водою, газом.

— Ишь ты!— при каждом его слове восклицала
Анисия Павловна.— Газ! И туда провели... Горячая во-
да!.. В ванне я, Петяша, стираю, не моюсь, тело по бане
тоскует...

Шагали они напрямик, без дороги, черпая валенка-
ми снег, выюга как будто стихала, но сугробы по-преж-
нему быстро ползли по пустырю, то ухали в канавы,
ямы, выбоины и застывали там, то, наткнувшись на
забор, на камни, лепились пригорками, глянцевито
светлыми на макушке, лилово-темными в складках.

Безбрежно пустая площадь была коричнево-серой,
потому что летящий здесь сильными порывами ветер
сдувал снег, как синий дым, с асфальта.

Недостроенный, с черными — незрячими — глазами
незастекленных окон девятиэтажный дом гремел
вихрями снега полнозвучно, могуче, как орган.

Выйдя на середину площади, Анисия Павловна не-
сколько раз стукнула валенком по асфальту.

— Здесь!— сказала она громко, чтобы надвинув-
ший на уши шапку Петя услышал.

Петя не понял.

— Здесь наш дом стоял!..— прокричала Анисия
Павловна.— Как иду на дежурство или обратно, обяза-
тельно останавлиюсь — слеза жжет! Легко ли, Петяша, я
невестой в тот дом вошла. Володьку в нем родила...
Житье у всех на виду: соседки на завалинке сойдутся,
гуторят! На участке восемнадцать плодоносящих
яблонь,— весной зацветут, вступишь в сад, как в цер-
ковь!.. А какой мясник был в магазине на углу... Ува-
жительный! Завсегда сам предложит бульонные кости,
вырезку, фаршу, словом, что лучше. И магазин не

пощадили, каменный,— взорвали. А где я, Петяша, теперь найду себе мясника? Сад, дом бульдозером сбрили! Однокомнатная квартира — поругаться не с кем. Че-орта мне в горячей воде, я и в баню смотаюсь!

Петя был озадачен: никогда не подозревал, что получившая благоустроенную квартиру в микрорайоне № 4 Анисия Павловна станет тужить о своем трехоконном покосившемся домике... Петя перебрался в новую квартиру с наслаждением, потому что теперь не нужно было пилить и колоть дрова, таскать воду ведрами с колонки, чистить канавы, чинить по весне рухнувший забор, прохудившуюся крышу сарая.

Молодость беспечна, не обременена воспоминаниями, и Петя радовался, что Синегорск застраивается стандартными, не шибко изящными, но добротными домами, что исчезают безвозвратно слободки, окраинные поселки. Ему в голову не приходило, что старый дом не только жилплощадь, что это история, это судьба семьи.

— А ты, поди, забыл, где ваш дом стоял?

— Забыл,— не покривил душою Петя, но вдруг сердце его колыхнулось: он увидел в густой синеве неба голубей, то кипенно-белых, то золотистых, то ярко-коричневых, то сизых, увидел себя, светловолосого мальчугана, на крыше сарая с шестом в руке.

Голуби на свистящих крыльях резали вышину, кувыркались, с вкрадчивым курлыканием опускались на крышу, струились у его ног, а бескрайний простор неба омывал душу мальчика родниковым счастьем.

— И-их вы, чугунные лбы! — вздохнула Анисия Павловна. — Да вон где стоял, в переулке...

И, вероятно, она видела сейчас на коричневой скорородке асфальта переулок в тени тополей и дом Скворцовых, такой же неказистый, как ее собственный, и двенадцатилетних Володю и Петю, гонявших голубей.

— Ну, пошли...

Улица, на которой теперь жила Анисия Павловна, однообразно расцвеченная огнями в окнах, была такой же стандартной, как все новые, недавно появившиеся синегорские улицы, и до сих пор Петя не задумывался, приятна ли людям эта прямолинейная пятиэтажная скука.

Остановившись, у подъезда, Анисия Павловна продолжала бубнить в воротник шубы, жаловалась на однокмнатное одиночество, ругала невестку, а Володьку жалела, и, чтобы утешить ее, Петя вынул из кармана случайно подвернувшуюся под руку кедровую шишку, протянул:

— Совсем запоматывал, вот, тетя Аниса, Володя велел передать, наша северная диковинка, и цветок и фрукт...

Подарок Анисии Павловне пришелся по душе.

— Ишь душистая!..— И растроганно добавила: — Ты, Петяша, заходи, эту неделю я во второй смене, утром заходи, развесели старуху да книжку-то не забудь, достань.

— Обязательно, тетя Аниса, как не зайти...

— Матери, отцу приветы.

Анисия Павловна скрылась в подъезде, а Петя долго стоял неподвижно, и снег лепил на шапку, на плечи, через минуту он опять превратился в Деда Мороза.

Он раскаивался в нерешительности, но в это же время не мог представить, как сказал бы Анисии Павловне, что с Володией стряслась беда, и беда непоправимая: вечером в здании детдома занялся пожар, и возвращавшийся с шахты Володя бросился в пламя, выхватил трех детей, за четвертым — плачущим — полез в окно, и рухнувшая балка придавила его, лицо обгорело, он превратился в уродца, а левая рука обуглилась, как головешка, и ее ампутировали.

Петя не сказал, не мог сказать, что Раиса пришла в больницу, где лежал стиснутый бинтами, похожий на чудовищно огромный кокон шелкопряда Володя, без страха заглянула ему в глаза, залитые слезами, отрезала:

— Думай, что хочешь, а мне с инвалидом возжаться не с руки. Я до жизни охочая! Привыкла, чтоб со мною мужчины нянчились!

И, подхватив дочку, укатила во Владивосток, завербовалась там поварихой на траулер.

И пельмени стряпала не Раиса — квартирная хозяйка, и Петя не собирался одаривать ими Анисию Павловну, но когда оделся, чтобы сегодня навестить

ее, то отсыпал добрую половину, решив, и вполне справедливо, что с пустыми руками идти неудобно...

Петя знал, что врать нехорошо, и сейчас мучился, не понимая, справедливо поступил или, наоборот, архискверно, обманув тетю Анису. Считать себя трусом не мог, — вместе с Володией прыгнул в полымя, спасая детей, а если повезло — уцелел, то раскаиваться в этом не приходилось. Значит, это не трусость... А что ж такое? Та самая доброта, которая хуже воровства? Бесхарактерность?

Запутавшись в размышлениях, Петя с досадой махнул рукою и зашагал домой.

Время было позднее, но Анисия Павловна не нарушила ежевечернего ритуала: поставила чайник, разогрела картошку с мясом, поужинала, долго сидела на кухне, последние известия послушала по радио, книгу читала, дремала, и было ей не одиноко, как обычно в такие глухие вьюжные ночи, а легко на душе.

Вымыв посуду, она прошла в свою единственную комнату.

Там стояла деревянная двуспальная кровать, соседки уговаривали бросить клопидную рухлядь в старом доме, но Анисия Павловна не согласилась; из-за узких — стандартных — дверей кровать разобрали до дощечки и снова собрали, и только тогда она успокоилась, а на новоселье сказала гостям с упреком:

— И-их вы, чугунные лбы, я на этом ложе Володьку родила, в больницу опоздала, здесь и отпечатала первенца!..

На кровати лежали два матраца, две перины, перинка детская, Володькина, подушки высились башней: пониже широкие, большие, все чистого пуха, повыше средние, маленькие, а на самом верху — крохотная думка в розовой наволочке с домоткаными кружевами.

Спала же Анисия Павловна не на кровати — на узком диванчике, накрывалась и зимой и летом ватным одеялом: пар костей не ломит...

Укладываясь, Анисия Павловна думала, почему это у нее сейчас такое светлое настроение. Казалось

бы, не с чего: сыну, видите ли, писульку настрочить недосуг, заработался!.. Невестка, как она и ожидала, шахтерская подстилка, да еще и с приданым — с дочкой...

Думала-думала, так и уснула со счастливой улыбкой.

От кедровой шишки, лежавшей на тумбочке у изголовья, тянуло влажным снегом — робким предчувствием весны.

Григорий Петрович Савушкин расстроился, узнав, что очередной отпуск ему опять отложили, вероятно до февраля.

А он давно уже чувствовал глубокую усталость, утром не хотелось поднимать голову с подушки, не хотелось умываться, здороваться с женою, с детьми, идти на службу.

Самым любимым днем его теперь стала суббота,— уже в три часа можно повернуть ключ в замке письменного стола и уйти: никто из начальников не остановит, не позовет...

— А ты махани в командировку куда-нибудь подальше, скажем, в Гусятин,— выслушав его жалобу, посоветовал закадычный друг бухгалтер Костричкин.

— И что это мне даст? — не понял Григорий Петрович.

— Помилуй, на «Витязе» пять суток. Отоспишься, отлежишься, отдохнешь!

«А в самом деле, чего я здесь над сводками кисну?! Поеду!» — решил, повеселев, Савушкин.

Начальнику вовсе не хотелось отпускать исполнительного, аккуратного Григория Петровича, но и отказать тоже показалось неудобным: сам вызвался посетить осенью, когда вот-вот грянут затяжные дожди, глубинный район.

И уже через два дня Григорий Петрович ступил на борт «Витязя», который только в отчетах Леспромтреста именовался пароходом, а от насмешливых синегорцев получил презрительную кличку «ржавого корыта».

Это был тупорылый малосильный перестроенный буксир всего с шестью кактами, тесным салоном и овальной палубой, где вповалку размещались приезжавшие в Синегорск на базар и в больницу колхозники,

Леспромтрест гонял «Витязя» по каким-то своим, оперативным, что ли, надобностям, но в целях повышения рентабельности не брезговал и платными пассажирами.

Григорию Петровичу отвели узкую, как пенал, каютку, пахнувшую горячим металлом, смазочным маслом, внизу, под линолеумом, гудела, трещала, скрипела старенькая паровая машина, словно ворочался допотопный динозавр, приминающий боками перегородки.

Сняв ботинки, повесив пиджак на крючок, Савушкин вытянулся на койке, зажмурился и решил все путешествие не думать о служебных делах, о письме Знаменского райисполкома, на которое не удосужился ответить перед отъездом, о волновавшей его еще вчера склоке между Онищенко и Зайцевым — двумя заместителями одного и того же начальника, о зимнем пальто младшему сыну-восьмикласснику.

И Григория Петровича охватило блаженное непривычное чувство беспечности, праздности, расслабленности, ничегонеделанья; хотелось беспрерывно потягиваться, зевать во весь рот.

«Отрясаю прах со своих ног,— со злорадством подумал он по адресу начальников.— Разбирайтесь теперь сами и в сводках, и в докладных. Сам о себе не позаботишься, так никто не вспомнит!»

На палубе тяжело топали матросы, скрежетала цепь, гремели катящиеся бочонки, трижды проревел охрипшим басом гудок, зажурчала вода за бортом, и в занавешенное окно пахнуло прохладной сыростью.

Григорий Петрович проснулся поздно, в каюте было темно, под полом пытела машина, сотрясая весь корпус «Витязя». Пошарив рукою под подушкой, он нащупал папиросную коробку, закурил. За перегородкой в соседней каюте женский голос, полнозвучный, сильный, сказал: «Разумный образ жизни!» Григорию Петровичу не хотелось думать, что это значит, тем более что дальнейшие слова были заглушены жизнерадостным, полнокровным мужским смехом.

«Черт знает что такое, спать не дают», — поморщился Савушкин.

В дверь постучали:

— Гражданин, ужинать!

— Не вредно и поужинать, — согласился Григорий Петрович, вставая. — Сейчас!

Умывшись, он вышел на палубу. Стемнело. Пароход резво шел против течения; река здесь была узкая, изви-
листая, зачастую прибрежные ивы царапали ветками
борта «Витязя», орошая палубу сухими разноцветными
листьями, похожими на заграничные марки из рассы-
павшейся коллекции школьника. Вода была плотная,
густо-черная, и только там, где падали пароходные огни,
дрожала, переливалась, вскипала, словно растопленное
на сковородке золотисто-желтое масло.

На нижней палубе пассажиры уснули, свернувшись
среди тюков, лишь над бортом, как светлячок, висела
папироска какого-то неутомившегося курильщика.
Снизу, из машинного отделения, несло жаром.

В ярко освещенном салоне Григория Петровича
поджидали капитан, молодой совсем, но уже тучный,
и белолицая худенькая женщина; едва она заговорила,
Савушкин узнал в ней соседку. Фигура у нее была
изящная, и Григорий Петрович, полюбовавшись, поду-
мал, что в былые времена таких женщин называли
пикантными...

— Милости просим к нашему шалашу, — привстал
капитан. — Обезлюдел мой корабль, всего двое класс-
ных пассажиров.

— Зато тихо, — заметил Григорий Петрович, здоро-
ваясь.

— Чего-чего, а тишину гарантирую!

Через несколько минут Савушкин узнал, что бело-
лицая женщина — инженер лесной промышленности,
едет в верховья на ревизию какого-то леспромхоза;
звали ее Татьяной Павловной.

Зажав ярко накрашенными губами папироску, мор-
щась от виснувшего на влажных от краски ресницах
табачного дыма, Татьяна Павловна бесцеремонно раз-
глядывала Савушкина, а затем спросила:

— В командировку?

— Именно.

— И далеко?

— В Гусятин.

— Эк вас угораздило! — посочувствовала Татьяна
Павловна. — Распутица на носу.

— А вас, извините, как угораздило?

— С начальником поругалась.

— Ну и я тоже: начальники везде одинаковые,— чтобы хоть как-то ответить, лениво соврал Савушкин.

— Ах, Татьяна Павловна, Татьяна Павловна, к чему эти мрачные прогнозы! — с укоризной воскликнул капитан. — Как можно? Осенью у нас на реке тишина, воздух — нектар, пейзажи достойны кисти Левитана, ушницу наша Агафьюшка такую сварганит, что пальчики оближешь. Чего еще надо? Курорт, плавучий курорт!

— То-то вас и разнесло на плавучем курорте,— пошутила Татьяна Павловна.

— У меня характер благодушный,— объяснил капитан, показывая в откровенной улыбке плотные широкие зубы. — И жить умею: никому не завижусь, ни с кем не ссорюсь! — Когда он наклонял голову, то складка белозубого бесформенного подбородка переплескивалась через воротник темного кителя.

— Паинька мальчик, паинька. И водку не пьет! — нараспев протянула Татьяна Павловна.

— Напротив, водка расширяет сосуды. Вот мы сейчас и примемся за лечебные процедуры. Агафьюшка-а-а!

Появилась костлявая старуха, резко стучая тарелками, расставила посуду, принесла графин с настоящей на стручке красного перца водкой. Делала она все это молча, неохотно, рывком, поглядывая и на пассажиров и на капитана с явным отвращением.

— Однако наша хозяйка не из добрых,— сказал Григорий Петрович, едва старуха вышла.

— Совершенная язва! — пожаловался капитан. — Но стряпуха-а-а... Хоть в московский «Метрополь»! За это и держу, а то давным-давно списал бы с борта. У нас ведь штат небольшой: она и за повара, и за буфетчика, и за официантку. А впрочем, товарищи, чего мы время теряем? Под малосольные огурчики!.. Вот салатик из помидоров. Редька с постным маслом — обедение! Татьяна Павловна, прошу!

Григорий Петрович отведать водки и старательно занялся закусками, действительно необыкновенно вкусными. Он делал вид, что не замечает, как умильно

поглядывал на Татьяну Павловну капитан, как подвигал да подвигал к ней стул, пока не коснулся мясистой, как овечий курдюк, коленкой ее юбки.

А Татьяна Павловна не чинилась и позволила капитану немедленно же наполнить ее рюмку вторично. Губы у нее были уже не красные, а маслянистые. Она почти непрерывно курила, тыча окурки прямо в грязные тарелки, да еще успевала говорить, тоже непрерывно: рассказала, что детей у нее нету («А ну их, одна обуза!»), с мужем живет мирно («Мы понимаем друг друга!»), квартира две комнаты, в центре, все удобства, что в командировки ездить утомительно, а выгодно: в леспромхозах у кадровых рабочих крепкие хозяйства, задарма можно купить и сливочного масла, и ветчины, и белых грибов...

«Навострилась дамочка!» — поморщился Савушкин.

Принесли уху, нестерпимо горячую, обжигающую губы, такую густую, что ложка стояла в глубокой тарелке, пахнущую и лавровым листом, и дымком, и какими-то пряными травками.

«Наколдовала!» — с одобрением подумал об Агафьюшке Григорий Петрович.

Спустя полчаса, после очередной рюмки, сладко закружилась голова, и в груди потеплело, и захотелось всем улыбаться, и уже без осуждения он поглядывал на льнувших друг к другу Татьяну Павловну и капитана: мне-то, мол, что...

— Самое главное: разумный образ жизни, — разъясняла Татьяна Павловна капитану, и тот соглашался, поддакивал, вероятно не вдумываясь в смысл ее речей. — Эгоизм отвратителен, но лишь подчеркнуто грубый, надменный. Умеренный эгоизм и полезен и необходим. Мы слишком долго отдавали всё — все силы, всю энергию без остатка, без вознаграждения. Иного выхода не было, я не ропщу!.. Первые пятилетки, война, послевоенная разруха... Теперь уместно жить по-новому: получать хоть кое-что, беречь, хранить! Я ведь не барынька, всю жизнь работаю...

«Ну какая ты хорошая, — думал Григорий Петрович, то ли хмелея, то ли погружаясь в дремоту. — И капитан хороший. И пароход хороший...»

После ужина играли в «козла» на орехи: Григорий

Петрович и капитан продулись в пух и прах: Савушкин по рассеянности, капитан, пожалуй, с умыслом, зато Татьяна Павловна смеялась до упаду над промахами партнеров.

— А теперь танцевать,— захлопав ладошами, приказала Татьяна Павловна и начала отодвигать стулья к стене.

По холеному лицу капитана промелькнула тень досады: время позднее... Однако отступать не приходится!

Григорий Петрович вызвался вертеть ручку патефона и менять пластинки; и во хмелю он не забывал, что ему идет шестой десяток, что лицо его отечное, уныло-желтого цвета.

Через несколько минут Татьяна Павловна, разорвав кольцо рук капитана, рухнула на диван.

— Устала... Дайте папиросу!

Савушкин полез в карман, потряс в воздухе пустой коробкой «Казбека» и пошел в каюту. Мятая подушка и сбившееся комком одеяло вызвали нестерпимое желание завалиться спать, но он для чего-то пересилил себя, закурил и поплелся в салон.

Там уже не было ни капитана, ни инженера лесной промышленности. Агафьюшка, бормоча что-то под нос, убирала тарелки, вилки, рывком сорвала скатерку.

— Шел бы спать, чего уж,— посоветовала она, взглядевшись в потное бледное лицо Савушкина.

Цепляясь ногами за какие-то кули, наваленные в проходе, Григорий Петрович выбрался на палубу.

Буксир стоял у обрывистого берега, привязанный канатом к дереву; грустно посверкивал красный фонарик на мостике; за кормою с гнетущей монотонностью журчала струя, словно ей одной по штату полагалось тревожить ночную тишину.

— Послушайте, а чего мы стоим?— наткнувшись на стоявшего в дверях мужчину, вероятно вахтенного, осведомился Савушкин.

— Значит, так полагается. Не полагалось— не стояли бы,— буркнул тот.— Ночью вот коряга в колесо трахнет, все спицы посыпятся! Да мало ли что! Капитану— неудовольствие!

— Н-да, курорт, совсем курорт,— покрутил головою

Савушкин, не зная, радоваться ему или унывать от таких странных порядков: до Гусятина, как видно, и за неделю не добраться. — А как же расписание?

— Расписание, гражданин, в Синегорске осталось, в тресте! Теперича своеобычность пошла! — невозмутимо ответил вахтенный и, позевывая, отошел.

Весь следующий день Григорий Петрович скучал: оказалось, что он умел усидчиво работать и вовсе не умел отдыхать.

Спал он часов до одиннадцати, завтракал в полном одиночестве, и все кушанья — и салат и котлеты — отдавали ржавым металлическим привкусом, и это продолжалось до тех пор, пока Агафьюшка, сжалившись, не подсунула ему стакана с огуречным рассолом.

Старуха была еще мрачнее, чем накануне, брякала тарелками так, что ложки сыпались, бормотала о ком-то: «Совести нету!»

Огуречный, пахнувший чистым снежком напиток взбудрил Савушкина, и Григорий Петрович начал находить прелесть и в обжорстве и в безделии.

«Что ж, продрыхну недельку! — успокоился он. — Глядишь, нервы-то улягутся!»

В этот момент в салоне появились капитан и Татьяна Павловна, ленивые, помятые, словно из них, как из матрацев, только что выбивали пыль; друг на друга они не глядели.

— Как спалось? — официально-вежливым тоном спросил капитан.

— Благодарствуйте, лучше не надо. Спал-спал, а все спать хочется. От воздуха, что ли?

Татьяна Павловна подсела к столу, вытаскала из лежавшей между тарелками коробки папироску, повертела ее этак и так, смяла, но не закурила.

Савушкину очень хотелось предложить ей чудодейственного рассола, но природная деликатность помешала: воздержался.

Непрерывно позевывая, он вышел на палубу.

Река здесь была медлительна; зеленоватая с хлопьями пены вода струилась дремотно; низкие берега, облепленные желто-красной листвою, были до того однообразно красивы, что стоявшему у борта Григорию

Петровичу через минуту показалось, что пароход замер на месте, а справа и слева разворачивалась, бесконечная лента, сотканная из двух полос: полоска — золото, полоска — багрянец.

Капитан, неслышно ступая по палубе каучуковыми подошвами, подошел, предложил померяться силами хоть в шахматы, хоть в картишки.

Татьяна Павловна примостилась рядом, следила за игрою, была добра, мила, держалась с подчеркнутой чопорностью, и Григорий Петрович думал о ней все радушнее, все ласковее.

Выиграв две партии подряд, Савушкин окончательно развеселился, опять прошелся по палубе, покурил, потолковал с пассажирами, подремал в плетеном кресле.

Неприятно поразило в этот день Григория Петровича лишь одно: заглянув как-то в салон, он заметил, что Татьяна Павловна, капитан и Агафьюшка с таинственным видом совещались о чем-то; говорили они шепотом. Вынув из сумочки пачку денег, Татьяна Павловна передала ее старухе, а та, одобрительно кинув: «Не бойся, краля, все устроим!», спрятала деньги за пазухой изрядно засаленной кофты.

Савушкин деликатно кашлянул и вошел.

Тотчас старуха поплыла на кухню, а капитан приосанился и с хозяйской озабоченностью спросил:

— Скучаете?

Татьяна Павловна деловито красила помадой изящно очерченные губки.

— Мне-то что! А вот как вам не надоело — молодому! — все лето ползать взад-вперед по этой канаве?

— Ну, не скажите! — Капитан беззаботно рассмеялся. — Служба как служба! Хлопот мало...

— А денег много, — в тон ему, так же беззаботно подхватила Татьяна Павловна.

— Какие ж тут деньги? — не понял Савушкин. — Оклад-то, поди...

— За перевыполнение плана коммерческих перевозок, — объяснил капитан, вкладывая какой-то особый, недоступный пониманию Савушкина, смысл в слово «коммерческих». — Исключительно за перевыполнение!

— Разве что!

После обеда, такого плотного, что Григорию Петровичу пришлось некоторое время посидеть на стуле, распустив украдкой под пиджаком поясной ремень, он завалился спать.

Вечером сражались в «козла», в преферанс и рано разошлись по каютам, и, натягивая на ухо колючее одеяло, Григорий Петрович уже без раздражения прислушивался к смеху капитана за перегородкой, к то умоляющим, то грубым восклицаниям Татьяны Павловны.

«Зоология», — подумал он философски, свернулся калачиком и захрапел.

Утро начиналось парное, влажное, у окна, как бы зацепившись за кружево занавески, висел клочок тумана, потом и он развеялся, растаял от солнечного луча. След лодки бакенщика по ровной воде отливала расплавленным стеклом. В вышине неподвижно лежало снеговое облако.

Предчувствуя, что и этот день пройдет так же скучно и стремительно, как минувший, Григорий Петрович долго сидел на койке, разглядывая свои тощие ноги с взбухшими синими жилами, долго плескался под жестяным, вделанным в стенку рукомойником.

Зеленоватый полумрак каюты навевал спокойствие.

Он не ошибся: всё, всё было повторением вчерашнего — и обильный завтрак, рассчитанный скорее на верблюдов, имеющих два желудка, чем на нормальных людей, и злая Агафьюшка, и утомленные капитан и Татьяна Павловна.

Но часов в одиннадцать на палубе раздались громкие голоса, стук, шум, и через минуту в салон ввалился Матвеев, директор Вишерского совхоза, давнишний знакомый Григория Петровича.

Он был толст, но толщина Матвеева была не дряблой, не студенистой, как у капитана, а могучей, плотной, — попросту в нем чувствовался избыток плоти.

Отличительная особенность Матвеева состояла в том, что он всем людям — и начальникам и подчиненным — говорил в глаза то, что о них думал. Это производило впечатление едва ли не сказочное!.. Во всяком случае, характер Матвеева в Синегорске определяли так: либо «хулиган», либо «шизофреник».

Наткнувшись на Григория Петровича, Матвеев осклабился, раскрыл объятия и трижды поцеловал Савушкина в вялую, поддающуюся, как бумага, под нажимом толстых его губ щеку.

— Кого вижу! Мил-ай!.. Куда тебя черт несет? Иди телеграмму не мог прислать? Я бы за тобой газик выгнал! — Голос у него был надорванный, хриплый, но по-петушиному дерзкий. Не здороваясь ни с капитаном, ни с Татьяной Павловной, он сразу обратился к вошедшей с подносом Агафьюшке: — А-а-а, чертова переноска, тебя еще не посадили?

Руки старухи задрожали, и она проворно, чтобы не разбить посуду, ткнула поднос в ближайшее кресло.

— Первейшая спекулянтка! — наставив на нее, как пистолет, длинный указательный палец с зеленым ногтем, отрекомендовал Матвеев. — Ты думаешь, кто капитан «Витязя»? Этот? — Пистолет нацелился в грудь натянуто улыбнувшегося капитана. — Агафьюшка — капитан! Она всем верховодит. Закупают в верховьях картошку по пятерке мешок и транспортируют в Синегорск. Прибыль тысяча процентов! А капитан — для приличия, как борода у швейцара в интуристовской гостинице! Матросы в доле! — выпалил Матвеев и принужден был после этого долго отдуваться, закрыв щеки платком.

— Будет тебе болтать, старый сплетник! — наконец-то собравшись с силами, плаксиво заныла старуха. — При посторонних.. Мало ли что подумают! Жрать хочешь? Так и скажи. Уху мигом сварю. Помидоры есть.

— Иван Савельевич всегда переходит на личности, — колко заметил капитан.

— Молчи! — властно оборвал его Матвеев. — Хиздрики!

Татьяна Павловна, почувствовав, что ей пора вмешаться в разговор, томно улыбнулась, сложив ярко-пламенные губки бантиком.

— Давайте познакомимся! Мы эти дни так мирно и славно проводили время. Подружились! К чему такие эксцессы? Я обожаю тишину.

Матвеев спохватился, мотнул коротко стриженной головой, что означало учтивый поклон, и предложил:

— А в самом деле, пообедаем. Эй, старая хрычовка, неси скатерть-самобранку!

Решив, что гроза миновала, Агафьюшка с ног сбилась, стараясь угодить крикуну, но Матвеев не унимался и в течение обеда дразнил ее, уверяя, что на Колыме климат отличный и что в тундре в случае голодовки можно питаться ягелем — оленьим мхом, который по калорийности превосходит тресковую печень.

Втиснувшись после обеда вслед за Григорием Петровичем в узенькую его каютку, Матвеев строго спросил:

— А ты зачем здесь? Тоже спекуляцией занялся?

— Ну, что ты чепуху городишь! Еду в Гусятин, в командировку, решил отдохнуть, отоспаться на пароходе.

Услышав это, Матвеев откинулся, и на лице его изобразилось крайнее удивление.

— Ты — отдохнуть? Отлежаться? Да совесть-то у тебя осталась? Везде лен теребят, а он «отоспаться»! Здесь же от скуки сопьешься!

— Ну, питок-то я слабый, — смущенно пошутил Савушкин.

— Не сопьешься, так поглупеешь! Чего вы тут делаете? Спите да жрете да о ценах на картошку толкуете! И эта... какая-то вертится! Не на нее ли глаза палишь?

— Интеллигентная женщина! — из упрямства возразил Григорий Петрович.

— Врешь, врешь, обыкновенная бесхвостая обезьяна! У нас в совхозе любая девка — венец мироздания по сравнению с этой фифой! Ты бы Машу Валуйкину посмотрел, доярку... Богиня! — И Матвеев поцеловал свои сложенные щепотью пальцы. — Рост, фигура, цвет лица. А умна, умна!.. Профессор Петряков — знаешь, из Костромы? — две недели на ферме торчал: и подойники нюхал, и кормовую свеклу на зуб пробовал, так ничего не понял, плюнул и отбыл восвояси. Научного метода, видишь, нету. Монографию не о чем писать!

— А в чем же дело? — заинтересовался Григорий Петрович.

— В любви, в любви-и-и к делу! — воскликнул с увлечением Матвеев. — Есть, братец, люди, которые

любят работать, для которых труд — наслаждение! Об этом, конечно, монографию не напишешь, вполне понимаю профессора и выражаю ему сожаление!.. Да поедem ко мне,—обратился он к Савушкину умоляющим тоном,—я тебе стандартные свинарники покажу, шесть свинарников за лето отгрозал.

— Не видал я свинарников,—огрызнулся Григорий Петрович, чувствуя зависть к умевшему так заразительно вкусно жить Матвееву.

— А вообще ты что видел? — Матвеев тоже начал сердиться.— Закопался, как крот, в сводки и циркуляры! Я ж не о свинарниках, о себестоимости центнера мяса говорю.

Григорий Петрович перед отъездом сочинил пухлую докладную как раз о себестоимости, и слова Матвеева нагнали на него хандру, как воспоминание о зубной боли, которая прошла, но, по предупреждению врача, может повториться в любое время.

— Отстань, видишь, спать хочу.

— Врешь, куда в тебя полезет, ты уже опух, глядеть противно, боров, настоящий боров!

— А ты не смотри.

— Сейчас у Вороньего мыса бакенщик Захар нас в лодку возьмет, у него и переночуем, а поутру грянем в колхоз «Путь Октября»! — продолжал тормозить его Матвеев.

Наконец Григорий Петрович, сообразив, что уже не отвязаться, чертыхнулся и принялся пхать в портфель, заменявший в командировках чемоданчик, полотенце, грязные носки и жестяную коробочку с зубным порошком.

— Вот и молодец, молодец, я всегда относился к тебе с благорасположением,—обрадовался Матвеев.— Выделял тебя из ваших канцеляристов, верил, что совесть есть! — Высунувшись в окошко, едва не выломав плечом раму, он гаркнул неизвестно кому: — Эй, спекулянты! Придержите у Вороньего мыса, вылезает!

Как ни старался Григорий Петрович, а у него был изрядно смущенный вид, когда он, расплатившись с Агафьюшкой по какому-то фантастическому прейс-

куранту, зажав под мышкой портфель, прощался с капитаном и Татьяной Павловной.

Капитан молча поклонился, а Татьяна Павловна неожиданно обиделась:

— Не ожидала!.. Надеюсь, встретимся в Синегорске.

— Как же, надейся! — прошептал за спиной Григория Петровича Матвеев.

Зато Агафьюшка просияла, собрав морщинки веером вокруг отвислого рта и по-молодому зорких глаз, предложила посулочку собрать к ужину: огурчиков там, хмельного...

— Обойдемся! — заверил ее Матвеев и, выразив надежду скоро повстречаться с нею на очной ставке у следователя, вышел.

Стоя у трапа и поминутно дергая за рукав Григория Петровича, он шипел:

— Старая образина! На кого глаза пялил! Скажу жене, так она последние волосья тебе выдерет!

Очутившись в пляшущей на мелкой волне увертливой лодке, Саушкин принял оскорбленный вид, словно был уверен, что челнок вот-вот опрокинется, и заранее возлагал ответственность на Матвеева.

А тот, ловко орудуя кормовым веслом, уже не обращал на Григория Петровича внимания и, давясь от смеха, рассказывал Захару о драке на свадьбе какого-то Евстигнея.

Захар греб, равномерно раскачиваясь, опуская и выдергивая весла без всплеска, левой ноги у него не было, упирался он в перекладину деревяшкой. Небрежно, неряшливо подстриженная борода Захара вилась медными кольчиками, не прикрывая глубокого рваного шрама — следа вражеского осколка.

Историю свадебной драки, похоже, он знал до Матвеева, а может, и сам принимал в ней участие, но из уважения непрерывно оборачивался и хмыкал: «Да иди ты!»

«Витязь», одышно пыхтя, с усилием протолкнулся, словно пробка из бутылки, из узкой клокочущей стремнины и скрылся за поворотом, несколько раз качнув лодку набрежавшими волнами.

На реке стало еще тише, но эта тишина, светлая, как родниковая вода, была наполнена, как чаша родни-

ка пляшущими песчинками, задумчивым бормотанием пестро раскрашенной листвы осин и лип, шорохом падавших, наклонно плывущих по ветру сухих, прокаленных первыми заморозками листьев.

Плотная стена осин распахнулась, как театральный занавес, открыв путь в узкую бухточку, поросшую на мелководье камышом и осокой.

Песок зашуршал под днищем, Матвеев первым выскочил и, крикнув, подтолкнул лодку, но все-таки, вылезая, Григорий Петрович зачерпнул воды ботинком и еще сильнее огорчился.

«Человек я тихий, методический,— размышлял он, идя вслед за Матвеевым и Захаром по узкой тропинке и отводя рукою лезущие в глаза ветки.— На старости лет можно бы и обойтись без приключений. Нашел чем удивить — стандартными свинарниками!»

Из кустарника выкатилась взъерошенная собачонка, твякнула, обнюхала край плаща Григория Петровича и засемила рядом с хозяином, как бы приклеившись носом к его увязавшей в песке деревяшке.

Войдя в душную, пахнущую овчиной избенку Захара, Савушкин присел в сторонке на лавку: ему было и досадно и стыдно. Досадно потому, что Григорию Петровичу ой-ой как не хотелось признаваться, что все задуманное отдохновение на пароходе было чистой чепухой, а стыдно оттого, что он не мог не испытать брезгливости, вспоминая и хлебосольную Агафьюшку, и раздобrevшего на легких харчах капитана, и циничную Татьяну Павловну.

А Матвеев тем временем распоряжался:

— Водки!

— Отыщем.

— Яишенку!

— Мигомоментально! — молодежато отрапортовал Захар и, гремя деревяшкой, захопотал у печки, развел костер из лучинок на шестке, заурчала, вскипая пузырями и чавкая, сковородка.

— Садись ближе, чего окрылся? — обратился Матвеев к пасмурному Григорию Петровичу. — Не бойся — не укушу! Признаться, в лодке так и подмывало утопить тебя — бюрократишку... Помиловал! Святю место пусто не бывает: посадят вместо тебя другого. Ты ду-

маешь, я забыл, как ты, чинодрал, манежил меня с фондами на цемент? По гроб не прощу! — выпятил он мясистые губы.

— Да ну, чего там, нашел что вспоминать, — кисло улынулся Григорий Петрович, подсаживаясь к столу. — Без фондов не обойдешься, припрятанного цемента тебе, выжиге, еще на шесть свинарников хватит!

— Не угадал, на восемь! — захохотал Матвеев, трясая тугим животом край стола.

Ложки были облупившиеся, вилки — однозубые, ячница отдавала не только салом, но и дегтем, — хозяйство у Захара было бобыльское.

Отколупывая ложкой спекшиеся белки, похожие на выпуклые глаза исполинской рыбы, откусывая сразу пол-ломтя, Матвеев громко говорил, как бы опьяняясь собственным красноречием:

— Вообразим, что ваше управление закрыли! Прощу прощения у ответственного работника за такую наивную фантазию... И все-таки вообразим! Что изменится? Ровным счетом ничего-ничегошеньки! Только Облфинотдел осчастливится, что в казне денег прибавилось. И никто не заметит, что высокопоставленный деятель Савушкин выпал из номенклатуры. А представь, что меня сняли с поста директора. Ого! Да ваше управление разнесут, все завопят: отдайте нам Матвеева!

«Да, его любят, — внутренне согласился Григорий Петрович. — А это ли не высшее счастье: на склоне лет знать, что тебя любят!»

И все же из чистейшего упрямства заметил:

— Без фондов, брат, нельзя, нельзя...

— Сам понимаю, что нельзя, да ты послушай: решил я в совхозе построить собственный мясокомбинат и, понимаешь, у госбанка вырвал кредит, в Москве, понимаешь, договорился насчет холодильника, бац! — ваше управление запретило...

Через полчаса, наслушавшись всласть Матвеева, который уже до министра добрался, Григорий Петрович вышел на крыльцо.

Было темно, невидимые капли начавшегося дождя шевелили листву, стучали в крышу. Хлопала полуотворенная дверь чердака. Лес закипал глухим протяж-

ным гулом, предвещавшим затяжную непогоду. Прислоненные к крыльцу обитые жестью весла неясно светлели, как крылья селезня.

Григорию Петровичу доставляла ноющее наслаждение мысль, что завтра он потащится на телеге с Матвеевым по лесной дороге, вымокнет, простудится, ляжет, и вся поездка в Гусятин, представлявшаяся ранее так радужно, обернется тяжелой долгой болезнью.

В открытую дверь было слышно, как неумевший молчать Матвеев учил Захара бить щук острой.

Но уже минуту спустя Савушкин переборол себя, заставил забыть, что ему пятьдесят четыре и что доктор неустанно напоминал о режиме, режиме и еще раз режиме.

Он знал, что завтра, очутившись в привычной обстановке совхоза, начнет и восхищаться стандартными свинарниками, и раздражаться проклятиями при виде не порядков, и орать в телефонную трубку, требуя незамедлительной отгрузки бульдозера, и сгорать от стыда, наткнувшись на собственное же предписание Матвееву сделать то, что директор совхоза сделать не мог, и слезливо упрашивать бухгалтера Костричкина во имя тридцатилетней дружбы «спустить» деньги на пиломатериалы.

Григорий Петрович усмехнулся радостно и тревожно: он был опять самим собою.

— Нет, нет,— твердо сказал он,— пусть будет так, как шло всю жизнь! Пусть уж тугой судорогой лопнет сердце, лучше уж в разгар какого-то спора на инфаркт наскочить, но только жить со страстью, с вдохновеньем, с жадным интересом ко всему сущему! Жить!.. Жить, а не прозябать!



а окраине Синегорска есть Тихая улица. Она не велика — всего три одноэтажных дома стоят вдоль заросшей лопухами канавы. Правее тянутся приземистые старинные, сложенные из красного кирпича, торговые склады; раньше это были склады купца Хлынова, а теперь Облпотребсоюза.

За складами лежит пустырь с коническими грудками шлака и мусора; в лунные ночи можно увидеть, как тощие, взъерошенные крысы собираются сюда вылизывать консервные банки, а где живут крысы днем — неизвестно.

Между булыжной мостовой и железнодорожной насыпью простирается болотистый лужок, ядовито-зеленый весной и коричнево-грязный в остальные времена года.

Живут на Тихой улице семьи Батуриных, Живцовых и Тиуновых.

Семен Георгиевич Батурин, бывший ответственный деятель Облсельхозуправления, работает теперь на периферии директором Островишенского совхоза. Семья у него маленькая: супруга Мария Тихоновна, стареющая красавица, и дочь Ксения, ученица девятого класса.

Соседа его, Владимира Яковлевича Живцова, тоже прошлой весной перебросили в деревню: назначили директором опытной сельскохозяйственной станции. Живцовы бездетны. Агния Сергеевна Живцова, как и Мария Тихоновна с Ксенией, осталась в городе, она преподаватель музыкального училища.

Хозяин крайнего домика, Иван Савельевич Тиунов, никуда уезжать не собирается: он токарь. Тиунов давно уже, как он говорит, вышел «на полный государственный пенсion», но работу не бросает — преподает в ремесленном...

Иван Савельевич вдов, с ним проживает незамужняя, средних лет дочь Виола, Виолетта Ивановна. Целый день она сидит у окна и жует, и, вероятно, жует что-то необыкновенно вкусное, потому что на ее белом лице блуждает счастливая улыбка.

Дочерью Иван Тиунов недоволен и выражается о ней кратко, но определенно:

— Млекопитающееея!..

При разговоре с соседями Виола старается как можно громче смеяться.

Каждый год Тиунов отводит ее за руку, как перво-классницу в школу, в центр города и определяет на службу в какое-либо учреждение. Через две недели Виола увольняется по собственному желанию и опять сидит у окна.

Все дома здесь некрашенные, потемневшие от дождей и дорожной пыли и производят скучное впечатление. Но ощущение скуки возникает в случайном прохожем, вероятно, не только из-за внешнего вида домов, а потому, что на Тихой улице нет детей: даже летом в садиках, около щеголевато нарядных цветочных клумб, не слышится ни шаловливого визга, ни неудержимо залихватого смеха...

Всю неделю на улице тихо, лишь у торговых складов гудят грузовики да каждые пятнадцать минут по насыпи проносятся товарные и пассажирские поезда, но этот отдаленный аккомпанемент придает тишине, как в оркестре солирующей скрипке, особую щемящую певучесть.

В субботу рано утром на улицу в клубах пыли врываються один за другим два газика. Из фанерных кабинок, похожих на киоски для продажи мороженого, вылезают Живцов и Батурин. Они отряхиваются, отфыркиваются, говорят шоферам: «Значит, до понедельника, Миша» или: «Как всегда, в понедельник, Петя» — и, гремя брезентовыми, словно тоже из фанеры сколоченными, плащами, всходят на крыльцо своих домиков.

Виола в этот момент жует еще быстрее, чем обычно, но Живцов и Батурин не обращают на нее внимания.

После завтрака Семен Георгиевич и Живцов отправляются в баню, — в домах есть ванны, но они любят

феранс; партнершей приглашали Марию Тихоновну, а Живцова если и приходила, то сидела в стороне и вышивала «болгарским крестом» какой уж год одну и ту же скатерть, насмешливо прислушиваясь к возгласам: «Без трех», «Опять один марьяж».

А на рассвете в понедельник зычно горланили гудки газиков на улице, Батурин и Живцов, мрачные, невыспавшиеся, натягивали плащи, вбивали ноги в сапоги-«грязедавы» («У нас асфальта ведь нету»), целовали домочадцев и уносились на всю неделю.

Как-то в мае Мария Тихоновна поднялась в мезонин, где жила Ксения. На столике, среди беспорядочно разбросанных учебников, рядом с букетиком подснежников, опущенным в граненый стакан, лежала раскрытая тетрадка.

Нагнувшись, прищулив близорукие глаза, Мария Тихоновна прочитала:

«...Хочу уехать за пределы Синегорской области, как-то: Москва, Ленинград, Владивосток, Чукотка. Уехать, жить в уединении, много испытать. Научиться ездить на автомобиле, на мотоцикле. Быть хорошей спортсменкой. Бороться с несправедливостью, не избегать страданий. За оскорбление мстить...

Хочу гордиться отцом».

У Марии Тихоновны появилось именно то чувство, какое она уже однажды испытала, впервые увидев море. Вот училась, ходила на службу, а моря-то в жизни и не было... Вышла замуж, перестала ходить на службу, родилась Ксения, а моря не было... Переезжали из города в город, у мужа были в тридцать седьмом году неприятности, а море...

Опустившись в кресло, она машинально взглянула на фотографию трехлетней Ксении в бронзовой рамке: пухлая, курносая девочка с огромным белым бантом на затылке была необычайно добродушна и мила.

«Да, тогда было лучше всего», — бессильно подумала Мария Тихоновна.

Теперь курносость у Ксении каким-то чудом исчезла, а лоб сформировался прекрасно: большой, очень выпуклый, чистый. Да и вообще грех жаловаться —

дочь послушна, учится отлично, но все чаще и чаще в глазенках Ксении что-то на миг сверкает, словно отблеск молнии в ночном окне.

Мария Тихоновна так глубоко задумалась, что не услышала, как в комнату вбежала запыхавшись Ксения.

Переведя взгляд с раскрытой тетрадки на расстроенную мать, она вспыхнула:

— Вот что! Читаешь дневник? Очень красиво!..

— А ты не расшвыривай, если нельзя читать! — только и смогла ответить Мария Тихоновна.

— Я предполагала, что живу с порядочными людьми.

— Ксения, что ты говоришь! — воскликнула мать.

Схватив тетрадку, Ксения разорвала ее пополам, потом еще пополам, губы ее тряслись; она терзала бумагу, и матери показалось, что сейчас, сию минуту, дочь расплчется и бросится в ее объятия, как всегда бывало в детстве.

Однако Ксения не зарыдала, а, держа на вытянутых ладонях обрывки, твердым шагом направилась к дверям, сбегала вниз — звякнула цепочка, загудела вода в трубе...

— Знаешь, мама, многое мне не нравится, — вернувшись, сказала Ксения. — Не говорю о чтении дневника, надеюсь, ты сама не станешь отрицать, что это непристойно...

— Ксения, Ксения! — беспомощно прошептала Мария Тихоновна, то протягивая к ней, то опуская руки.

— А вообще что у нас делается? Читала, надеюсь, газету?

— Зачем мне ее читать? — не поняла Мария Тихоновна.

— Поинтересуйся.

И Ксения вынула из кармашка школьного передника аккуратно сложенный номер «Синегорского рабочего».

В фельетоне под названием «Кочевники» хлестко высмеивались те переброшенные в деревню люди, которые, приняв там ответственные посты, «кочуют» между городскими квартирами и служебными кабинетами на периферии. С ужасом Мария Тихоновна уви-

дела фамилии мужа, Живцова и еще кое-кого из знакомых.

— Что ж теперь будет? — Мария Тихоновна растерялась.

— Вот именно: что теперь будет?.. А разве вам не ясно было, что только так все и кончится? Кого ты сторожишь в городе? Меня? Гм!.. — воинственно произнесла Ксения, упрямо выпятив нижнюю, очень румяную губу.

— В совхозе нет средней школы, — напомнила заботливым тоном мать.

— Значит, я останусь в Синегорске.

— Одна?

— Одна.

— Ты не понимаешь, что говоришь! — вскочив, Мария Тихоновна опрокинула локтем стакан с подснежниками. Извилистая струйка потекла по столу, мать и дочь не заметили этого. — Ксения, ты ребенок...

— Гм!.. — послышалось в ответ.

— Как ты смеешь судить отца, меня, наконец? Ведь мы всю жизнь бродяжим, пойми! Когда тебе девять месяцев было, отца назначили в Кривоколенск, в Сибирь. Зимой я ехала с тобою четыреста километров в кабине грузовика. Закутала в тулуп, прижала к груди... А в кузове бочки с горючим гремят! Потом Урал — Нижняя Тура, Карабаш! Заволжье! Арзамас!

Дочь, заложив руки за спину, слушала ее, не шелохнувшись.

— Бугуруслан! — с искаженным лицом выкрикивала, подступая к ней, Мария Тихоновна. — Твой отец — ответственный работник! Не безответственный, а ответственный! Мне надоели чужие матрацы, чужие хозяйские стулья, чужие занавески. Я устала... И пойми — мы стареем. И отец и я. Да, кочевники... Это не смешно, а, если хочешь, трагично! Ты не можешь это вообразить, но пойми. Сибирь, четыреста километров...

— Какая ты счастливая, мама! — вырвалось у Ксении.

За окном горласто запел автомобильный гудок.

Отодвинув занавеску, Ксения удивленно сказала:

— Отец... Разве суббота?

— Пятница.

— Значит, о фельетоне узнал. Я встречаю.

Тем временем струйка воды на столе, медленно огибая книги, добралась до края и вытянулась шуршащей ниткой стекляруса к полу.

Обернувшись на ее журчание, Мария Тихоновна ахнула: «Тряпку». Хлопотня отвлекла ее от раздумий, И Семена Георгиевича она встретила, правда, не на крыльце, как обычно, а в прихожей, уже со спокойными, хотя и побагровевшими глазами.

— Что с тобою? — встревожился Батурин.

— Примус! — И она помогла мужу стянуть громахающий плащ.

Сквозь пыль, сквозь появившуюся за неделю сева усталость на его морщинистом лице Мария Тихоновна впервые с раздражением подметила в муже назойливую суетливость: то он приподнимался на цыпочки, жалуюсь, что опять не хватило подшипников, то, потирая отвислые щеки, горевал, что Васенька из какого-то «снаба» отбыл в отпуск, а значит, с шифером дело не сладится...

— Хотел бы я знать, как в подобной ситуации не станешь кочевником? — воскликнул дрожащим голосом Семен Георгиевич, с трудом вылезая из огромных «грязедавов».

— Да успокойся. Мало, что ли, тебя критиковали!

— Ну, милая, так... так! — Он не договорил, замотал головою и поплелся в столовую.

Тотчас Семен Георгиевич вернулся, держа в руках шлепанцы, и с яростью добавил:

— Были, конечно, и резкие выступления в порядке критики и самокритики, но ведь здесь нет и тени уважения! А? Ты заметила?

— Заметила, заметила... Да успокойся ты!

Батурин отказался от завтрака, не пошел в баню, а с привычным кряхтением повалился на кушетку и протянул руку к телефонной трубке.

В течение получаса он неизменно натыкался на вежливые, но непреклонные отказы. А кто-то из бывлых друзей с ехидцей осведомился:

— Ты откуда говоришь? Из квартиры? Что, на парете решил кукурузу сеять?

— Да, на паркете! — возмущившись, гаркнул Семен Георгиевич. — И квадраты не надо делать — столяры позаботились!

Повесив трубку, он спустил ноги в клетчатых носках с кушетки и внезапно увидел Ксению. Дочь в коричневом платье, в белом переднике стояла перед ним с тем смиренно-почтительным видом, какой возникает у шаловливых школьниц при внезапном появлении директора.

— Уходишь, что ли?

— Папа, — негромко спросила Ксения, и страдальческая складочка прорезалась на ее переносице, — ты хорошо, честно поступаешь, когда вот так... по телефону?

— Пожалуйста, не путайся в чужие дела! — тяжело задышав, попросил ее ровным голосом Семен Георгиевич. — Занимайся своими Каролингами и Меровингами...

— Да я ими уже перестала заниматься. Это плюсквамперфектум — давно прошедшее! — разочарованно повела плечом Ксения и ушла.

Семен Георгиевич поддернул пижамные штаны и засеменил на кухню. Увидев разгоряченную жаром плиты жену, втянув ноздрями наваристый запах борща, он на мгновение поверил, что ничего в жизни не изменилось. Но это чувство сразу и улетучилось.

— Слушай, она... она презирает меня! — запинаясь, сказал он.

— Переходный возраст, — успокоила его, как смогла, Мария Тихоновна.

— Кой черт переходный возраст! — рассвирепел Семен Георгиевич. — Отца-то надо бы всегда уважать... Чего она себе вообразила?

— Она говорит, что я должна уехать в совхоз. Наверно, конечно.

— Позволь, у нас же пока семилетка! — по привычке Семен Георгиевич слово «я» в устах жены понимал так: «Я и Ксения».

— Она решила остаться в Синегорске.

— Одна?

— Как будто одна.

— Что делается на свете! — с неподдельным изумлением сказал отец, ногой придвинул к себе табуретку,

хотел было сесть, но выглянул в коридор и позвал: — Ксения! Ксения-а-а!

Из путаных, сбивчивых объяснений дочери, перемежаемых сухим всхлипыванием, он узнал, что в школьные девочки все утро издевались и над Семеном Георгиевичем и над Ксенией, и что вот Гулевские еще зимою переехали в Зеленый Дол, а Муся снимает угол у доктора Маркузе, и что Ксения не желает, чтобы ради нее мама оставалась в городе.

— Девчонка! — завопил Семен Георгиевич, тряся щеками.

— Если шестнадцатилетним выдают паспорта, то, значит, мы способны к самостоятельной жизни, — резонно возразила Ксения. — А мне через четыре месяца семнадцать.

— И все равно девчонка, — упрямился отец, потирая выпуклые, круглые, как мячики, коленки.

— А тем более, что через год я уеду в Москву!

— Никуда не уедешь! — отрывисто заявил Семен Георгиевич.

— Уеду, уеду, уеду! И в ваш машиностроительный не пойду, а обязательно стану врачом. Значит, поеду в Москву или Горький!

— Ну, мы это еще посмотрим, — в полнейшей растерянности сказал отец. — А почему Агния Сергеевна не едет в деревню? — внезапно оживился он.

— Откуда я знаю! Это ее дело, а не мое.

Раздался звонок в прихожей.

— Живцов. Давайте обедать, — вздохнула Мария Тихоновна.

— Обедать так обедать, — безрадостно согласился отец.

В воскресенье днем Ксения и Агния Сергеевна возвращались с симфонического концерта учеников музыкальной школы.

Волнение, вызванное музыкой в человеческой душе, схоже с послегрозовым успокоением природы: вот все, омытое и освеженное, притихло, но вдруг пронесся запоздалый вихрь, и тревожно зашумели, всего на миг, шатры берез, и опять тишина.

Взволнованность Ксении и Агнии Сергеевны выражалась в том, что они разговаривали как будто о пустяках, и часто умолкали, и молчали долго, сосредоточенно рассматривая трещины в асфальте тротуара.

Переулок круто взбирался на косогор. Разросшиеся в палисадниках тополя и рябины почти скрывали одноэтажные домики, и лишь красные и зеленые крыши живописными выпуклыми мазками украшали эту захолустную окраину Синегорска. Словно крохотные комочки облаков, в небе скользили, падали, взмывали ввысь белокрылые голуби; иногда они, со свистом рассекая воздух, опускались и стайками струились по тротуару, по мостовой. Пронзительно заскрипело колесо колодца, тяжело выплеснулась вода из бадейки, влажный девичий голос произнес за забором: «Да я только свои одеважки простирну!»

Агния Сергеевна была худая, высокая, с вечно прищуренными глазами, двигалась она неспешно, в гостях церемонилась и поджимала губы, но когда она садилась к роялю и начинала играть, то лицо ее становилось задумчиво-красивым, и Ксения понимала, почему стремительный, словно весь на пружинах, Живцов полюбил увядающую, старше его годами женщину и пять лет назад неожиданно для знакомых и, пожалуй, для самого себя женился на ней.

— Вы обратили внимание на Славика — он сегодня солировал! У мальчика определенный талант. И поразительная для его возраста усидчивость, так и прилипает к роялю! — рассказывала Агния Сергеевна. Говорила она монотонно, как бы нехотя, и на случайных собеседников манера ее речи, вероятно, действовала неприятно, но Ксения привыкла к ней. — Я возлагаю на него огромные надежды.

«...Твой голос для меня...» Ксению всю дорогу неотступно преследовали эти слова; их только что пропел в концерте, почти прошептал, почти выдохнул Симбирцев, сутулый, некрасивый юноша и, вероятно почувствовав, как это хорошо у него получилось, с трогательной застенчивостью улыбнулся.

Вася Симбирцев работал чертежником на «Октябре», про него рассказывали в городе, что вечерами он занимается пением в музыкальной школе да играет дома

в «подкидные дураки» со старушкой матерью, а больше якобы ничем не интересуется. «Антиобщественная личность» — так оценил его однажды старик Тиунов.

Подумав, Ксения простила Симбирцеву то, над чем еще вчера, до концерта, сама же смеялась с подругами. — Не привыкайте вы, молодые, к легким решениям сложных вопросов, — вдруг без всякой связи с предыдущим сказала Агния Сергеевна.

— А разве?.. — Ксения покраснела: «Отец, что ли, нажаловался?»

— И ты упрощаешь, да... непростительно вульгазируешь, и ты слишком прямолинейна. Да... Жизнь потому и называется жизнью, что она сложна. Бетховен сказал...

Ксения не слышала, что сказал Бетховен. «Твой голос для меня...» А о чем разговаривают Агния Сергеевна и Живцов, оставаясь наедине? Вероятно, она многому его научила, иногда одним замечанием, одним взглядом. Помолчали.

— Больше всего я ненавижу, когда они за преферанс садятся! — с неожиданно вырвавшимся презрением сказала Ксения. — С таким бы азартом работали.

— Что ж тут такого? — примирительно усмехнулась Агния Сергеевна. — Солдаты на походе ведь не бегут, а медленно шагают. И через каждые пять километров привал. А за сутки-то вышагивают полсотни верст... Да еще два пуда амуниции на себе несут! Лучше отдыхать за преферансом, чем водку глушить.

— Они и про водку не забывают, — сдвигая брови, сказала Ксения.

У торговых складов к ним присоединился Тиунов. Он тоже возвращался домой: по воскресеньям Иван Савельевич неизменно посещал кладбище — «с покойницей помолчать»... Приподняв матерчатый картуз, Тиунов поприветствовал Агнию Сергеевну и Ксению и молча пошел рядом, крепко стуча тростью, словно сомневаясь в прочности тротуара.

— Ну, как в ремесленном, Иван Савельевич? — равнодушно спросила поглощенная своими мыслями Живцова.

— Обучаем! — проворчал Тиунов. — Обучаем разумно и планоно, а воспитываем и неразумно и беспланово... Посудите — сейчас на кладбище мои же ремесленники гоняют футбол среди могил! — возмутился старик, нахохлив седые усы. — Как это назвать? Мерзость, гадость! Тьфу!

Агния Сергеевна отнеслась к его словам совсем не так, как ждала Ксения.

— Несчастные мальчишки! В огромном промышленном городе нет детских стадионов!

Они остановились у домика Тиуновых.

Из-за кружевной занавески выглянула счастливая Виола и улыбнулась им жующим ртом.

— Жаль, что у нас не существует принудительного труда! — вдруг с беспощадной суровостью сказал старик.

— Господи, да что это вам взбрело в голову? — удивилась Агния Сергеевна.

Вместо ответа Иван Савельевич выразительно показал на Виолу и, снова приподняв картуз, толкнул ногою взвизгнувшую калитку.

— Ну вот и дома. Фу, задохнулась на этом косогоре... Я вечером зайду, — мягко сказала Живцова и слегка коснулась плеча угрюмой девушки: — Не волнуйся. Эти фельетоны к лучшему, да, к лучшему. И моему Владимиру Яковлевичу наказание заслуженное. Не раз гнала в деревню, объясняла: «Мы немолоды, детей нет и не будет, у каждого свой путь в жизни, своя профессия...» Эх, Ксения, Ксения! Есть и хорошие семьи, где муж всегда в отлучке: то командировки, то еще что-нибудь. И есть скверные, где муж с жены глаз не спускает.

Ксения не поняла, да и не могла в свои шестнадцать лет понять Агнию Сергеевну.

«...Твой голос для меня и ласковый и томный...»

Появление Агнии Сергеевны у Батуриных вечером не вызвало на этот раз приветственных восклицаний. Семен Георгиевич не суетился, придвигая мягкое кресло, не приговаривал:

— Садитесь, кума, вы у нас всегда желанный гость! Давно уже повелось, что Агния Сергеевна и Батурин

шутливо величали друг друга «кумом» и «кумою», хотя причин для этого никаких не было.

— Тебя к телефону, Володечка. Да, кажется, из деревни,— сказала Агния Сергеевна.

Когда Живцов торопливо ушел, Агния Сергеевна положила локти на разбросанные по столу карты и вопросительно взглянула на потупившегося Батурина.

— Плохо дело, кума,— крикнул Семен Георгиевич.— Никогда не ожидал, что такое случится. Ей-богу, работой я доволен, не жалею! Ну, трудно, тяжело после канцелярии-то, а — привыкну! Вот дочь, дочь...

— Дочь у вас хорошая, позавидовать только! — и на лице Агнии Сергеевны появилось надменное выражение, противоречащее ее же словам.— Чего, кум, скрывать, наша жизнь вам известна — соседи... У нас брак спокойный.— Подумав, она отчетливо добавила: — А спокойный оттого, что бездетный. Вам по первому-то взгляду хуже, а вдуматься — так лучше. Ну, пусть эту зиму Ксения у меня живет.

Семен Георгиевич просиял, но тотчас же принял строгий вид. Он и обрадовался и испугался. Перепугался он потому, что после такого предложения Агнии Сергеевны волей-неволей надо перебираться с женой насовсем в совхоз, никаких оправданий не осталось. А дом? Что ж, дом придется вернуть горсовету. Ванну-то на свои деньги оборудовал, не на горсоветовские... А обрадовался он оттого, что кому-кому, но Агнии Сергеевне он мог доверить дочь без колебаний.

— Обеды сама начну варить,— улыбнувшись, посулила Живцова.

— Да что обеды! У моей милой доченьки желудок жнейку переварит! — рассеянно махнул рукою Батурин.— А если не захочет?

— Ну, почему же? Захочет.

— Ох, страшно! Переходный возраст.

— У вас будто, кум, не было переходного возраста.

— Так-то так, а все страшно.

В это время вернулся озабоченный Живцов, позвали с кухни Марию Тихоновну, и игра возобновилась. Через минуту стало ясно, что играть никому не хочется.

— Чего там? — спросил Семен Георгиевич, как бы

через силу сдавая внезапно отяжелевшие, словно из кровельного железа вырезанные, карты.

— Да хорошо, хорошо! Даже очень хорошо... Клин за Волчьим овражком засеяли! — сказал Владимир Яковлевич.

— Хорошо! — машинально передразнил его Семен Георгиевич. — Сейчас хорошо бы в бане попариться. Зря и вчера и сегодня не пошли. Всю бы обиду с души соскреб!

— Не поможет, — равнодушно возразил ему Живцов. — Был в обкоме-то? Ну и молчи!

— Шалишь, дудки! — разъярился Батурич, в сердцах хлестнув картами по столу. — Я... я, может, только дома и отсыпался-то по-человечьи! Все в поле да в поле! Своим горбом поднял зябь! Своим горбом! А зимний ремонт тракторов? Знает об этом... фельетонист?

— Зачем ему знать! — хладнокровно пожал плечами Живцов, и горбоносое усталое лицо его потемнело.

Вдруг все подняли головы и прислушались.

В стекло стукнулись дождевые капли, словно кто-то легонько костяшками пальцев постучал. Затем с минуту стояла тишина, она уже была густо насыщена влагой, но дождь еще медлил, как бы раздумывая, надо ли поливать, городские улицы, здесь, мол, и без него обойдутся... Но раздумывать поздно: словно из слепого лопнувшего стручка, на крыши, на мостовую, на сады посыпались с дробным звоном крупные горошины капель. Потом их вкрадчивый перестук сменился шипением бесчисленных струй, как будто на кухне коммунальной квартиры забушевали несколько примусов. Сначала, ударяясь о булыжник, струи взрывались, взвихривались, затем они завились в толстенные жгуты, хлещущие по кипящим лужам.

Канавы взревели, гордясь мимолетным половодьем.

— Эх, мне бы такой дождь! — в один голос мечтательно воскликнули Живцов и Семен Георгиевич.

Агния Сергеевна с удовольствием рассмеялась.

— Ну, теперь вы деревню не бросите, вижу!..

Смущенный Живцов не нашелся что сказать и потянул к себе карты, а Семен Георгиевич несколько раз подряд чмокнул губами.

Приглушенно загудел поезд, расстояние скрадывало грохот колес, лишь в раме балконных дверей проносились квадраты ярко освещенных окон, похожих на мгновенные вспышки и затухания гелиографа.

— Московский! — сказала Агния Сергеевна, хотя все и так знали, что в девять вечера проходит московский скорый. — Пойдем-ка домой, Володя!

Мария Тихоновна не могла отпустить гостей без ужина.

Когда через полчаса Батурины вышли проводить их, то дождь уже миновал, сумерки были неподвижными, как бы скованными серыми испарениями, а небо на западе бесцветным, словно в нем растворилась золотая пыльца заката.

Камни мостовой белели, как клавиши огромного рояля.

Случайно Агния Сергеевна подняла глаза и сразу толкнула стоявшего рядом Батурина.

На подоконнике мезонина, закинув голову, сидела Ксения. Мягкий свет настольной лампы бросил ей в волосы щепотку светящихся капель, обвел четкие линии лица и тела тоже светящейся каймой.

Даже отсюда, с улицы, было заметно, каким нервным напряжением охвачена девушка и как нетерпеливо она всматривалась в даль.

— Она груба, несправедлива! — возбужденно зашептал Семен Георгиевич. — Как вы с нею управитесь? Я, отец, не могу повлиять!

— Переходный возраст... — У Марии Тихоновны в душе остались только эти, совсем не утешительные слова.

Все вздохнули и, пожелав друг другу спокойной ночи, разошлись.

Утро начиналось парное, теплое; тучи уже разошлись; поднималось мглистое багровое солнце.

Семен Георгиевич, в плаще, простившись с женою и дочерью, стоял у своего киоска для продажи мороженого, когда на крыльце появился Живцов.

— Дождь-то, слышь, ко мне, как в лузу, угодил! — бодро крикнул Семен Георгиевич. — Вот Миша гово-

рит: озимые на два вершка промочил!.. Поздравляй с урожаем!

— С выговором тебя сначала поздравим! — мрачно пообещал Живцов и, опершись о калитку, посмотрел вдоль улицы: его газик что-то запоздал.

Настроение у Батурина испортилось.

В это время к машине подбежала Ксения, держа промасленный сверток с пирожками.

— Что ж, дочка, по-своему жить решила? — дрогнувшим голосом спросил ее Семен Георгиевич.

На его свежевыбритом, со следами пудры лице Ксения увидела глубокие, черные, как шрамы, морщины, — так сквозь свинцово-сизую воду видны темные водоросли на дне реки... Сердце ее покатилося, но та угловатость, то болезненное самолюбие, недоверие к себе, та боязнь насмешек — все то, что, собственно, и является «переходным возрастом», сковали ее движения, и она, побледнев, отдернула уже протянутые к отцу руки.

Прислонившись к косяку, у дверей стояла, кутаясь в пуховую шаль, Мария Тихоновна и молчала.

Из крайней калитки вышел Тиунов, приподнял картуз и, стуча тростью, зашагал по мостовой, прямой, молодцеватый, как старшина-сверхсрочник.

— Я поеду, Владимир Яковлевич, — сказал Батурин, подбирая полы шуршащего плаща и влезая в кабинку. — Мне ведь еще в райком надо заглянуть!..

— Поезжай! — согласился тот, перекаывая во рту потухшую папироску.

А Виола глядела на них из-за кружевной занавески и жевала, жевала, жевала и думала, что она всех счастливее не только на Тихой улице, но, пожалуй, в целом Синегорске.

В

тот день, когда газета «Синегорский рабочий» напечатала список рабочих и инженеров завода «Октябрь», награжденных орденами и медалями Советского Союза, Андрюшка Мельников в трусиках, босой вышел в шесть утра на кухню и начал умываться. На водопроводном кране сиял солнечный зайчик. Внезапно зайчик вздрогнул, и словно стрелка гигантских часов, переполз на стену, правее крана.

На подоконнике лежал и сонно жмурился кот Ерофеич, наглый, жирный. При появлении Андрея кот пошевелил усами и отвернулся.

Андрюшка отвернул кран до отказа... Кран полнозвучно затрубил. Широкая струя холодной воды хлестала с силой в стенки раковины. Наклонившись, Андрюшка сунул голову в ледяную сердцу струю и несколько минут постоял так. В этом обычно и заключалось умывание.

Поежившись, отфыркиваясь, Андрей подошел к окну, щелкнул по носу возмущенно зашипевшего кота. Ерофеич яростно сверкнул на него зелеными глазами, но решил не связываться и прыгнул в сад.

В это время дверь из комнаты брата распахнулась, и вошел Константин Петрович, в аккуратно наглаженных брюках, в подтяжках; узел его галстука был завязан с таким небрежным изяществом, что синегорские юноши при встрече с Константином Петровичем впадали в уныние...

Брат с недовольным видом покосился на голого, сидевшего на подоконнике Андрея, но ничего не сказал, молча прошел на крыльцо, вынул из почтового ящика, звеня замком, газету.

Константин Петрович с малых лет отли-

чался необыкновенной солидностью: вставал утром и ложился спать вечером изо дня в день в одни и те же часы, читал «Синегорский рабочий» обязательно перед уходом на службу; работал он в заводоуправлении «Октября» экономистом... Раньше газета зачастую запаздывала, и Константин Петрович каждый раз писал жалобу начальнику почтамта. Письмоносцам до того надоели его заявления, что теперь они делали крюк, мчались что есть духу, но приносили газету неизменно к половине седьмого.

С номером «Синегорского рабочего» в руке брат опять молча проследовал в свою комнату.

Повернувшись с нему спиною, Андрюшка бездумно смотрел в сад, где жадный до глупости Ерофеич грыз на грядке огурец. Андрей не любил старшего брата, презирал его за отсутствие интеллектуальных стремлений. Константин Петрович, вернувшись вечером домой, записывал в специальную тетрадку дневные расходы, затем долго, с наслаждением пил чай, затем играл в шахматы с соседом, тоже холостяком, бухгалтером Воскресенским. Они играли молча и лишь при неудачных ходах шипели, как сердитый Ерофеич.

— Так я и знал! — подчеркнуто громко сказал в своей комнате Константин Петрович.

У Андрюшки вздрогнул мокрый хохолок, он с любопытством покосился на полуоткрытую дверь, но там было тихо.

Неожиданно дверь с треском распахнулась, и Константин Петрович, пряменький, строгий, раздраженно сказал:

— Вот, вот, полюбуйся, Петя Свидельский награжден... Награжден медалью «За трудовое отличие»!

— Покажи, — попросил Андрей, протягивая мокрую руку.

— Да что покажи! — сказал брат, пряча за спину газету. — Трудлюбивый, прилежный юноша!.. А его сверстник... Андрей Мельников еще сидит на школьной скамье, увлекается то фотографией, то историей родного края, то драматическим искусством! И, представьте, учится на тройки.

Вот это была правда: Андрюшка последние годы с удивительной быстротою менял увлечения: играл в школьном спектакле Самозванца в «Борисе Годунове», потом организовал фотографический кружок, но после того, как обжег руки кислотами, охладел и к этому делу. Лишь минувшую зиму, да и то по совету Глафиры Григорьевны, директора городской библиотеки, он серьезно занялся историей Синегорска. И даже напечатал в газету заметку: «Пятьсот лет Синегорского кремля». Заметка была напечатана на последней странице, под рубрикой «К истории родного края», а внизу ее красовалась подпись: ученик 8-го класса... Но все-таки по алгебре Андрюша «схлопотал», как говорили в школе, тройку.

— В твои годы,— продолжал мерно поскрипывающим голосом Константин Петрович,— я уже работал и содержал тебя и маму. Это не помешало мне закончить заочно экономический институт. И теперь я на отличном счету у директора.

Такие речи Андрей слышал аккуратно через день и все не мог понять, почему справедливые слова брата нагоняли на него неудержимую зевоту. И сейчас он с трудом удержал зевок и заинтересованно спросил:

— А Ивана Ивановича Алексеева наградили?

— Еще бы не наградили!.. Знаменитый токарь-ско-ро-стник! Ты сейчас думай не об Иване Ивановиче, а о себе. Кем ты станешь через три года, через пять лет?

— Ну экономистом-то я всегда смогу быть,— не-обдуманно сказал Андрей, вынимая из рук брата газету.

Константин Петрович вздрогнул, губы его зашевелились, но в этот момент в комнате простуженно захрипели часы, и он, решив, что опаздывать на службу даже из-за неразумного младшего брата нет смысла, бросился за пиджаком и шляпой.

Солнечный блик, двигаясь по часовой стрелке, переполз на висевшие над плитой кастрюли.

Закрыв за Константином Петровичем дверь, Андрей развернул газету. Да, Петр Семенович Свидельский награжден медалью... Новость была неприятная. Прош-

лой весной Петя, окончив седьмой класс, ушел на завод. Некоторые ребята говорили, что он прав, а другие, что он неправ, но все школьники были уверены, что на заводе у него дело пойдет на лад. Петя всегда увлекался техникой. Может, эта любовь к технике, к заводу перешла от отца, Семена Семеновича Свидельского, мастера инструментального цеха. Еще в детстве Петя паял и чинил соседям чайники, ведра, утюги. В шестом классе он начал производить опыты в физическом кабинете и устроил такой взрыв, что вылетели все стекла, а самому Петру осколок вонзился чуть повыше правой брови,— и сейчас заметен шрам... Директор запретил Свидельскому дальнейшие опыты, и Петя перекочевал в химический кабинет. Там он принялся составлять новую смазку для токарных станков, нечаянно разбил колбу, и в комнате распространилось такое омерзительное зловонье, что директор приказал в разгаре зимы распахнуть настежь окна и забить дверь. Но еще долго после этого школьники, проходя мимо кабинета, зажимали носы и отплевывались.

И тотчас Петю прозвали «химиком»...

Андрюшка одиноко позавтракал, вымыл под краном холодной водою стаканы и тарелки, вытирать их не стал, а сложил на подоконнике,— пускай на солнышке сохнут... Из травы осторожно выглянул Ерофеич. Андрюшка показал на посуду и погрозил пальцем. Кот с недовольным видом отвернулся: он не забыл, как однажды разбил чашку и Константин Петрович беспощадно отстегал его ремнем...

Братья жили вдвоем: отец погиб на фронте, мать умерла в позапрошлом году. Андрей получал пенсию, и дядя, профессор, присылал ему из Москвы ежемесячно четыреста рублей. Можно было жить безбедно, но все-таки Константин Петрович непрерывно стонал, что они скоро пойдут по миру... И Андрей за это тоже презирал брата.

Комната у Андрюшки была отдельная, узкая, как отгороженный коридор, и вся набита книгами, такими пыльными, что даже отважный Ерофеич не решался переступить ее порог: просовывал в дверь голову, чихал и спасался поспешным бегством...

«Химик» награжден медалью»,— уныло подумал Андрей, одеваясь.

И самое ужасное, что об этом узнает Верочка. И Андрюшка и Петя много лет дружили с дочерью Глафиры Григорьевны Верочкой. Это была тоненькая, высокая девочка с капризными губами и серыми, насмешливо и задорно поблескивающими глазами. Разумеется, приятели были влюблены в нее без памяти, хотя никогда не сознались бы в этом, а она относилась к ним спокойно, доверчиво, ласково,— вероятно, до того привыкла, что не могла вообразить, как это можно влюбиться в таких пареньков... Ну, летчик, актер, даже курсант военного училища, словом, настоящий мужчина, а эти...

Верочка, Петя и Андрей вместе купались, а зимою катались на катке, вместе ходили в кино и театр. Покупали они билеты на галерку, в антрактах поглощали в огромном количестве мороженое и получали от всего этого наслаждение, ибо и театр и мороженое в Синегорске были хорошими...

Глафира Григорьевна поощряла их дружбу, потому что надеялась на благоразумие дочери.

Теперь все переменялось. В первый месяц работы на заводе Петя заработал пятьсот рублей, начал курить исключительно «Казбек», вместо брюк облачился в широкие, с напуском на голенища высоких сапог шаровары. Ходил он по улице вразвалку, подражая старым мастерам.

И когда Верочка предложила пойти в воскресенье на утренник в театр, ставили «Гамлета», Петя решительно заявил:

— Я покупаю билеты!..

И купил билеты третьего ряда партера.

— А я не пойду,— угрюмо заявил Андрюшка.

— Почему?— спросили в один голос и Верочка и Петя.

— Не пойду, и все! Не обязан объяснять, почему! Верочка догадалась и покраснела от возмущения.

— Как глупо!

— Пусть глупо, а не пойду!— отчеканил, тоже покраснев, Андрей.

И верно, не пошел, просидел все воскресенье дома, сражался в шахматы с братом и бухгалтером Воскресенским, выиграл все партии, но даже это не успокоило его.

Верочка стирала в сенях белье и крикнула Андрюшке, чтобы он не заходил, она вся растрепанная, а дождался в саду.

Под яблоней лежало одеяло, Андрей повалился на него и плотно охватил голову руками. В мутном, цвета снятого молока небе лениво плыли, то обгоняя друг друга, то отставая, тоже мутные облака. С улицы доносилось покряхтывание грузовиков, мелодичный, однообразный до одурения звон трамвая. Пробежали с веселыми криками мальчишки. Пахло пылью, нагретой солнцем травой, и было так скучно, что у Андрея окончательно испортилось настроение. Он уткнулся лицом в горячую подушку и заставил себя не думать о Петре и не заметил, как уснул.

— Эй, эй, лежебока,—закричала, наклонившись над самым его ухом, Верочка. Она раскраснелась, волосы ее были повязаны белой косынкой, и она была сейчас такая хорошенькая, что Андрюшка едва не закрипел зубами от отчаяния.

— Петя медалью награжден,—проворчал он, стараясь не глядеть на нее.

— Знаю, по радио слышала,—спокойно ответила Верочка, присела рядом, натянув юбку на ноги.— А тебе-то что?

— Как это что?—вскричал Андрюшка.— Пойми, пойми, мы еще школьники, дети, на партах сидим...— Он с размаху ударил кулаком по подушке.— Верти не верти, а мы пока иждивенцы у государства, сколько на нас денег советская власть тратит!

— Значит, нужно, если тратит,—пожала плечами Верочка.

— А Петя уже самостоятельный человек,—пылко продолжал Андрей, не слушая ее.— Сколько раз про него в газете писали? То сто тридцать, то сто пятьдесят процентов нормы...

— У отца научился,— так же спокойно заметила Вера, потянувшись, наклонила ветку и сорвала незрелое, с кислинкой, яблоко.— Твою заметку тоже в газете напечатали, что ж ты хочешь?

И она принялась с хрустом грызть яблоко.

— Да ты пойми, пойми,— возмущенно, прижимая кулаки к груди, сказал Андрей.— Петя пользу государству приносит, а мы, а мы?..

— И мы станем приносить!— Верочка швырнула яблоко в крапиву.— Фу, кислятина, аж скулы ломит!.. Пойдем, сейчас мама придет.

Глафира Григорьевна приходила из библиотеки на обеденный перерыв точно в два часа. В авоське ее вместе с покупками лежало несколько новых книг, и она успевала просмотреть их дома. Она читала даже на кухне; Петя ей устроил раздвижной пюпитр над самой плитой, и Глафира Григорьевна варила обед, не отрываясь от книги; лишь в самый критический момент, когда котлеты подгорали, просила дочь перевернуть страницу.

На улице все прохожие, и взрослые, и дети, здоровались с нею, снимая шляпы, фуражки, кепки, а зимою — шапки. И это было понятно: Глафира Григорьевна работала в Синегорской библиотеке без малого тридцать лет.

— Что ж тут такого?— выслушав Андрея, спросила она, снимая шляпку и ставя в угол палочку.— Талантливый мальчик! Ты сам его всегда хвалил: умный... Да ты завидуешь, что ли?

— Завидует, конечно, завидует!— закричала, хлопая в ладоши, Верочка.

— Никому я не завидую,— насупился Андрей.

— Можно стать токарем в шестнадцать лет, и токарем отличным, таким, как Петя... В Москве как-то, в училище Гнесиных, я была на концерте, вот эдакие малыши,— Глафира Григорьевна показала, какие малыши, едва не коснувшись рукою пола,— и так чудесно играли, заслушаешься!.. И скрипачи, и пианисты. Ты, кажется, решил быть историком?— строго спросила она Андрея.— Годы, десятилетия неустанного труда! Тысячи прочитанных книг! В тридцать, в сорок лет, не

раньше, ты создашь свое, новое... Вера,— она круто повернулась,— начинай-ка олады!

Они ушли на кухню, а Андрей вытащил из авоськи книги, полистал-полистал и бросил их на диван. Вспомнилось ему, как зимою, в январе, здесь шумно и весело отпраздновали день рождения Верочки. Андрюшке пришлось долго раздумывать, какой же сделать подарок. Дядин перевод запоздал, а на получку брата рассчитывать было невозможно. И он решил увеличить ее портрет, тайно от Веры попросил у Глафиры Григорьевны крохотную карточку, возился несколько ночей. Портрет вышел на славу, Верочка просияла, с благодарностью взглянула на Андрюшку, ее подружки тоже хвалили, но вдруг в окошко постучали.

— Петя!— воскликнула Верочка и выпорхнула в прихожую.

Всегда Петя и Андрей не звонили, а стучали в окошко, домик был одноэтажный, и, казалось бы, в этом ничего особенного не было, но в тот вечер Андрюшка так рассердился, что в глазах потемнело.

Свидельский вошел с огромным свертком в руках, из которого торчало горлышко бутылки шампанского. Посадили его почему-то рядом с Верочкой, а Андрюшке досталось место на самом тычке, у дверей на кухню.

И Петя сразу расхвастался: впервые выполнил норму на двести семь процентов.

— Скоро и Алексеева перегонишь,— сказал Андрюшка таким неприятным тоном, что все оглянулись на него, а Глафира Григорьевна укоризненно покачала головою.

— Алексеев — скоростник всесоюзного масштаба,— возразил Петя.— Первым в стране повысил скорость резания до семисот метров!.. Но я приглядываюсь, приглядываюсь,— со счастливым смехом добавил он.

В отчаянии Андрей выпил подряд три рюмки и через несколько минут крепко спал на диване, укрытый ватным одеялом.

— Ых,— простонал сейчас Андрей; даже вспомнить о том вечере было мучительно.

В столовой появилась Глафира Григорьевна с

оладьями, такими золотистыми, словно они были смазаны не маслом, а солнечным светом.

— Садись!— с суровым дружелюбием приказала она Андрею.

Внезапно на кухне раздался испуганный вскрик Верочки.

— Обожглась!— ахнула, зажмурившись, Глафира Григорьевна.

Андрей выпрыгнул из-за стола и полетел сломя голову туда.

Стоя спиной к плите, где яростно шипела сковорода, Вера с ужасом смотрела на него и махала руками.

— Он ничего не знает!— наконец вымолвила она.— Совсем забыла... У него отгул три дня, ушел к тетке в деревню. Ты бы сходил к Свидельским, рассказал.

— Ну, безусловно глупо!— рассердился Андрей.— Так... кричать!

На Верочку его слова не произвели ни малейшего впечатления.

— А Семена Семеновича наградили?— спросила она и повернулась к плите.

— Еще бы! Такой мастер, сорок два года на заводе. Орден Ленина!

Верочка и Андрей решили сходить к Свидельским, но едва вышли на знойную улицу, где асфальт так и полыхал жаром, металлические поручни трамвая обжигали руки, где перед киосками с газированной водой стояли длинные очереди, то сразу передумали и помчались на реку купаться.

В Доме культуры завода «Октябрь» шла новая картина. Как не пойти? И Андрей без труда уговорил Верочку, что к Свидельским они успеют... Ему вовсе не хотелось идти туда, но он все-таки понимал, что поздравить старика Свидельского придется, так уж лучше это сделать без Веры.

В фойе висели портреты стахановцев «Октября». С краю, у самой двери в зрительный зал, была повешена фотография и Пети Свидельского. Много мальчишеского, наивного было в его лице, но взгляд был

смелый, пытливый, а губы сжаты с таким упрямством, что посетители, посмотрев на Петю, обычно говорили:

— Вот так паренек, о-го-го!..

Еще не стемнело, когда Верочка и Андрей вышли из кино, и случилось именно то, чего с нетерпением ожидал он,—Вера вспомнила, что ей надо бежать к соседке за молоком, Глафира Григорьевна возвращалась из библиотеки в десять вечера...

И Андрюшка пошел к Свидельским один.

Семен Семенович и старшие его сыновья обедали. Старик сидел на почетном месте, в красном углу; перед ним стоял графин с калганной настойкой. Всем знакомым Семен Семенович объяснял, что эту настойку он употребляет не для удовольствия, а для здоровья. Сыновья, шоферы городского хлебозавода, такие же плечистые, кряжистые, плотные, усатые, как старик, пили пиво.

— Ну, спасибо, не забыл старика, спасибо,—растроганно сказал Семен Семенович и подвинулся, освобождая Андрюшке место рядом с собою на лавке.— И за Петьку спасибо! Да, мальчишка смысленный, бойкий...

— Теперь, гляди, зазнается с медали-то,—сказал большак, Сергей Семенович, наливая Андрею пива.

— В нашем родстве, кажись, зазнайства не было,—нахмурил кустистые, совершенно седые брови старик.— А вы чего не зазнались со своих орденов да медалей?

— Папаня, не равняй, то фр-р-ронт!—сказал Сергей.

Семен Семенович с недовольным видом отмахнулся от него ладонью.

— Да, порадовал меня Петька,—продолжал он, глядя на Андрюшку,—а не такой доли я желал младшему... На старших я рукой махнул: вернулись с фронта танкистами, а где танкист — там и шофер. А про Петю я мечтал: станет антилихентом!..

Андрюшка растерялся: он был убежден, что именно отец и посоветовал Пете пойти после седьмого класса на завод.

Жена Семена Семеновича, Анфиса Ивановна, подала Андриюшке тарелку жирных «огневых» щей и как бы ненароком погладила его по плечу. Она и любила и жалела мальчишку и соседкам говорила так: «Сирота! Мой-то как у Христа за пазухой, а у этого брат хоть умен, слов нет, а сердцем ледянист!»

— Антилихентом,— повторил, нарочно коверкая слово, Семен Семенович, грустно улыбаясь.— Врачом!.. Вот так и думал: сижу я, пенсионер, на бульварчике, с газетой, а мои корешки, тоже старички, идут к сыну на прием. А Петька в белом халате, солидный... «Не беспокойтесь, я вам пропишу касторки!»— Свидельский очень верно передразнил писклявый, неустановившийся, ломкий голос сына.

Братья Сергей и Павел так и закачались от смеха, и Андриюшка рассмеялся, даже Анфиса Ивановна, стоя у печки, фыкнула.

— А ты кем решил стать?— внезапно обратился к Андрею старик.

— Я хочу, Семен Семенович, быть историком. Доктором исторических наук!.. Историю напишу Синегорска, ведь пятьсот тридцать лет нашему городу...

Он произнес это boldly, вполголоса, опасаясь, что сейчас и над ним засмеются, но Семен Семенович с уважением взглянул на Андрея, а большак достал с подоконника непечатую бутылку и добавил ему еще янтарного, пенистого пива.

— Решил?— строго спросил старик.

— Решил,— с замиранием сердца сказал Андрей.

— Ну и молодец! Самое главное, чтобы человек решил... Решил и не передумал.

— А вот ты, папаня, в университетах не обучался, а написал же книгу,— заметил Сергей, вытирая кистью руки мокрые от пива усы.

Семен Семенович отрицательно кивнул тяжелой копною седых волос.

— Я написал книгу о своем цехе. О своем производстве... О чужом соседнем цехе я уже ничего написать не смогу! У интеллигента есть кругозор!— он широко взмахнул рукою.— Зоркость глаза!.. Масштабность!

— Как же, папаня, ведь поставлена задача: всех

рабочих возвысить до уровня инженера?—допытывался Сергей.

— Пока нас с тобою будут... возвышать,—с хитрой улыбкой сказал старик,—так инженеры-то еще дальше уйдут! Не станут они сидеть на месте да нас поджидать.

Он потянулся и бросил жадный взгляд на широкую, как рыдван, кровать у стены. Анфиса Ивановна, отлично знавшая привычки мужа, начала снимать огромную грудку белоснежных, сверху маленьких, а пониже больших, подушек.

— Я, Семен Семенович, хочу к Пете съездить. Можно взять велосипед? Тут всего шесть километров, дотемна успею,—сказал Андрей.

— Бери,—разрешил старик.—Можно бы, конечно, и не ездить, нечего баловать-то, а хочешь — бери!

Дорога была ухабистая, и Андрей прыгнул с велосипеда, повел его за руль. Стебли травы цеплялись за колеса. По обочине, рядом, неторопливо брело к дому колхозное стадо. Коровы шагали с сосредоточенным видом, пристально глядя в землю. Овцы, толкаясь, набежали на Андрюшку, понюхали велосипед, понюхали его босые ноги и помчались дальше, взвизывая пыль. Из крайнего двора выкатился чернявый пес, со свирепым заливистым лаем накинулся на коров, но те даже не повернули головы. И сконфуженный пес решил убраться подобру-поздорову обратно во двор.

Петина тетка жила на берегу ручья, в покосившемся домике. Подслеповатые окошки заодно посматривали на прохожих, как бы говоря: эге, не беда, что изба покривилась, еще постоит... Андрей здесь бывал неоднократно: по воскресеньям он и Петя прибегали сюда ловить вместе с деревенскими мальчишками окуней в омутах, купаться, лакомиться яблоками в теткинском саду.

Он знал, где надо сейчас искать друга,—на чердаке... Петя постелил там старый половик и, когда с ним не было Андрюшки, весь день лежал на нем, уткнувшись в книгу. На дощатой стенке он повесил вырезанные из журналов портреты Борткевича, Павла Быкова и Николая Российского, а внизу плакат собственного

изготовления, на котором крупно было написано: «Смелость, упорство, знания».

— Петя! Петя!— крикнул Андрюшка, заворачивая за угол избы.

С чердака выглянул Петя и от удовольствия засмеялся.

— Вот и хорошо, что приехал! А я, признаться, раскаивался, что не позвал тебя...

— Так ты ничего не знаешь? Тебя медалью наградили! Со всеми стахановцами!..

Петя побледнел и круто вскинул голову. Затем он медленно спустился по приставленной к избе лестнице. Все произошло не так, как ждал Андрей... Петя молча прошел мимо него в сад, а там сделал несколько кругов среди яблонь, что-то невнятно бормоча и жестикулируя, словно разговаривал сам с собою. У колодца он остановился и начал усердно умываться, кидая себе в лицо пригоршни студеной воды.

— Ты думаешь, что я пошел на завод ради этого?— враждебно глядя на приятеля, сказал он, вернувшись.— Да пойми, это в крови у меня, в крови!.. От отца, от братьев,— завод, станки! Все равно я буду учиться, вам всем назло!— с ожесточением выговорил Петя, потрясая перед лицом Андрюшки сжатыми кулаками.

— Как это назло?— изумился Андрей, крепко опираясь на руль велосипеда.

— Ну, я не так сказал,— смутился Петя.— Но неужели вы решили, что я перестану учиться?

— Да мы ничего не решали!— сердито ответил Андрей.— Чего ты ко мне привязался, ей-богу?

Петя пошевелил пальцами босой ноги в пыли, несколько раз тяжело вздохнул, словно после долгого бега, и спокойно сказал:

— Сейчас скажу тетке, чтобы ужин приготовила на двоих. Умывайся! А как... там?

— Вера здорова,— холодно сказал Андрюшка.

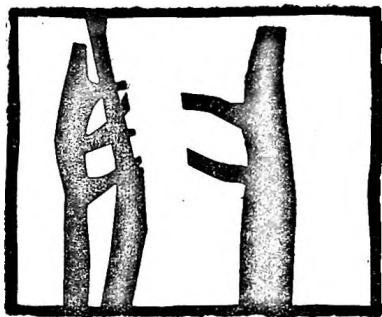
Он поставил велосипед у стены избы и присел на ступеньки крыльца. Петя все не возвращался. Острая, зеленоватая, как льдинка, звезда засияла на небосводе. Глядя на нее, поживаясь от вечерней прохлады, Андрей с облегчением почувствовал, что он по-прежнему любит Петю, всегда будет любить, хотя теперь-то

ясно, что разошлись их пути-дороги, что у каждого будет своя судьба в жизни, свое счастье, свои неудачи и беды... И он вспомнил полутемный зал библиотеки, лампы под зелеными абажурами, шорох переворачиваемых страниц, сосредоточенную тишину, услышал шепот склонившейся к его плечу Глафиры Григорьевны:

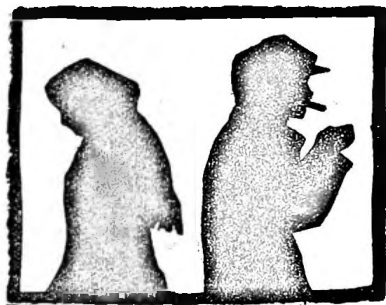
— Обрати внимание на статью академика Платонова о Борисе Годунове...

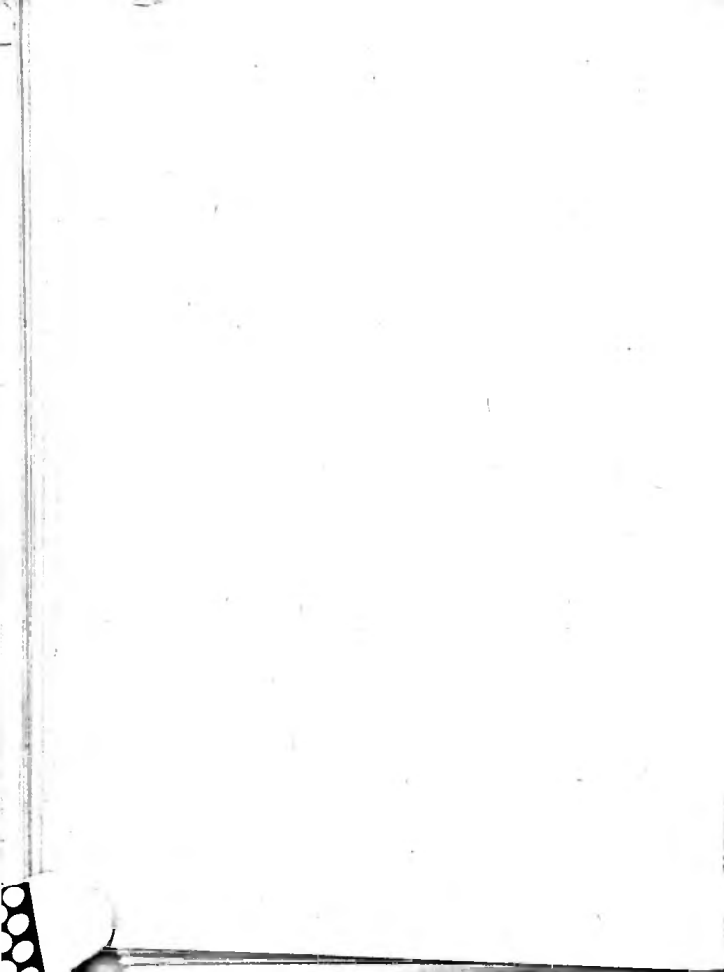
«И это тоже хорошо», — успокоенно подумал Андрей.

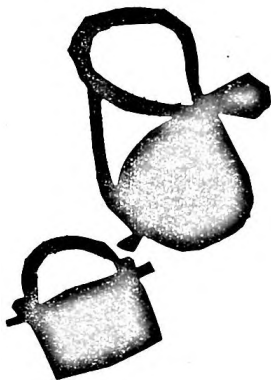
Ветви яблонь свешивались через забор. Ветер неторопливо раскачивал розовеющие плоды.



П О В Е С Т И







ЮВА — СЕМЬЯ, ГНЕЗДО, ДОМ



осле смерти матери Шатров понял, что ему со старшей — замужней — сестрою не ужиться.

Конечно, он и теперь мог, как случалось не раз и раньше, выносить в коридор коммунальной квартиры раскладуху и спать каменным сном под аккомпанемент телефонного и дверного звонков, разговоров соседей на кухне.

Не это выбило его из колеи.

Со смертью матери исчезла семья. Кто-то из приятелей сказал ему однажды, что в тюркских языках слово «юва» означает и «семью», и «гнездо», и «дом». Так вот теперь не было ни семьи, ни гнезда, ни дома.

«Если бы отец был жив», — думал Шатров.

Но отца он лишился в детстве...

Тотчас же Татьяна затеяла какой-то сложный — тройной — обмен комнаты на отдельную квартиру, с доплатой.

— За тобою сохранятся все бытовые условия, — непрерывно заверяла она брата.

Шатров усмехался, но про себя: лицевой счет был на него — не на Татьяну... Однако он окончательно почувствовал себя отрезанным ломтем, бесконечные разговоры об обмене с доплатой так надоели, что, когда в техникуме начались каникулы, выдал сестре нотариальную доверенность на право обмена и уехал в Синегорск.

Еще прошлым летом туда приглашал его Жорка Селезнев, школьный товарищ. Кроме того, в Синегорске проживал дядя, Захар Осипович Вагинов, то есть он был Шатрову не родной дядя, но как бы и дядя по троюродной бабушке из Сарапула. Мать всегда говорила: «Седьмая вода на киселе». И, подумав, добавляла: «Добытчик!..» Захар Осипович аккуратно поздравлял семью Шатровых с праздниками, и советскими и церковными, и мать отвечала ему, благодарила...

Прощаясь, Татьяна всплакнула: «Возвращаясь в любой момент, ты нам не в тягость». Шурин Шатрова, Семен Семенович, по обыкновению, отмалчивался, но поставил отвальную — бутылку зубровки. И на том спасибо!..

— Книги не растеряйте при переезде, — попросил Шатров.

И сразу начались неприятности.

Жорка на вокзале в Синегорске не встретил, хотя телеграмма была послана заблаговременно. Сдав чемодан в камеру хранения, проведя консультацию с постовым милиционером и местными жителями, Шатров вошел в трамвай № 7.

Неприятно приезжать вечером в чужой город. Настроение Шатрова испортилось, — не хотелось любо-

ваться новыми многоэтажными домами, ярко освещенными, с толпами гуляющих улицами, бульварами. Наконец Шатров вышел на угол Октябрьского проспекта и Проломной, без труда отыскал нужный дом, подъезд, вбежал на пятый этаж, не задохнувшись: ему еще не приходилось хвататься за сердце из-за испорченного лифта.

— Это к Георгию Александровичу Селезневу,— плавно сказал он, едва за дверью послышалось шарканье шлепанцев.— Если он уже лежит, разбудите, пожалуйста, я из Ярославля, его друг.

— Он не лежит, а сидит. Пятнадцать суток. За дебош в пьяном виде.

Шатров потоптался, пожал плечами, но все-таки осмелился еще раз нажать кнопку звонка, и, хотя дверь опять не открыли, соседка терпеливо выслушала его сбивчивые объяснения.

— Вы меня не знаете, я вас не знаю, с чего ж это я вас пушу в фатеру?— Голос невидимой собеседницы наполнился металлическим блеском.— Из-за Жоркиных приятелей-фулиганов на неделе два раза в милицию таскали. Чего там!

Шатров негромко свистнул: н-да, положеньице...

Дядя жил на противоположном краю Синегорска. Трамвайный вагон того же седьмого маршрута теперь был переполнен. Пассажиры толкались, огрызались. Расстроенному Шатрову в голову не приходило, что он тоже толкался... И вдруг открылась круглая, как серебряное блюдо, привокзальная площадь, слепяще озаренная фонарями, и в открытое окно ворвался сочный, горяче-звонкий гудок—вестник дальних странствий.

И так защемило сердце... Вернуться, что ли, домой?

Но трамвай уже бежал по узкому переулку, в тоннеле высоковетвистых тополей.

Дядюшкин дом отличался от соседних не только дородностью— пять окон по фасаду, мезонин, но и щеголеватостью: ставни выкрашены голубой краской, наличники— темно-синей.

И здесь Шатрова встретили восторженными возгласами, объятиями, попреками: «Миша, почему не предупредил? Встретили бы!.. Ну ясно, ну конечно,

располагаясь в мезонине, всегда желанный гость!..» На кухне зафырчала огромная, как колесо телеги, сковорода, — омлет готовили из десятка яиц.

Захар Осипович, плотный, с тугим брюшком, говорил привычным офицерским баритоном, будто батальоном командовал.

— Сколько матери было? Шестьдесят два? Могла бы пожить. Впрочем, слава богу, что не страдала, не залежалась. Инсульт, мгновенное дело!

Рассуждения Захара Осиповича были справедливыми, но укололи Шатрова.

С непостижимой быстротою вокруг гостя вертелась Катя. Она была тоже плотная, в отца, и, когда шла по комнате, толкала крутыми боками стулья.

Последний год Катя была поглощена одной заботой — вывести веснушки, жгучие, необычайно крупные, как медные копейки. Ценою невероятных мучений это ей удалось, но кожа потемнела, приобрела грязный оттенок, словно Катя по будням не умывалась. И теперь ей приходилось употреблять — в размерах фантастических — всевозможные импортные кремы.

В разговоре Катя непрерывно делала круглые глаза.

Тетушка Зинаида Петровна была высокая, на полголовы выше мужа. На ее лице выделялся нос, большой, жилистый. — в минуты волнения нос ходил вправо-влево, как флюгер на крыше.

Дочь она называла не Катей, а Китти...

После обильного ужина с бесконечными расспросами, сожалениями, охами-ахами, намеками, что надо было догадаться, пригласить родственников на похороны, Шатрова провели в мезонин. Там на диванчике спал совершенно голый, словно из фарфора вылепленный мальчик лет двенадцати.

— Это наш Чеснок, надеюсь, он тебя не стеснит, — сказал дядя.

— Да что вы! — воскликнул Шатров, даже не успев удивиться такому диковинному прозвищу.

Проснулся он рано от пристального взгляда мальчика, стоявшего перед кроватью.

— Жених? — спросил Чеснок без предисловия.

— Да нет, почему же...

— А кому ты здесь нужен, если не жених?

Шатров не нашелся что сказать и хмыкнул.

— Мне-то что!— повел плечом мальчик.— Тебе плакаться... Зимой к ней сватался инженер-электрик товарищ Авруцкий. Ну не понравился: зад толстый. Двадцать пять дуре, а роется...

— Хорошего ж ты мнения о родной сестрице!

— К родным-то как раз и надо относиться критически,— назидательно произнес Чеснок вычитанную где-то фразу.

Шатрову он понравился.

Позавтракали они на кухне: дядя, тетя и Катя были уже на работе; по словам Чеснока, служили они в разных учреждениях, чтобы не было обвинений в семейственности.

— А ты почему не в лагере?— заинтересовался Шатров.

— Да у меня путевка была в первую смену... А ты, честное слово, не жених?

— Поди к черту, вот привязался!

— Если не жених, то скажу по секрету,— понизил голос Чеснок.— Участвую в городском шахматном турнире, надеюсь занять четвертое место. Потому и отвертелся от лагеря.

— Как же ты мог отвертеться, если была путевка?

— Принял накануне отъезда две порции английской соли, ну, сам понимаешь,— сказал Чеснок тоном пирата, перед смертью открывающего другу тайну клада на Антильских островах.

Шатров положил голову на стол и долго смеялся.

Когда он узнал, что Чеснок остался верным— вопреки неудачам последних лет— Михаилу Талю, то воскликнул:

— Да мы с тобою столкуемся!

— Я тоже так думаю, если не женишься на Катке,— сдержанно сказал мальчик.

И предложил Шатрову прошвырнуться по городу, а в полдень поехать на реку купаться.

С неделю Шатров упивался бездельем. Утром он и Чеснок разбирали шахматные этюды, затем отправлялись на реку и купались до одури.

Обеды в семье Вагиновых были жирные, наваристые, — здесь набаловались тешить утробу.

Разговоры за столом шли деловые.

— Антон Митрофанович умер, — сказала как-то тетя таким бесстрастным тоном, словно Антоны Митрофановичи умирали каждый день.

— Уж-жасно! Ему ведь еще пятидесяти не было!.. — Помедлив, Захар Осипович добавил: — Кажется, у него был мотоцикл с коляской. Надо спросить Марию Павловну — не продаст ли?..

Шатров долго ломал голову: кто станет ездить на мотоцикле с коляской? Не Чеснок же!

Если дядя желал уклониться от ответа, то говорил:

— Определенно сказать не могу, а бросаться словами не в моем характере...

Катя обычно рассказывала о событиях в Пищеторге: кто женился, кто развелся, кого вызвали к прокурору. При упоминании любой фамилии дядя отзывался офицерским баритоном:

— Я его знаю!

А у тетушки Зинаиды Петровны флюгер ходил право-влево.

После обеда Шатров валялся с книгой на диване: то читал, то дремал.

Вечерами Катя тащила его в кино или на танцевальный круг, и он подчинялся, уходил, провожаемый насмешливым взглядом Чеснока.

День за днем, и Шатров привык к Кате. Она и правда была славной, но, как пронизательно заметил Чеснок, «без царя в голове». Превыше всего Катя любила военные фильмы со стрельбой и концерты ансамбля цыганской песни и пляски.

Досаждала Шатрову тетушка Зинаида Петровна. У нее была отвратительная манера бесшумно подкрадываться в мягких туфлях и, остановившись сзади, припихиваться. Бог знает, зачем ей это было нужно, выведать, что ли, не выпивает ли Шатров?

Прокравшись однажды таким образом в мезонин, понюхав, Зинаида Петровна сказала печально, словно на юбилейном вечере:

— Первой гильдии.

— Что первой гильдии?— вздрогнув, Шатров выронил книгу.

— Купец первой гильдии Транквиллин Сергеевич Валуев подарил этот дом моему отцу протоиерею Воздвиженскому в тысяча восемьсот девяносто девятом году.

«С чем вас и поздравляю»,— хотел поклониться Шатров, но струсил, протянул:

—А-а-а...

По субботам собирались гости. Тетушка рекомендовала Шатрову танцевать с пожилыми дамами, одетыми с умеренной роскошью, и он танцевал. Вслушиваясь в разговоры на торговые темы гостей, таких же солидных, как дядя, он чувствовал себя круглым дураком.

И вдруг поздним вечером, когда он отплясывал с Катей на танцевальном кругу в парке, пришла телеграмма: «Обменяла поселок автозавода однокомнатная квартира семнадцать метров все удобства целую Татьяна».

Дядя и Зинаида Петровна встретили Шатрова так подчеркнуто деликатно, что через минуту он смекнул: ухитрились прочитать, не первав бандероли...

В отчаянии Шатров взялся за голову.

— Семнадцать!.. У нас комната была сорок два метра, да и то я сплошь и рядом спал в коридоре. У Тани ж ребенок будет осенью.

Катя сделала круглые глаза и выпорхнула в соседнюю комнату, толкнув боком стул. Тетушка понюхала, понюхала и поплыла за нею— объяснить, что случилось, проинструктировать... Чеснок со свистом хлебал чай, не спуская с Шатрова глаз.

Поерзав в кресле, Захар Осипович сказал мягко:

— Чему ж удивляться, милый? Священный эгоизм! Так было, так будет во веки веков. Таню можно понять: ребенок...— Ободренный молчанием Шатрова, он замурлыкал настойчивее:— Оставайся в Синегорске. Крупный промышленный и культурный центр. Как у тебя положение с дипломом в техникуме? Ну вот, видишь... Специальность весьма перспективная: холодное дело. Завтра ж устрою на мясокомбинат.

— Нашел куда устраивать,— фыркнул Чеснок,—

в заповедник расхитителей социалистической собственности!

— Тебя не спрашивают!— глубоким баритоном сказал дядя.

— Спрашивай не спрашивай, а только что кончился процесс: упекли весь отдел сбыта.

— И хорошо, что только что закончился, и хорошо, что упекли,— на полтона ниже подхватил Захар Осипович,— значит, теперь года три туда не заглянут ни прокуратура, ни госконтроль!.. Ну, на мясокомбинат не хочешь, иди в наш Промторг финансовым ревизором.

— Я же ничего не понимаю.

— А тут и понимать-то нечего. Честным надо быть,— с достоинством объяснил Захар Осипович.— Взятки не брать. С продавцами и завмагами не пьянствовать.

— Мне квалификацию надо добыть! На всю жизнь,— мучаясь, что его здесь не понимают, сказал Шатров.

Чеснок, как и все сверстники его, был набит знаниями, иногда полезными, чаще бесполезными.

— На заводе сто сорок шесть открывают цех холодильников. По радио передавали. Туда пойти — иное дело.

— Тебя не спрашивают!— оборвал сына Захар Осипович, стукнул ногтем по искусственной верхней челюсти, нехотя согласился:— Можно и туда, хотя на мясокомбинате... Но предварительно нужно оформить постоянную прописку.

— Да у меня на сто сорок шестом приятель, Жорка... Георгий Александрович Селезнев,— вспомнив, обрадовался Шатров.— В монтажном бюро.

Незамедлительно Захар Осипович отозвался:

— Я его знаю!..

Чеснок подмигнул Шатрову.

Молодость несла Шатрова под парусом, полным ветра, и он без долгих раздумий решил наведаться на завод, выяснить, как там и что... В конце концов, это его ни к чему не обязывает. Можно и в Синегорске обосноваться. Ясно, что сестра спит и видит, что он не вернулся домой.

Утром Чеснок вызвался проводить его до завода.
— Положим, на работу все равно там не устроишься!

На этот раз Шатров рассердился.

— Закаркал, как ворона! Ишь предсказатель! Да я еще ничего не решил. Думаешь, легко бросить родной город?

— Это я понимаю,— кивнул Чеснок,— а ты вот не понимаешь, что если папе надо пристроить тебя на мясокомбинат, то, значит, и будешь вкалывать на мясокомбинате.

— Пошел к чертям свинячим!

С притворным испугом Чеснок отскочил и в отличном настроении побежал к трамваю.

Заведующего отделом кадров Бородулина донимал флюс. Левая мясистая щека была перехвачена черной повязкой, глаза заплыли, и на лице появилось злое выражение.

«С такой рожей не кадрами заниматься, а в похоронном бюро служить»,— подумал Шатров и сказал, что хочет поступить на завод, и сдуру сослался на рекомендацию Георгия Александровича Селезнева.

— Вы что же, друг Жорки?— оживился Бородулин.

— Учились вместе в школе. Он старше на два года. Да, дружили...

— Не говорите здесь никому об этом,— посоветовал Бородулин.— Жорка — лентяй, лоботряс.— Взглянув на потолок, быстро добавил:— Фанфарон!

Втайне Шатров согласился с такой характеристикой.

Бородулин сказал, что рабочим в цех холодильников можно устроиться, была бы постоянная прописка, ну а после защиты дипломного проекта, естественно, Шатрова переведут в конструкторское бюро. Так что приносите документы, но на жилплощадь, даже на койку в общежитии, рассчитывать не придется год-другой.

— У меня здесь дядя.

— Еще лучше!

Шатров написал сестре: «Видимо, останусь в Синегорске». И попросил выслать документы. Татьяна

с несвойственной ей оперативностью выполнила просьбу, предупредив, что три месяца выписывать брата не будет.

— Вот тебе и «юва», — меланхолично сказал Шатров. — Воображаю, как ликовала!..

Поступить на завод Шатрову, однако, не удалось — разыгрался скандал и, разумеется, по вине Чеснока.

Как-то он вбежал в мезонин с видом сыщика, напавшего на след бандитской шайки.

— Дело ясное, ты жених!

— С чего ты решил? Почему так думаешь? Какое, наконец, тебе до этого дело? — взвился Шатров. — Пойми, как мне надоело...

Загнуп мизинец на левой руке, Чеснок сказал с прежней тайнственностью:

— Непьющий... Домосед... Стремится получить квалификацию, — значит, думает о будущем... Но... — На лице мальчика отразилось огорчение, но и врат Шатрову он не мог. — Но не добытчик... Хотя пойдут дети, за ум возьмется... Словом, Катьке купили батисту на белье.

— И это все? — Впервые за двадцать два года жизни Шатров испытывал такое бешенство.

— Конечно, Катька старше тебя, но это и к лучшему. Мама тоже старше отца.

— Убирайся! — Это было грубо, несправедливо грубо, но Шатров, как ни бился, не мог поступить иначе. — Я считал тебя умным парнем. Охота засорять мозги такой дребеденью!

К счастью, Чеснок забрался с ногами в глубокое кресло и не сразу оттуда вылез и, увидев, как Шатров, взявшись за голову, сделал круг по комнате, бормоча: «Уеду! Убегу!..», добавил:

— Уезжать никак нельзя. Тебя прописали постоянно для ордера. В августе отец получает квартиру в седьмом корпусе Второго микрорайона. На тебя полагается полная жилищная норма.

Шатров почувствовал свое ничтожество перед всезнающим Чесноком.

— Позволь, а дом? — И топнул ногою, чтобы показать, что дом-то вот он, под мезонином.

— Дом нужно успеть продать...

«Купец первой гильдии...»

Шатров истерически рассмеялся.

— Слушай, Чеснок, но ведь так жить нельзя! Согласен? Нельзя!

Мальчик выразительно развел руками.

Через день Шатров завербовался в научную экспедицию, а в какую — узнал лишь в пути.

Признаться, он робел, идя к дядюшке.

Захара Осиповича едва не хватил кондрашка, но он быстро пришел в себя, сообразив, что в экспедиции Шатрову прописываться не надо, — кочевник... Значит, в момент получения ордера он будет числиться постоянным жильцом. А осенью экспедиция вернется — это дело сезонное.

— Ну что ж, ну прекрасно... Свет повидать, себя показать! Да, да, встряхнись! Осенью что-нибудь придумаем.

Шатров надеялся, что Катя сделает круглые глаза и этим все обойдется, но девушка, вспыхнув, убежала, толкая боками стулья, и вдруг в спальне раздались судорожные, лающие рыдания.

Тотчас бесшумно подкралась Зинаида Петровна и прошипела за спиной Шатрова:

— Вероломный!

На цыпочках Шатров выскользнул из столовой. Конечно, Чесноку не разрешили бы проводить его, и, взвалив на плечо чемодан, Шатров отправился на вокзал, к вечернему поезду, которым головной отряд экспедиции уезжал в Соколинский район. Ему хотелось то смеяться: «Вероломный — ветроломный...», то ругаться, и он жалел себя, неудачника, и ликовал, что вырвался из-под опеки Захара Осиповича, что не станут ему докучать набеленные щеки Кати-Китти и скрипучий флюгер Зинаиды Петровны.

А вот расставаться с Чесноком — грустно.

Экспедиция исследовала в Синегорской области болота, лесные реки, озера, залежи торфа и сакропелита. Планы научных изысканий непрерывно менялись, и начальник партии профессор Воронин сорвал

голос, пытаясь из сельсоветов и правлений колхозов по телефону договориться с кем-то из министерства.

А Шатров был счастлив. Горожанин, впервые он увидел озеро с совершенно черной, неподвижной водой, похожее на ковш с застывшим чугуном, — ночные звезды не отражались в его бездонном мраке. А в ста метрах, за ветлами сияло синее озерцо, такое прозрачное, что можно было пересчитать на дне прошлогодние золотые, как червонцы, листья, и молодые березки с кудрявыми косичками нежной листвы стояли здесь на берегу, словно обнаженные девушки, расчесывающие после купания волосы. Деревенские мальчишки рассказали Шатрову, что в омуте у мельницы живет заросшая мхом щука с серьгой царя Алексея Михайловича в ноздре. Впрочем, никто из старожилов щуку не видел, — не довелось заметить ее и Шатрову... Барсук вышел на рассвете к палатке и опрокинул крынку с молоком. Жирных, мягких, как поросята, налимов Шатров ловил в ручье руками. Ночью он любовался звездным небом, пытался сочинять стихи, но из этой затеи ничего путного не получилось.

Недели через две пришло письмо от Захара Осиповича. Каллиграфическим молодецким почерком дядя писал, что ордер на квартиру получен и что Мише надо немедленно выслать ценным пакетом паспорт на предмет прописки; в скобках было указано — постоянной.

«Черта с два!» — сказал Шатров и паспорта не выслал.

В конце июля профессор уехал в Москву, затем пришла телеграмма: экспедиция перебазировается в Костромскую область. Именно в этот день завхоз Бурчалкин обнаружил, что лимиты на горючее исчерпаны до сентября. Пришлось поставить на прикол семь фуругонов. Сторожем оставили Шатрова.

Он сплел шалаш из березовых ветвей, набил сеном и зажил в полном одиночестве.

Как-то утром он брился, поставив зеркало на пень.

— Все-таки я ничего, — сказал он с лестной для себя снисходительностью. — Загар! И — глаза... Глаза тоже — ничего. Лицо волевое, мужественное.

Неожиданно в углу зеркала отразился насмешливый женский глаз.

Покраснев, Шатров обернулся.

Перед ним стояла босоногая, в синем сарафанчике девушка.

Глаза у нее были, как у кошки в полночь, зеленые, но ярче.

— Красивый, красивенький,— нараспев сказала она,— да уж куда красивее!

— Ладно, ладно, проходи,— буркнул Шатров, стирая полотенцем пену со щеки.— Ты что, доярка из Загорского колхоза?

— Во-во, знатная доярка Синегорской области,— кивнула девушка и без приглашения опустилась на траву, поджав под себя ноги.

— И орденом наградили?

— Не наградили, так наградят.

— Как звать?

— Аленой.

— Ты девка или баба?— Шатров окончательно распоясался.

— Баба,— еще покорнее ответила Алена, но вдруг от души рассмеялась.— Ты, парень, очень-то не хами, а то рассержусь! Я ведь постарше тебя.

— Постой, постой!— Шатров протянул руку.— Ты... вы... Вы дочь тетки Анфисы, у которой я молоко беру? Учительница в Синегорске? Приехали ночью, да? Извините,— искренне повинулся он.— Веду первобытный образ жизни, одичал!

— И в первобытном обществе были юноши воспитанные и парни-хамы,— улыбнулась Алена.— Охотно прощаю, готова и дальше быть на «ты», но вообще-то, Миша, с доярками будь осторожнее, девушки они деликатные, с семилетним, а то и средним образованием. Вот нынче как!

— Да, да, знаю,— смутился Шатров.

Он вспомнил внука тетки Анфисы, пятилетнего мальчика с нежным личиком, светловолосого, и, не подумав, уместно ли при первой встрече говорить о нем, воскликнул:

— Так это ваш сын!

— Мой, мой, не подкидывай, конечно,— с горечью сказала Алена и резко поднялась,— Пойду.
«Мать-одиночка».

Вскочив, Шатров предложил проводить Алену до деревни, но она сказала, что с детства знает здесь каждую тропку и не заблудится.

Подумав, она добавила:

— Пожалуй, я приду к тебе завтра. Ты мне нравишься! Зря корчишь из себя наглого красавчика, эдакую «грозу девиц». Ты же не наглый, а застенчивый.

Удар был нанесен с предельной меткостью.

— Из тебя донжуан не получится.

— Жондуан!— подхватил Шатров и глупо захохотал.

— Вот именно,— улыбнулась Алена и убежала, нырнула в густоватый хаос прибрежного кустарника.

Она сдержала слово, пришла, и окончательно сомлевший от скуки и одиночества Шатров почувствовал, что обрадовался ей.

Разгваривать с нею было легко, просто, а еще легче и проще — молчать, и они молча сидели с удочками над омутом, над тем самым омутом, в котором обитала щука с серьгой царя Алексея, но клев этим утром был плохой, и маленьких окуньков Алена бросала обратно в реку, приговаривая: «Гуляй, дурак, второй раз не попадайся», а когда жара допекла, предложила искупаться.

Она плавала совершенно бесшумно, высоко подняв над водою голову, и глаза ее горели дерзкими зелеными свечками. Плавала она голой, и это было так естественно, что Шатров долго не замечал ее наготы, а когда заметил — не удивился.

Она была красивая, вероятно, чрезвычайно красивая, но в этот день отъевшийся, облившийся Шатров сосредоточенно всматривался не в ее лицо, а в ее тело, облепленное вымокшим от влажной после купанья кожей легким ситцевым сарафанчиком.

Сына Алена отправила в понедельник с детским садом в Заозерье, и так же, как Шатров, с упоением занялась ничегонеделаньем,— каждое утро приходила

к шалашу, и они часами лежали на траве, читали одну книгу: «Будденброки» Томаса Манна, вырывая, передавая друг другу, странички, и купались, и ловили бреднем рыбу, варили уху.

Как-то Алена попросила:

— Расскажи мне о своем детстве, каким ты был, фантазером, наверно, страшным?

— Глупым,— засмеялся Шатров.— О чем же рассказать?... Да вот занятная история... Было мне лет двенадцать, жил у бабушки летом,— ее тоже нету на белом свете,— в деревне... Читал рыцарские романы. На чердаке штабелями лежали приложения к «Ниве», «Природа и люди», «Вокруг света»; таких журналов теперь нету. Подряд читал романы, исключительно исторические, о средневековье, и однажды приснилось мне, что в лесу, за озером, километрах в шести от деревни лежат развалины рыцарского замка. Как в кино увидел! До мельчайших подробностей... И в этих развалинах есть ход в подземелье, там хранятся доспехи, оружие Ричарда Львиное Сердце. Словом, утром я побежал в лес, обрыскал все овраги, облазил закоулки.

— И решил, что никакого замка не было!

— Э, учительница, логика не всегда годится!— с вызовом сказал Шатров.— Плакать-то я поплакал, конечно, но решил, что спутал приметы, забыл тропу и надо мне вторично увидеть тот же сон, чтоб все надежно запомнить и уже не сбиться с ориентира.

— Тебе-то еще приснится, а мне уж нет,— с досадой сказала Алена и ушла.

С нею так частенько случалось,— какая-то внутренняя судорога срывала с места, подталкивала, гнала, и она, не прощаясь, убегала домой.

Привыкнув к Алене, Шатров рассказал, на этот раз без ее просьбы, о жилищных неурядицах, о семье Вагиновых, о Чесноке, о том, как решили женить его на Кате-Китти.

К его огорчению, Алена не посочувствовала, не пожалела, а сказала с невозмутимым видом:

— Никто тебе не гарантировал полного благополучия в жизни! Снимешь угол в слободе у какой-нибудь пенсионерки, а через год дадут койку в завод-

ском общежитии, вот и живи, не ты первый, не ты последний.

— Так-то оно так, да книг жалко,— вздохнул Шатров.— Свалит их сестра в ванной, сгниют...

— Каких книг?

— От отца осталась библиотека, тысячи две томов, классики, собрания сочинений, ну и я собрал с тисчонку.

— Где же ты денег достал?— прищурилась Алена.

— Заработал!— И Шатров с обидой добавил:— Вижу теперь, Алена Семеновна, что вы типичная учительница,— людям не доверяете.

— Не знала, что это типичный признак... Вообще-то кое-кому доверяю!

— А мне почему не веришь? Я человек рабочий! Отличный чертежник, зарабатывал с девятого класса чертежами. Писал в клубе афиши о спектаклях, кинокартинах. А в техникуме летом мы собирали бригаду грузчиков, на пристанях работали. Сдельно!

— Ой, Мишка, это ж замечательно!— в неподдельном порыве потянулась к нему Алена, но спохватилась и погладила по затылку с чуть-чуть приметной небрежностью, как учительница гладит примерных учеников.

И Шатров почувствовал эту небрежность, откатился по траве.

— Воображаю, как тебя ценит директор школы!

— Ошибаешься, Мишка, ценят меня хулиганы-старшеклассники за справедливость, а директор ненавидит за строптивость и независимость.

— И за длинный язык!— быстро досказал Шатров.

— Не такой уж длинный, но ехидный,— согласилась, смеясь, Алена.

Так они день за днем то поругивались, то молчали, то купались, и зачастую им казалось, что они давно знают друг друга, до того привыкли.

Ненастным сереньким вечером Шатров опять занял, что осень близка, а он без прочного положения, без жилья, домой возвращаться противно, в Синегорске оставаться тоже не с руки.

Алена на него напустилась:

— Да ты гордись, гордись, что не добытчик, не лов-

чила, пока еще легок на подъем! Это я прикована к сыну, к матери.

--- Трудно?

— Хм, учительница, какой у нее оклад, а в деревне сын и мать. Слава богу, что мать здорова, работает в колхозе, меня же подкармливает посылками. Но я на алименты все равно не пойду, сейчас я сохранила собственное достоинство, развязавшись с этим во всех отношениях приличным человеком. Ясно?

Шатрову было не ясно, но он кивнул.

— Я кошка, которая ходит сама по себе. Помнишь сказочку Кипплинга?

Шатров не помнил, но кивнул.

— Жили в поселке у богатых хозяев коты и кошки, жирные, солидные, самодовольные, а на пустыре обитала кошка, которая была сама по себе. Тощая, голодная, с рваной шкурой. И никто-то ее не приголубит, не накормит, каждый норовит пнуть, обляять... А она счастливее всех, ходит сама по себе.

— Умная сказочка.

— Куда умнее! Ну, я пошла!

И, расстроенная, вероятно каясь в откровенности, Алена выпрямилась, медленно — со спины похожая на юношу — зашагала, будто с полными ведрами на коромысле, по тропинке.

Двадцатидвухлетний Шатров был удачлив в кое-каких делах и теперь удивлялся, что зря время теряет, и как-то, когда Алена пришла веселой, взбудораженной, вышел, хрустя валежником, к заливику, где она одевалась после купания.

— Ну, это, парень, совсем ни к чему! — Прикрывшись сарафаном, Алена обезоружила его насмешливой улыбочкой. — Зачем я тебе?... Пошалить захотелось, беги на торфоразработки, к торфушкам, те — девки беспечные, а я женщина томительная, смолою прилипну к твоему сердцу!

Шатров отвернулся.

— Может, мне такая и нужна.

— Врешь, врешь! — не сердито, это бы он понял, а опять-таки насмешливо крикнула Алена. — Вечная истома будет тебе от меня! Не выдержишь — бежишь!

У Шатрова хватило ума смириться с поражением, и через несколько дней у них установились прежние отношения, и Алена не напоминала о случившемся, но держалась настороже.

А в субботу, к вечеру, когда она уже собралась возвращаться в деревню, небо потемнело с быстротою космической и лес, река оцепенели в щемящей сердце тишине, внезапно туча раскололась огненным зигзагом, гром грянул не в вышине, а где-то в глубинах земных, и Алена взвизгнула, забилась в шалаш.

Ливень был такой плотный, сильный, что белая от пены вода в реке кипела, как молоко в кастрюле, а кустарник пригнулся к земле, и листья не шелестели, а гудели, как трубы..

Шатров влез в набитый сеном шалаш, здесь было темно, и он с трудом разглядел скорчившуюся, дрожавшую Алену. От сена, от березовой вянущей листвы струился густой сладкий аромат, как от бурлящего в медном тазу на таганке земляничного варенья, и вдруг глаза Алены вспыхнули зеленым огнем, и Шатров рванулся к ней, она ударила его со всей силы кулаком в плечо, но он не почувствовал боли, и она то ли всхлипнула, то ли засмеялась...

Гроза бушевала всю ночь, Шатров проснулся на рассвете, Алены не было в шалаше, но продолговатая глубокая вмятина в сене напомнила ему о ней, и он выпрыгнул из шалаша, словно надеялся догнать, вернуть, принести на руках, бросить в сено, чтоб повторилось то слепящее, как молния, безумство, тот неистовый поединок, то блаженное успокоение.

Земля курилась туманом, влажными испарениями, река будто покрылась молочного отблеска льдом и струилась в абсолютной тишине, и блаженное успокоение распаренной, усталой после ливня грозы, самозабвенно дремлющей земли было таким целомудренным, что Шатров долго стоял потрясенный, еще не догадываясь, как он повзрослел, просветлел этим утром, хотя это действительно с ним произошло именно этим утром, не раньше и не позже...

Алена не пришла днем, и, не вытерпев, Шатров побежал в деревню. Он принуждал себя идти размеренно, так, как ходил каждодневно за молоком,— в конце

концов, мужское самолюбие удовлетворено, черт побери! — а на самом деле бежал что есть духу по просохшей, но еще пружинистой под сапогом глинистой тропе.

Тетя Анфиса, в платочке, с иконописным лицом, с белесыми, как бы исплаканными глазами, не вынесла из сеней крынку с молоком, как обычно, а молча подала Шатрову письмо.

«Не сердись. Не ищи меня. Мне было хорошо с тобою...»

— А где Алена Семеновна?

— Уехала в город. Из школы пришла телеграмма.

И Шатров понял, что соврать так ей велела дочь.

Он почувствовал безмерное одиночество и с беспощадной ясностью сказал себе, что сегодня лишился умного, бескорыстного друга.

Но в чем же он-то виноват, Шатров?

В ларьке сельпо он купил пол-литра, то ли для порядка, то ли для того, чтоб оглушить тоску, а когда вернулся к шалашу, там сидели у костра завхоз экспедиции Бурчалкин и шофер Василий, и бутылку в руке Шатрова они приветствовали с восторгом.

— Вот это встреча так встреча!

Оказалось, что лимиты на горючее спущены, завтра-послезавтра приедут шоферы и погонят машины в Костромскую область, а профессор Воронин вызван в Тюмень на какую-то консультацию...

— Словом, обычная неразбериха!

— Словом, в Кострому не поеду, — сказал Шатров. — Так что давай расчет.

— А как тут с рыбкой? — По спокойному тону Бурчалкина было понятно, что Шатров ему в Костроме не нужен.

— Это я тебе достану и водкой угощу, а ты давай расчет полным рублем.

— Господи, да не сегодня же! — засмеялся Бурчалкин.

Вернувшись в сентябре в Синегорск, Шатров получил в окончательный расчет сравнительно крупную сумму денег. Однако положение его было плачевным,

И опять, как в июле, он сдал чемодан в камеру хранения, вышел на привокзальную площадь, но на этот раз не поехал трамваем ни к Жорке Селезневу, ни к дядюшке, а зашагал с опущенной головой по проспекту. Все-таки, когда тугой бумажник распирает карман пиджака, на душе спокойнее... Чувство это не ахти похвальное, но вполне простительное. Ему хотелось повидать Чеснока, он знал, что надо, обязательно надо искать Алену, но он бесцельно шагал, то и дело сталкиваясь с прохожими.

И у павильона «Соки — воды» он встретился с Жоркой Селезневым. Очевидно, в павильоне торговали не только натуральными соками и газировкой, потому что у выскочившего оттуда Жорки был счастливый вид, на ходу он дожевывал бутерброд. Одет Жорка был повсегдашнему небрежно, щеки заросли щетиной, — брился он ежедневно, но почему-то всегда выглядел небритым.

— Ну и на-а-ахал! Много я видел нахалов, но такого... — невозмутимо сказал Жорка, протягивая Шатрову липкую руку. — Куда ты задевался? Почему не поступил на мясокомбинат? Как ты посмел оскорбить святого человека Захара Осиповича? И вообще, какого рожна тебе надо? Женился бы на Китти.

— Разговаривать не желаю! — вскричал Шатров. — И какое тебе дело до моей личной жизни?

— Никакого дела нету, — кивнул Жора. — Ты прав — никакого... Да зайдем, выпьем томатного и потолкуем.

Нехотя Шатров пошел за ним.

— Люсенька, по стаканчику томатного, по бутерброду...

У буфетчицы было такое сытое наглое лицо, что ее на люди-то было выпускать непристойно. С заговорщицкой усмешкой она вздохнула:

— Ох, Жьёра, Жьёра!

Расстроенный Шатров не заметил, что наполнила она стаканы под прилавком.

Опрокинув залпом стакан, Шатров почувствовал, что от коньяка перехватило горло и глаза полезли на лоб.

Люсенька так и покати́лась со смеху, пристанывая:

— Ох, Жьёра, Жьёра!

— А ну тебя к черту! — рассвирепел Шатров и выбежал из павильона.

Все-таки его растрогало, что, догнав на тротуаре, Жора сунул ему в рот бутерброд с ветчиной.

— Закуси!

Овладев собою через минуту, Шатров спросил:

— Ты все там же работаешь?

— Инженер по монтажу на сто сорок шестом. И тебя устрою техником. Да поедem к Бородулину!.. Эка важность, диплом! Я сам без диплома, а ничего, фукирую...

То ли он наврал, чтобы приободрить Шатрова, то ли правду сказал, — поди пойми.

Бородулин только что вернулся из отпуска, подзагорел, окреп. Шатрова он встретил как давнего знакомого, но, учуяв острый запах коньяка, бросил на Жору укоризненный взгляд.

Жора в ответ мило улыбнулся.

— Общежития-то все равно нету, — предупредил Бородулин.

— У меня поживет! И кроме того, может высудить у дяди комнату, в ордере-то числится.

— Нет, нет, ни за что! — замахал руками Шатров, испытывая суеверный страх перед родственниками.

— У Захара Осиповича? — полубопытствовал Бородулин. — Нет, у такого не высудишь!

— Послушайте, давайте говорить о деле, — взмолился Шатров, испытывая отвращение оттого, что и Бородулин и Жорка знают всю подноготную о нем и, вероятно, о всех синегорцах.

— О деле так о деле, — согласился Бородулин. — Устроиться в монтажное бюро можно, но вопрос — за чем? Ну, зарплата приличная, командировки, премии, а дальше-то что? Молодой!.. Ты же хотел идти в новый цех рабочим. Понимаю, для чего сманивает этот фанфарон!.. Чтоб ты за него лямку тянул.

— Товарищ Бородулин! — загремел Жорка. — Друзья! Со школы! Какие подозрения!..

Стоя за креслом Бородулина, Жора угрожающе по-

казал Шатрову кулак: дескать, не соглашайся.. Но перед Бородулиным на столе лежало большое зеркальное стекло.

— Ты чего подмаргиваешь? Чего парня с панталыку сбиваешь?

— Знаете, какие там заработки! — взвыл Жорка. — А мы вдвоем закатились бы в командировку на Сахалин!

— Вот этого и боюсь, — пристукнул ладонью по стеклу Бородулин. — Пьянка. Беспорядочные половые связи.

— Решено, иду в цех, с голоду не подохну, — сказал Шатров.

— Молодец! — обрадовался Бородулин.

На улице Жорка сказал серьезным тоном:

— А в самом деле молодец, что не пошел в нашу шарашкину контору. Положим, житье у нас привольное, командировки по всему Союзу, ну и деньжата перепедают тому, кто умеет... Значит, замечано, живешь у меня.

— А соседка?

— Нет, Гавриловна добрая, очень добрая, это все из-за Петьки Севастьянова, жил у меня без прописки полгода, а в день его рождения мы надрались, песни горланили до рассвета, вот нам и припаяли пятнадцать...

— Знаю.

— Ничего ты не знаешь, просидели трое суток, прокурор опротестовал, потому что не было злостного хулиганства. Я и смотался в Барнаул!

— И меня бросил на произвол судьбы.

— Положим, в объятия Китти, — хихикнул Жора, но тотчас отступил на шаг: — Не буду, не буду...

Гавриловна и верно встретила Шатрова сердечно.

— Да живите, господа, столкуемся, но оформляйте прописку: я общественница ЖЭКа, член совета пенсионеров, я обязана следить за паспортным режимом...

В комнате Жорки, продолговатой, похожей на коридор, с единственным тусклым от пыли окном, стояла кушетка, прикрытая бухарским паласом, щеголевато

сиял новенький венгерский шифоньер («С премии,— объяснил Жорка,— знакомый завмаг навязал, а я был выпивши...»), но больше никакой мебели не было: ни стола, ни стульев.

Когда гости деликатно намекали, что жить без стола-стула вроде бы неудобно, Жора стойко защищался:

— Такова древняя традиция Востока! Низами, Навои, Омар Хайям, Физули возлежали на коврах, а что понаписали!.. Бессмертные поэмы.

Опустившись на кушетку, Шатров устало потянулся.

— Ладно, завтра привезу чемодан, стирать-убирать станет Гавриловна, но ты будь человеком, не исчезай, пока не оформишь прописку.

— Какие могут быть сомнения! — Жорка обиделся.

И вдруг Шатрова осенило спросить об Алене, — если Жорка осведомлен о всех без исключения синегорцах, о всех событиях синегорской жизни, даже незначительных, то, возможно, слышал о ней.

— Жора, а ты не знаешь... в одной из городских школ работает учительница Алена, в деревне с нею познакомился...

— Алена Семеновна? Ого! — И Жора ухмыльнулся. — Блудница!

— Что ты этим хочешь сказать?

— Я уже сказал! — Подняв вверх обе руки, Жора слезливо заныл: — Хорошо, ну хорошо, ты — идеалист, ты — романтик, а я таковым не буду и не хочу быть! Цацкайся с Аленой Семеновной, но ты заметил хоть, что она истеричка?

— Гм, вероятно, — против воли сказал Шатров.

— Возле тебя Китти, девственный кусок плоти, созданный для эротических безумств! Ха-ха! — Жора сел на пол, вытянул ноги и расхохотался, держась за живот. — Милый, я тебя люблю, к тебе привык, зачем нам ссориться, во вторник лечу на Сахалин, к сожалению, без тебя... Живи, живи, как хочешь, дубина!

— А кто был ее мужем? — стыдясь, что не в силах остановиться, спросил Шатров.

— Не знаешь? Не спросил?

— Да, не знаю. Да, не спросил.

— Ну даже при всех твоих странностях это рекорд глупости!.. Супруг ее был начальником областного ранга, коммерческий гений, Проваторов Геннадий Кузьмич, сейчас отбыл на Урал с повышением по должности.

— М-м-м...

— Не «м-м-м», а знай, что Морган, Рокфеллер щенки по сравнению с Проваторовым!

— То-то она от него и сбежала!

— Вот правда, святая правда,— с неподдельным уважением сказал Жора.— Все синегорцы видели, как ушла, бросив квартиру, дачу, машину, положенье, наконец, деньги, большие деньги. Ушла!.. С мальчиком в правой, с чемоданом в левой руке. И отказалась от алиментов. Наотрез!

И за эти искренние слова Шатров простил ему все ёрничество, всю болтовню.

Через неделю при активной помощи Гавриловны комната была приведена в порядок, сияла стерильной чистотою. Шатров купил стандартный — подешевле — стол, стулья, сказал себе, что здесь бог знает на сколько лет будет его «юва», его гнездо.

Он уже книги начал покупать, и по холодильному делу и новинки художественной литературы.

Вернувшись как-то с завода,— работать еще не начал, заполнял бесчисленные анкеты, приносил справки из поликлиники и прочее,— он лежал с книгой на кушетке, как дверь бесшумно распахнулась.

Шатров вздрогнул — Гавриловна никогда не входила без стука.

В дверях стояла Катя, бледная, очень бледная, но, пожалуй, от пудры, а не от волнения, исподлобья смотрела на него.

Шатров обрадовался:

— Катюша!

Просияв, Катя бросилась ему в объятия, вскрикивая громче, чем следовало бы:

— Противный!.. Замучилась!.. Исстрадалась!

В ответ на его единственный и, казалось бы, родственный поцелуй Катя усыпала Шатрова жгучими поцелуями, и он встревожился, осторожно усадил ее на кушетку, отошел в сторону.

— Катя, я должен сказать... Нам надо объяснить-ся... Поверь, я очень-очень хорошо к тебе отношусь, но ведь это... это отношения братские, дружеские,— запинаясь, не находя верных слов, начал Шатров.— Ты хороший человек...

Катя сделала круглые глаза.

— У нас установились нормальные дружеские отношения. И в конце концов, ничего другого-то не было.

— Нет, было.

«Господи, боже...»

— В парке ты меня поцеловал, обнял!

— Только-то! — Шатров с облегчением перевел дыхание.— Будто ты не влюблялась, не целовалась.

Катя с подозрением взглянула на него, ожидая подвоха.

— Значит, и меня забудешь, как забыла какого-то парня. И полюбишь другого юношу, он будет лучше меня, умнее, гм, красивее. Так ведь всегда бывает.

На лице Кати появилась уродливая гримаса.

— Мишка,— она всхлипнула,— среди тех людей, которых отец пускает в дом... А в нашем Пищеторге, ы-их! Я одна, совсем одна.

«И у тебя горе»,— подумал Шатров и простил ей многослойные пласты пудры на щеках и на носу, жеманное хихиканье, привычку делать круглые глаза. Как видно, несчастных в жизни куда больше, чем ему, беспечному, казалось так недавно, и умножать несчастья во всяком случае грешно.

— Катя, но не могу же я лицемерить!

— Кто тебя об этом просит,— шепнула Катя.— Ты не гони меня.

В коридоре что-то загремело, раздался испуганный крик, и в комнату ворвалась Зинаида Петровна.

— Какая идиотка поставила там ведро! — тяжело дыша, сказала тетя.

Оказалось, что Гавриловна не вынесла ведро с грязной после мытья полов водою.

Сбросив мокрую туфлю с ноги, Зинаида Петровна рухнула на кушетку, которую тотчас же перекосило.

Шатров пошел напролом:

— Значит, вы подслушивали?

— Не могла же я пустить Китти... наивную девушку, одну к молодому человеку! — убежденным тоном возразила тетя.

Шатров вспомнил рассуждения Чеснока:

«Конечно, Катя старше тебя, но это и к лучшему. Мама тоже старше отца...»

— Но вы подслушивали!

Зинаида Петровна бровью не повела.

— И ты собираешься жить в этом сарае? Вам же приготовлена роскошная комната.

— Кому это — вам? Мне и Чесноку?

— Предположим.

— А где Чеснок? — спросил Шатров, надеясь сманеврировать, переменить тему разговора.

— Где ему быть? Дома. Но ты не перешагнешь порога, если... Не увидишь моего сына! Он совсем от рук отбился. Дерзит!.. Ты оказал на мальчика растлевающее влияние.

«Тоже нашли мне растлителя! Захотел бы...»

Катя закрыла лицо руками, ее корчило от стыда и за себя и за мать.

У Зинаиды Петровны был в запасе последний козырь.

— Михаил, за что ты нам мстишь?

— Ну, знаете!.. — Шатров рассмеялся.

Шатров начал работать на конвейере, и оказалось, что книжных знаний у него избыток, а практических навыков не хватает, придется учиться, а кое в чем переучиваться, но он умел работать, любил работать и надеялся, что к весне закончит дипломный проект и выбьется в бригады, а это кое-что значит и в смысле квалификации и по части заработков. Он послал письмо в техникум, и ему ответили, что со стипендии его

сняли, но проект примут к защите, по-прежнему считают своим студентом.

«Чтобы статистику не портить», — понял Шатров.

Его неудержимо тянуло к Алене, и он знал, что живет она в микрорайоне № 4, что у нее комната на втором этаже, а две соседних занимает семья педагогов Преображенских. Он не представлял, о чем станет говорить с нею, он не чувствовал за собою никакой вины, но после такого досадного казуса с Катей чего-то панически боялся и убеждал себя, что виноват во всем.

Если он работал во вторую смену, то шел домой пешком и примерно минут десять первого подходил к ее дому и, прячась в деревьях сквера, глядел на свет в ее окне, и ему было и смешно и досадно, но когда по занавеске проплывала ее тень, то он говорил себе, что Алена его не забыла и, пожалуй, не забудет долго-долго.

Этот обряд не приносил ему успокоения, и оставалось ощущение, что он бередил подсыхающую рану, и когда свет в окне потухал, то он плелся домой, ругая себя за нерешительность.

«Воображаю, как Жорка высмеял бы меня!..»

А потом он вспомнил, как Алена однажды сказала, что глупые поступки обычно самые искренние, и решил не расстраиваться и ходить к ее окну до тех пор, пока ходится...

По воскресеньям к нему тайком забегал Чеснок, и так как Шатров запретил ему приносить домашние сплетни, то они часами играли в шахматы, а затем Шатров садился за учебники, а мальчик либо читал тут же, на кушетке, зарубежную фантастику, либо уходил в зимний бассейн, — его приняли в детскую школу плавания.

Поздней осенью, когда хлынули затяжные дожди, на Шатрова напало бесконечное уныние, он устал от одиночества, которым недавно наслаждался... Будни были набиты работой, учебой плотно, как заплечный мешок альпиниста вещами, продуктами, и распускаться не приходилось, но воскресным утром он понял, что либо сегодня же встретится с Аленой, либо убежит в Ярославль. Конечно, это не наилучший выход, это

самая откровенная глупость, но в Ярославле все привычное, устойчивое, он всех знает и его все знают, там можно тоже заняться холодильным делом, можно снять комнату у пенсионерки в слободке, перетащить книги от Татьяны... Уезжать все-таки не хотелось, и неудержимо тянуло к Алене, и он побежал к ней мириться, хотя они как будто не ссорились, или, наоборот, разругаться вдрызг. Он рассчитал, что в одиннадцать утра Алена дома,—деваться в такое ненастье некуда.

Она открыла ему дверь, на ней был простенький дешевый халат, из-под подола виднелся край длинной ночной сорочки, но лицо было ясным, не заспанным, влажным еще после умыванья.

Медленно выпрямившись, Алена сказала с неприступным видом:

— Пришел?

— Могу и уйти, если так встречаешь.

— Да нет, заходи,—так же раздельно произнесла она, показала на вешалку, велела стряхнуть дождевые капли с пальто, а потом провела в комнату.

И двигалась и говорила она теперь еще размереннее, чем в дверях, и Шатров не понял, что это напряжение, вероятно болезненное, спасло Алenu от взрыва отчаяния.

— Что скажешь?

— Ну, знаете, радушной хозяйкой вас, Алена Семеновна, назвать никак нельзя.

— Зато твою тетеньку можно,—отрезала Алена,—вот и катись к родне на воскресный пирог. У торговых деятелей пироги жирные, смачные... Что скажешь, спрашиваю?

— Мне без тебя плохо!—вырвалось с юношеской непосредственностью у Шатрова.

В искудалом лице Алены не дрогнула ни единая жилка, она посмотрела сначала в окно, потом на ветку рябины в вазочке и вдруг призналась со всегдашней правдивостью:

— Мне тоже плохо.

— Так чего ж!..—вскочил Шатров.

— Мишка, пойми,—она положила ладонь на гор-

ло,— пожалей, мне двадцать семь, моя песенка спета, я обожглась на богатом пошляке, на стяжателе.

— Но...

— Да, ты беден, ты не добытчик.

— Но...

— И ты не пошляк, сразу поняла, потому-то... Но подумай, кем ты станешь через пять лет, через десять? Не знаешь? А я-то знаю, какой буду через десятилетие.

Он глядел на нее и не смог представить ее постаревшей.

— У тебя, Мишка, все внове, ты так-эдак прикидываешь жизненные варианты, будто костюмы примеряешь в универмаге с большим выбором. Жизнь кажется беспредельной!

— Это ж слова, и слова бессмысленные! — возмутился Шатров. — Если нас тянет друг к другу...

— То-то и пришел через полтора месяца, — с усилием улыбнулась Алена.

Шатров опустил голову.

— Боялся.

— Меня?

— Именно тебя, злую, упрямую, сильную...

Алена кивала, охотно соглашалась, что она и злая, и упрямая, но не сказала, что год назад была доброй, уступчивой. Да, да, она сильная, а если плачет часто в постели, забившись головой в подушки, то ведь об этом никто не знает и никто не узнает.

У нее хватило выдержки расспросить гостя о дипломном проекте, о работе в цехе, о родственниках, она угостила его завтраком, вовсе не похожим на воскресные пироги тетюшки Зинаиды Петровны, а когда зашли соседи Преображенские и напомнили, что пора идти в кино, то пригласила Шатрова, — билет наверняка удастся купить с рук у входа.

Супруги Преображенские благовоспитанно шли шагах в пятнадцать впереди, чтобы не мешать, кстати, они обещали и билет купить, Шатров взял Алену под руку, и они зашагали по сырой дорожке бульвара, и прохожим было приятно смотреть на них — высоких, стройных, спортивного склада, и Шатров, чтобы не молчать, рассказывал содержание недавно прочитан-

ного романа Ремарка, Алена же читала эту книгу прошлой зимой и, слушая, думала не о герое романа, а о Мишке Шатрове, сумасбродном, необузданном, ко-тоый либо ее погубит, либо воскресит от мстительной замкнутости, от обиды на мужа, на весь белый свет...

Билет купили в последнюю минуту, успели разменяться местами, но Алена не торопилась очутиться в темноте рядом с Шатровым и посадила возле него Василия Андреевича Преображенского, тучного, с изысканными манерами старичка.

Шатров надул губы.

Фильм, что ж, фильм был воскресный, ибо воскресеньями люди спешат в кино не потому, что идет интересный фильм, а потому, что наступило воскресенье... И сегодня в фильме отечественного производства добродетель торжествовала, порок был бутафорский и рассыпался в прах при первом же натиске, несчастья проистекали из «пережитков мрачной эпохи царизма», и Шатров чувствовал, что эта стандартная кинопродукция оскорбляет его и Алену, их чувства друг к другу, полные страсти и отчуждения, нежности и злости.

Сеанс закончился, вспыхнули люстры, гулко захлопали сиденья стульев, вдруг Шатрову почудилось, что кто-то ткнул пальцами его в щеку, он обернулся, раздосадованный, — из директорской, самой почетной в «Ударнике», ложи в упор смотрели на него Катя и Зинаида Петровна; Катя — в слезах, тетушка — с ненавистью.

«Ничего уже не поделаешь», — оправдал себя Шатров, выпрямился и повел Алену к выходу.

Он пригласил ее в ресторан обедать, Алена сказала, что одета не по-ресторанному, но Шатров все-таки ее убедил: если они оба одеты не так, как одеваются синегорцы по воскресеньям, то такими пустяками надо пренебрегать... И действительно, официант взглянул на оживленное, сияющее зелеными сполохами глаз лицо Алены, а не на скромное платье, и провел их к уютному столику у окна.

— Знаешь, мне уже доложили, — смеясь, сказал Шатров, едва официант, приняв заказ, отошел, — дядя

Захар Осипович воскликнул в ужасе: «Сын врача и пошел в мастеравые!..» А ведь это слово удивительное — мастер.

— Не рановато ли тебе, голубчик, считать себя мастером? — педагогическим тоном спросила Алена, но тоже рассмеялась.

К счастью, ресторан в предвечерний час был чинным, оркестр еще не гремел зажигательными джазовыми мелодиями, танцы и скандалы не начались, и Шатров успел сказать Алене, что если б сегодня не застал ее дома, то сбежал бы в Ярославль.

— А я хотела в деревенскую школу перевестись, — неосторожно призналась Алена.

— Так мы бы и разбежались.

— Да, разбежались.

Они говорили о пустяках, то смеялись, то молчали минуту-другую, а зачарованный зеленым пламенем глаз Алены официант усердно потчевал их кушаньями, вероятно, вкусными, но они не различали вкуса; да, они говорили о пустяках, но за пустяками таился понятный обоим смысл. «Видишь, как нам хорошо, интересно вместе», — убеждал ее Шатров. Алена ж сопротивлялась: «Чем веселее пир, тем горше похмелье...»

Когда они подошли к дому, в окнах Преображенских уже не было света: супруги придерживались режима — рано ложились, рано вставали, считая, что в этом залог долголетия; черные костлявые деревья в сквере, вероятно, чувствовали, какие они безобразные без листвы, и старательно прятались во влажном тумане, отлакированный дождем асфальт тротуаров, мостовой отливал черным серебром, и вечерняя тишина наконец-то вытеснила из города гудящее бешенство грузовиков, самосвалов.

В подъезде Шатров настойчиво отвел руки Алены, расстегнул пуговицы и обнял под пальто, почувствовав силу и прелесть ее тела.

— И ты хотела убежать от меня!

— Да, да... Ты очень сердился?

— Как я мог сердиться! Я так благодарен тебе.

Он хотел сказать, что до встречи с Аленой жил в элементарном мире и сам был молодым челове-

ком элементарным, хотя, пожалуй, и симпатичным, но, узнав ее, он узнал, что в жизни есть что-то возвышенное, святое, попросту несоизмеримое с корыстолюбием, эгоизмом, подхалимством, и он начал было говорить об этом, но запутался и повторил:

— Я благодарен тебе, ты многому меня научила...

— Чему я могла научить тебя, гл-лупый!

— Ты меня научила, что самая красивая, самая умная кошка та, которая ходит сама по себе, драная кошка, тощая, но я не могу теперь от тебя отвязаться, ты вошла в мою жизнь страданием, раньше мне говорили, читал, а сейчас узнал, что любовь всегда страдание, горе, отчаяние...

Алена уловила, что слова эти книжные, когда-то прочитанные, запавшие в душу Шатрова и теперь пробудившиеся, но ведь не всем же мужчинам слова западают в душу, да и душа-то не у всех имеется. А Шатров произносил чужие слова с восторгом, как перво-рожденные, и потому сломил упрямство и упорство Алены, и она с упоением слушала его заклинания, его бред.

Так с Аленой никто не говорил, а она после разрыва с мужем со зла, с тоски грешила, хотя и не так часто, как думал Жорка, грешила безрадостно, истязаясь.

«Это ж безумие»,—хотела приструнить она себя, но уже было поздно,—она вела Шатрова по лестнице, отомкнула ключом дверь, втокнула его в темную кухню: посиди...

Через минуту она вернулась, и откуда-то издалека до Шатрова донесся ее усталый, как бы надтреснутый голос:

— Ох, Мишка, Мишка!

Он не понял; пьянящая ярость подтолкнула его к Алене, и она отступила на шаг, горько усмехнувшись:

— Ну сам посмотри.

В ее комнате было полутемно, и Шатров сперва ничего не разглядел, но почувствовал, что пахнет чем-то неожиданным, парным молоком, что ли, а через мгновение понял — ребенком, и увидел на кровати спящих тетю Анфису и мальчика.

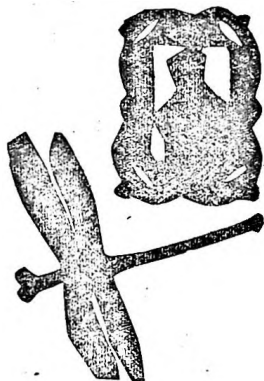
Протянув руки, как слепец, он доковылял до кухни, ему до слез было жалко себя, жалко Алену, потерянную, помятую, и он притянул ее к себе, но не яростно, как обнял бы минуту назад, и она забилась в рыданиях:

— О-о-о, Мишка, Мишка...

— Нам уже повезло, что не разбежались,— сказал он тоном старшего брата, а может быть, мужа,— самое трудное позади.

В этом он был неправ: самое трудное только начиналось.

— Я терпеливый,— сказал Шатров со всей твердостью, на какую был способен.



ВОЛКОВ

На двенадцатом километре к югу от Синегорска шоссе разветвлялось, и маслянисто-серый ручеек асфальта вливался в березовую рощу.

Там, изгибаясь, круто обтекая кущи деревьев, асфальтовый ручей скатывался с косогора и натывался на запруду — на полосатый шлагбаум.

У шлагбаума обычно сидел или расхаживал сторож дачного поселка Прохорович.

Это был хитрый старик с благообразной песочного цвета бородою.

И зимой и летом Прохорович ходил в засаленном полушубке и обшитых резиной валенках.

— А вот облак закрыл солнце, мне и не жарко! — объяснял он любопытным.

На полушубке Прохоровича висели два георгиевских креста за «ерманскую» войну и партизанская медаль. Недоброжелатели утверждали, что эту медаль Прохорович выменял в шалмане у инвалида за полбанки водки... Могло и такое случиться, но действительно после войны Прохорович приехал сюда из Белоруссии.

Кроме партизанских подвигов, о которых старик рассказывал с неопишемым красноречием, у Прохоровича был еще источник гордыни: он не скрывал, что пожилые домработницы некоторых дачевладельцев оказывают ему внимание...

Шоферы грузовых автомобилей, пассажиры автобусов — словом, проезжие и пешеходы, конечно, и не подозревали о существовании этого дачного поселка, шлагбаума, Прохоровича.

Не знал о них до поры до времени и Александр Иванович Волков.

Волков появился у нас в начале прошлого года.

Пригласил его к себе на работу Борис Петрович по рекомендации костромских приятелей.

Собственно, рекомендации в данном случае не имели решающего значения: Волков был опытным экономистом, знал до мельчайших подробностей сельское хозяйство нечерноземной полосы; он все понимал с налету и все запоминал.

К сожалению, Борису Петровичу — крупному областному деятелю по вопросам сельского хозяйства — не пришла в голову мысль выведать, почему в Костроме все расхваливали Волкова, а отпустили его из области с кипучей радостью.

Потом-то Борис Петрович понял, что это значило!..

При первой встрече Волков понравился Борису Петровичу, — был веселым, остроумным, легко и непри-

нужденно поддерживал беседу. Скромный костюм он носил со старомодным изяществом, недоступным нашим «стилягам», фантазия которых не поднимается выше цветного пиджака и узеньких, как бамбуковые тросточки, брючишек.

Удивило Бориса Петровича лишь одно: в разгаре делового разговора Волков неожиданно крупными шагами подошел к окну, взглянул на запорошенные, как бы обведенные нимбом деревья, и на его худошавом, некрасивом, с впалыми щеками лице появилось сосредоточенно-грустное выражение.

— Что там увидели?

— Как хорошо!

Борис Петрович не понял, подошел к нему, стал рядом.

Окно выходило в огромный тенистый «губернаторский» сад: до революции в этом здании жил губернатор.

Зимой сад был молчаливый, в волнистых, словно вылепленных из белого воска, складках сугробов, заштрихованных резкими линиями темных ветвей. Зима была медлительна, но терпелива и к январю развесила на каждом дереве кружева тончайшего вологодского плетения. А на телефонных и телеграфных проводах висели бело-синие хлопья, словно сохнущее подсиненное, хрустящее от свежести белье.

Весною сад нежно зеленел, и там пели птицы, и едва распутившиеся, похожие на ушные раковины листья чутко вслушивались в их песни. Зато осень являлась сюда с таким изобилием неправдоподобно ярких красок, что клены сразу же превращались в кудрявых парней в кумачовых рубахах, а рябины и березки — в тоненьких девушек в парчовых сарафанах, лишь холодные дожди спугивали их веселые хороводы.

Борис Петрович столь досконально изучил свой сад, что зачастую поражал посетителей замечанием, как бы случайным:

— В Шабаршихинском районе начались затяжные дожди! — И в ответ на изумленные взгляды собеседников добавлял: — Если во-он та сосенка, у забора, закуталась туманом, значит, в Шабаршихе дожди!

Но эти слова не свидетельствовали, что Борис Петрович знал свою область так же хорошо, как сад. Нет, он вовсе не знал ее... Были в ней и колхозы, и фабрики, и опытные сельскохозяйственные станции, и рудники. Был профессор математики, известный научными трудами своими в Москве куда обширнее, чем в родном городе. Был лирический поэт, печальные стихотворения которого уже три года подряд воинственно ругала местная комсомольская газета. Был великий колхозный животновод Агафья Захаровна Манефина, побывавшая в Дании, в Польше, в Китае и собиравшаяся теперь в Индию, куда Бориса Петровича не приглашали, да и не пригласят никогда.

Борису Петровичу казалось, что он интересуется этими людьми, но это только казалось. На самом деле он интересовался не ими, а очередной кампанией, проходившей в области: то весенним севом, то заготовками кормов, то ремонтом животноводческих ферм.

И этим кампаниям он отдавал свои далеко не заурядные душевные силы.

Сейчас, стоя рядом с Волковым и ничего не понимая в его настроении, Борис Петрович строго покашлял, как учитель, призывавший расшалившихся школьников к порядку, и бодро сказал:

— Думаю, что сработаемся! Статьи писать умеете?

Волков умел писать статьи, он был автором нескольких книг, и Борис Петрович поручил ему «набросать» для одной из центральных газет «статейку» о развитии в области животноводства.

«Черт меня дернул, не узнав человека, обращаться к нему с такими просьбами!» — раскаивался впоследствии Борис Петрович.

Недели через две статья была готова. Начало ее было написано действительно мастерски, и Борис Петрович уже предвкушал, как, бегло проглядев восемь страничек — размер стандартного газетного «подвала», — поставит в конце свою подпись.

И вдруг его так резанули по глазам слова: «В Шабаршихинском районе ушли под снег 1700 гектаров лугов...»

— Позвольте, что такое? — Борис Петрович растерянно заморгал. — Кому это нужно? Область выпол-

нила в пятьдесят восьмом году государственный план заготовки кормов. Выпол-ни-ла!

— План заниженный,— возразил Волков, приближаясь неизвестно зачем к окну. Пристально посмотрел он на синюю дымку снежных сумерек и громко втянул в себя воздух, словно всхлипнул.

— Заниженный или завышенный, это особый разговор,— сказал Борис Петрович, стараясь не волноваться, чтобы не нарушить строжайших предписаний доктора.— План государственный, утвержденный центром.

— А вы написали бы в центр, что подсчитали ресурсы и берете на пятьдесят восьмой новые обязательства!

— Спасибо, спасибо! — Борис Петрович привстал и с ироническим видом поклонился.— Нашли дураков! Мы этот-то план еле-еле выполнили впервые после войны. Впервые! Все жилы из себя вытянули!

— Оставив под снегом тысячи гектаров великолепных трав...

— Послушайте, Александр Иванович, с Шабаршинским районом будет особый разговор!.. Сейчас речь идет о статье. Зачем в моей, подчеркиваю, моей статье приводить подобные факты? Это не типично! Кому это нужно? Целиком признаю значение критики и самокритики, но всему ж есть границы.

— С чего вы решили, что статья ваша? — с издевательской наивностью спросил Волков.

Борис Петрович порывисто перелистал страницы: подпись «экономист А. Волков».

— Час от часу не легче! Я ж просил... Ну, подготовить, набросать черновик, первый вариант моей статьи. Я загружен, вечером еле стою на ногах! На дня три-четыре заседания. Центральная газета обратилась с просьбой. Нам предоставлена возможность выйти на всесоюзную трибуну. И наконец, это важно в смысле обмена передовым опытом!

— Хорош передовой опыт! — фыркнул Александр Иванович.

— Конечно, конечно, если вытаскивать на свет божий мелкие нетипичные фактики, единичные примеры, то можно извратить всю картину...

— Так пусть и пишут статьи те, у кого есть действительно передовой опыт.

— Но моя задача — обобщить достижения в масштабе области! Не всякий предколхоза способен дать глубокий анализ.

Холодным взглядом измерив Бориса Петровича с ног до головы, Волков сказал:

— А я-то надеялся, что вы поможете мне написать острую, принципиальную статью!

— Ну, поехало! Еще скажете, что я человек не-принципиальный.— И Борис Петрович разочарованно взвздыхал.— Не думал я, что мы не столкнемся!

— Я тоже не думал.

После ухода Волкова Борис Петрович несколько минут молчал, кряхтел, сопел, а затем вызвал Калерию Власовну.

Щеголеватая, надменная с мелкими служащими, Калерия Власовна (те в отместку прозвали ее «Халерией») была идеальным безличным личным секретарем, она как бы полностью растворилась в своем начальнике, смотрела на все глазами Бориса Петровича, говорила его словами, думала так же или примерно так же, как он.

Она обожала Бориса Петровича за власть, за право распоряжаться, давать руководящие указания, хвалить, распекаль, премировать и увольнять. Ей нравилось, как на заседаниях Борис Петрович раздельно, громко, гневно восклицал: «Эт-то черт знает что т-такое!», обрушиваясь с уничтожающим сарказмом на какого-либо председателя райисполкома, провалившегося в данную декаду мясopоставки.

Калерия Власовна восхищалась его барством, его изнеженностью, всеми его привычками, она потакала малейшим его прихотям. Считая вполне естественным, что Борису Петровичу приносят завтрак в кабинет, сама Калерия Власовна отправлялась в столовую и стояла там в очереди у кассы. Она знала, что каждый час на стол начальника нужно ставить стакан чая, а если Борис Петрович занят разговорами, следует бесшумно унести остывший чай и принести так же бесшумно другой стакан — горячего.

И потому, увидев, как Борис Петрович, крупный,

представительный, в синем, отлично выглаженном костюме, быстро рассказывал по кабинету, Калерия Власовна мгновенно догадалась, что ее начальник чем-то сильно расстроен.

— Трегубова! Немедленно!

Никита Трегубов работал у Бориса Петровича референтом лет пять и отличался не только преданностью, но и лютыми запоями.

После очередного запоя Борис Петрович переводил Никиту на должность младшего статистика с зарплатой триста шестьдесят рублей, а затем постепенно возвышал до прежнего оклада.

Узнав о теме статьи, Трегубов оживился, морщинистое, с бесформенно-красным носом лицо его так и засияло.

— К понедельнику сделаю. За основу, Борис Петрович, я возьму вашу прошлогоднюю статью из «Совхозной газеты». Свежих положительных фактов у меня до черта!

— Действуй! — одобрил начальник, а когда Никита попятился к дверям, остановил его: — Подожди! Скажи Калерии Власовне, чтоб приготовила приказ: Волкова в командировку. Дней на двадцать. В Гусятинский район.

Гусятинский район расположен в 180 километрах от железной дороги, и поездка туда в мартовские метели и вьюги, когда дороги замело, была сущим наказанием.

Понятно, что служащие по сигналу Калерии Власовны Бауман смекнули, что между начальником и новым экономистом сразу же пробежала, как говорится, черная кошка.

В районной гостинице, или, вернее, в доме для приезжающих, посередке широкой низкой комнаты с заросшими льдом окнами стояла железная печурка, а вокруг веером — колченогие кровати, покрытые серыми одеялами.

Вьюжными вечерами, когда ветер швырял в стекла пригоршни сухого мелкого снега, сотрясал тополя в палисаднике, гремел полуоторванным листом железа

на крыше, около печурки собирались командированные в Гусятинский район служащие различных центральных и областных учреждений и, подбрасывая в бушующее жерло щепки, курили, беседовали о наиболее интересных событиях местной жизни.

Однажды в субботу все командированные отправились в кино смотреть какой-то модный заграничный фильм, и Александр Иванович Волков, обрадовавшись, что соседи сегодня не станут мешать ему разговорами, решил наконец-то привести в порядок свои дорожные записи и набросать черновик статьи в областную газету.

Но вскоре после того, как он, сдвинув в сторону стаканы и тарелки, разложил на столе потрепанный блокнот, две школьные тетрадки, карандаш, в сенях раздалось покашливание, шарканье валенками, и в комнату вошел, стряхивая на ходу снег с полушубка, старик Чеглоков.

— Не помешал? — спросил он, отворачивая высокий меховой воротник и показывая почерневшую от мокрого снега бороду и румяные щеки.

Александр Иванович хотел ответить: «Да, помешал», но, догадавшись, что Чеглоков, один из старейших зоотехников области, по пустякам беспокоить не станет, радушно сказал:

— Милости просим!

Пока Чеглоков снимал полушубок, сбивал веником снег с валенок, отфыркивался, борода его высохла и опять побелела, а румянец потускнел, как бы слинял, лишь на висках остались круглые, как ржавые пятна, красные пятна.

— Нуте-с, Александр Иванович, требуется ваше авторитетное заключение.

— Тоже мне нашли авторитет!

— Авторитеты, уважаемый Александр Иванович, бывают различные — служебные и морально-интеллектуальные.

— Ах, вот как!

С полчаса Волков и старик читали вслух, правили, редактировали брошюру Чеглокова о содержании крупного рогатого скота в нагульных гуртах.

Затем Александр Иванович прикрыл ладонью ру-

копись, утомленно прищурился и сказал ворчливым тоном:

— Все это, Сергей Сергеевич, прекрасно, брошюру вы сочинили толковую; если разрешите, то я ее на досуге подчищу. Доведу до полного ажюра!.. Но скажите-ка мне, для чего вы рекламируете цыгя, как богатого жениха? Есть же у вас,— по привычке Волков говорил «у вас», а не «у нас»,— синегорский баран, мясо-шерстный, крепкий, плодovitый! Столетиями создавалась для заболоченных мест именно эта порода, а вы на старости лет..

Пока Волков сердито говорил, машинально двигая взад-вперед по столу шуршащую бумагу, старик, не поднимая глаз, молчал, прерывисто, тяжело дыша.

И когда Александр Иванович тоже замолчал, как бы обессилев, в комнате слышалось лишь сиплое учащенное дыхание Чеглокова

— План,— с усилием сказал Сергей Сергеевич.

— План— это люди. Точнее, точнее.

— Известный вам Борис Петрович.

— Вот так понятнее. Вы ему о копытнице говорили? Писали? Ведь пастбища-то здесь мокрые!

Старик проворно дрожащей рукою вытащил из бокового кармана пиджака пузырек с валидолом, лизнул несколько раз кончиком языка вынутую пробку и, отдышавшись, сказал:

— В наших палестинах вы, уважаемый Александр Иванович, человек новый и, разумеется, не знаете обстоятельств моего отъезда из Синегорска. Моего таинственного исчезновения,— язвительно подчеркнул Чеглоков,— из Облсельхозуправления.. А вы бы почитали речь Бориса Петровича: стенограмма осталась. Документ весьма любопытный! Поставлено мне в вину противоборствование государственному планированию. Ну-те-с!..

Быстро почесав ногтем за ухом, Волков с досадой сморщился. Ему хотелось посочувствовать старику, но все же Александр Иванович подавил возникшую в душе жалость.

И даже когда Чеглоков, поднявшись, свернул аккурatной трубочкой рукопись, Волков сказал то, что обязан был сказать:

— Сейчас говорю не о Борисе Петровиче, а о вашей принципиальности!

— Засим прощайте!

— Всего наилучшего.

Он чувствовал, как оскорблен старик, видел, что Чеглоков надеялся найти в нем, Волкове, единомышленника, друга, но упрямо, с вызывающей невозмутимостью следил, как тот застегивал полушубок на все крючки, нахлобучивал треух, добывал из карманов шерстяные крупной вязки варежки.

Дверь распахнулась с визгливым скрежетом ржавых петель, пахнуло холодом по ногам, и в темных сенях лишь мгновение светлел зажатый Чеглоковым под мышкой сверток бумаги, похожий на восковую свечу.

Лишь после этого Волков, взявшись за голову, обошел несколько раз потухшую печурку. Ему было и стыдно и мутно, а кривить душой все же не хотелось: Александр Иванович знал, что если хоть раз пойдет на попятный и скажет тому же Чеглокову: «Велят, так рекламируйте! Мое дело — сторона», то никогда такого малодушия себе не простит. Да и ему никто не простит.

Рывком, так, что воротник затрещал, сорвав шубу с вешалки, он набросил ее на плечи и выбежал на улицу, сразу же увязнув в наметанном у самого крыльца сугробе.

По широкой плоской улице летели, приплясывая, вскидывая вверх узкие языки как бы белого пламени, снежные вихри. Они закручивались вокруг одиноко стоявших деревьев, цепляясь за кору, налипали ватой на стволы. Ударившись с налета в глухие стены домов и амбаров, они рассыпались серебряными брызгами. Они раскачивали язык висевшего у пожарного депо колокола, но мигом уносили дребезжащий трезвон в огороды, в поля, и на улице было тихо, так тихо, что Александр Иванович услышал натруженное дыхание Чеглокова, через силу бредущего по вязкому снегу.

Волков с разбегу угодил в занесенную до краев канаву, зачерпнул валенками снегу, выкарабкался чуть не на четвереньках и пустился вдогонку, крича во все горло:

— Серге-е-ей Сергеич! Се-е...

Облепленная влажными хлопьями спина Чеглокова кольхнула, но он не приостановился.

— Се-е-е...

Ухватившись, как за придорожный столбик, за широкое плечо старика, Волков сбивчиво сказал:

— Сергей Сергеевич, простите, я не хотел вас обижать. Простите!.. Вы не имеете права сдаваться — вот что главное. Пока вы принципиальны — вы всесильны!

Чеглоков содрал с бороды снеговую корочку, подышал в самое лицо Александра Ивановича и вяло произнес:

— Сделал все, что мог. Не слушали!

— Даже здесь, в районе, вы сильнее Бориса Петровича, — продолжал взволнованный Волков. — Сильнее опытом, знанием жизни, поддержкой народа, наконец. Будем делать свое дело, черт нам не брат!.. Обойдемся без цигаев, без речей этого шаркуна. Я всегда ваш помощник, — руку!..

— Устал, устал, — вздохнул Чеглоков, болезненно мигая белыми от инея ресницами, словно собираясь заплакать.

— Это минутная слабость. Пойдемте, я провожу вас. Завтра сообща продумаем тактику, у меня есть кое-какие наметки, и со всеславного Бориса Петровича перья посыплутся! — свирепо закончил Волков, беря старика под руку. — Как же я-то не унываю, хоть меня выгоняли со службы бесчисленные разы?

— Молодость.

— Была, да сплыла. И у меня на носу старость, — с насмешливой меланхолией признался Волков. — А сдаваться нам рано, рано, уж я-то знаю, мы еще справимся с Борисом Петровичем, восстановим былую славу синегорской породы!

Чеглоков жил неподалеку, и через несколько минут, сдав окончательно раскисшего старика квартирной хозяйке, пообещав зайти раненько утром, Волков опять, теперь уже одиноко, зашагал по улице, упрямо наклонившись против крепнущего ветра.

Вьюга не унималась; то светлело, словно близился рассвет, то темнело, и по мгlistому небу пробегали черно-сизые тени, и ответно подергивались траурной каймою дымящиеся сугробы.

Несколько раз проваливаясь по пояс в канавы, в рытвины, Волков кое-как добрался до гостиницы.

Сквозь двойные оконные рамы было слышно, как переговаривались, закуривали, звякали ложками о тарелки, укладывались спать вернувшиеся из кино командированные. Александру Ивановичу не захотелось выслушивать впечатления о модном заграничном фильме, и он, выбрав на дворе уютный уголок, стал там в затишке, прислонился к забору, задумался.

Он не смел осуждать Чеглокова, он ясно представил, как много перетерпел старик за последние годы, как мучительно было ему разглагольствовать о цигаете, нужном Борису Петровичу для статей и отчетов и не нужном вовсе синегорским колхозникам.

«Молодость», — вспомнил он слова Сергея Сергеевича и усмехнулся с мудростью снисходительной. Молодость миновала, ее не остановить, тут ничего не поделаешь, тут бессильны и жалобы и мольбы. Но Александру Ивановичу не хотелось наедине с собою кокетничать преждевременной старостью, он знал себе цену, хотя ни кичливости, ни хвастовства в нем и в помине не было.

Вьюжка уже намела у его ног ворох сыпучего снега, запорошила плечи и спину. Одноэтажные домики, придавленные сугробами, сделались еще непригляднее, еще приземистее, словно медленно опускались в снеговую трясину. В окнах потухали огни. Теперь уже ничего не слышалось, кроме шороха и бормотания ночной непогодицы.

«О, тише, тише, бегите, кони ночи», — прошептал Волков стих Овидия, дерзко встряхнул головою, отчего с шапки посыпалась сухая крупа, и дернул забухшую дверь.

Приезжие могуче, нестройно, многогласно, словно испорченный орган, храпели, в воздухе хоть топор вешай, но Александр Иванович был неприхотливым, умел со смиренной радостью принимать дары кочевой жизни: чистую постель, теплую комнату. Быстро раздевшись, аккуратно сложив одежду на табуретке, Волков нырнул под одеяло, закрыл глаза, и через минуту в органе засвистела еще одна труба, едва ли не самая пронзительная.

...После партийного собрания Волков и Тихон Андреевич Зайцев, секретарь партбюро, низкорослый, чернобородый, похожий на старообрядческого начетчика, условились поужинать в ресторане.

У Зайцева захворала жена, ее увезли в больницу, детей забрала тетка, и Тихон Андреевич волей-неволей перешел на холостяцкий быт. А Волков вообще жил бобылем и питался в столовках и «живопырках».

Собрание продолжалось без малого шесть часов, было бурным, зачастую слепым, с «фактическими справками», выкриками с мест. Недавно член партбюро Круглов уехал на учебу в Москву, и было решено провести довыборы, но едва в зале раздались голоса: «Волкова!.. Волкова!» — Борис Петрович предложил перенести данный вопрос на следующее собрание ввиду позднего времени.

И Зайцев поддержал его.

Думая каждый о своем, Волков и Тихон Андреевич молча дошли до ресторана «Волжанин», молча поднялись на второй этаж; старик швейцар трясутимися руками снял с них пальто, а номерка не дал, сказав учтиво:

— Запомню.

В тускло освещенном зале было безлюдно, одинокие посетители как бы по застенчивости прятались за растущие прямо из тарелок пальмы. На пустой эстраде пианистка, зажав ладонями тугие щеки, сосредоточенно читала растрепанную книгу, поставив ее на пюпитр, как ноты.

— Тебе чего заказать? — спросил, усаживаясь, Зайцев.

— Да все равно, хоть битки по-казацки.

— Это, брат, пиш-ша дневная, а в ресторации вечером надо под селедочку да соленый огурец заказывать графин, потом бифштекс, — с видом знатока заметил Зайцев, хотя по ресторанам ходил в случае крайней необходимости и обожал домашние суточные щи с гречневой кашей.

Отпустив официанта, он обеими руками сжал бороду, словно хотел оторвать ее, как актер после спектакля, и, глядя смеющимися глазами на Волкова, сказал:

— Оказывается, ты, Александр Иванович, озорник. Не ожидал! Форменный озорник! Начудил со статьей! Ославил нас на всю матушку Россию.

— Еще не то вам поднесу,— улыбнулся Волков, упираясь острыми локтями в скатерть.— А чем вас, озверелых канцеляристов, иначе примешь?

Пока Волков кочевал по Гусятинскому району, авторитетная центральная газета напечатала его корреспонденцию: «Что скрывается за средними цифрами», а статью Бориса Петровича вернула «ввиду бессодержательности».

Читая корреспонденцию, синегорцы то с восторгом, то с ужасом восклицали: «Вот так наворотил!»

На эстраду вышли музыканты; пианистка с кислым видом захлопнула книгу; через минуту оркестр заиграл так оглушительно, что разговаривать стало невозможно.

И Тихон Андреевич, по-прежнему крепко сжимая бороду, вспомнил, как на только что закончившемся собрании Борис Петрович настаивал, чтобы в резолюции было указано на клеветнические тенденции в корреспонденции Волкова, на попытку «дискредитации руководства», а никто с ним не согласился, и— вот поди ж ты!— чуть упомянули о довыборах, раздались предложения избрать в бюро именно Александра Ивановича.

«Ореол, что ли, от тебя исходит?!» — удивлялся Зайцев, чувствуя невольную симпатию к нему и одновременно раздражаясь, что этот без году неделя перебравшийся в Синегорск умный, слов нет, но слишком уж ершистый экономист опозорил учреждение, в котором Тихон Андреевич не щадя себя работал несколько лет.

А Волков, отхлебнув из рюмки противно теплой водки, думал, что жизнь, видимо, однообразна и что он уже не раз встречал таких, как Борис Петрович. И что самое-то неприятное! — ведь подобные Борису Петровичу начальники по-своему внутренне честны, искренне убеждены в целесообразности и необходимости своих поступков.

«Что мне с вами: делать, товарищи? — подумал с комической наивностью Александр Иванович.— Как

это отучить вас от вельможества? Из своих отчетов, сводок, докладных вы возводите бумажные плотины. Берегитесь! Весенний паводок все сметает, все!»

Он вспомнил, как перед самым отъездом в Гусятинский район принес Онищенко, заместителю Бориса Петровича, докладную о строительстве животноводческих ферм в колхозах области. Эту докладную переделывали, согласовывали, визировали месяца два, такие документы здесь обычно называли «бодягой», и Александру Ивановичу поручили связать в ней концы с концами, привести, как говорится, в «христианский вид», чтоб не стыдно было послать в обком и в министерство.

У Онищенко пошаливало сердце, он плохо выпался, думать ему не хотелось, с тоской он поглядывал на словно пристывшую к циферблату часовую стрелку, мечтая уехать поскорее на дачу и отлежаться там. Приняв от Александра Ивановича бумагу, Онищенко хмуро спросил:

— Ну, все в порядке? Можно не читать?

— Воля ваша,— пожал плечами Волков.— Лично я свои материалы после машинки перечитываю.

— Ну, то вы...

Онищенко прочитал начало, заглянул в середину, ознакомился с выводами, глубокомысленно промышчал: «Добре!..»— и поставил на полях свою визу:

— Молодец! Вот так бы все работали! Неси Халери!

Минут через двадцать курьер доставил пакет в обком: ведь Борис Петрович, взглянув, по обыкновению, на визу своего заместителя, с легким сердцем поставил подпись.

«В следующий раз вкачу вам в докладную самую неприличную новеллу из «Декамерона»,— решил Александр Иванович.

Музыка стихла так же внезапно, как и началась, и Зайцев быстро спросил:

— Почему ты не опротестовал командировки? Ведь всем было ясно, что это в наказание.

— Господи!— Волков был удивлен.— Рад-радешенек ездить!.. В районах хоть с умными людьми встре-

чаюсь. Это вас надо палкой, как свиней из огорода, выгонять в командировки.

Зайцев поморщился.

— И я не раз был в Гусятинском районе.

— Быть-то был, да очковтирательства с яловыми коровами не заметил!— сказал Волков и закрыл при этом ладонью свою рюмку, потому что Тихон Андреевич вторично потянулся к графинчику.— Нет, спасибо, я ведь только балуюсь... А Гусятинский район— перспективный, люди там талантливые, насмешливые. Над твоим приятелем...

— Какой он приятель!— смалодушничал Зайцев.

— ...над твоим приятелем издеваются напропалую. Тысячу триста восемнадцать циркуляров за подписью Бориса Петровича в прошлом году получили. Где уж тут их читать— подписывать-то рука отсохнет! А во всем виноват ты!— добавил Александр Иванович.

Зная, что Волков пока что живет в общежитии Обл-исполкома, Зайцев хотел на лето, когда семья уедет в деревню, пригласить его к себе: и веселее вдвоем, и дешевле... Ему казалось, что с Александром Ивановичем он прожил бы лето не только весело, не только дешево, но и счастливо. Но сейчас— минута за минутой— в Зайцеве нарастала неприязнь к Волкову, оттого что тот совал, как говорится, нос во все щели и всех поучал и наставлял.

— Позволь, при чем я? Ты намекаешь, что я секретарь парторганизации?— Зайцев начал сердиться.

Неожиданно к их столу подошел, вытирая салфеткой жующий рот, Васютинский, инспектор по кролиководству; ни Зайцев, ни Александр Иванович до сих пор не замечали, что он в ресторане.

Блики света от люстры вспыхнули в его выпуклых очках.

На сегодняшнем собрании Васютинский то подобострастным смешком, то одобрительными выкриками поддерживал все выступления Бориса Петровича.

— Все насмешничаете?— спросил Васютинский, глядя в упор на Волкова.— И чего вы насмешничаете? Ходят и насмешничают!

— Разделение труда,— серьезно ответил Волков,

вставая.— Вы всем восхищаетесь, я насмешничаю, вот и получается равновесие!

Рассмеявшись, Зайцев тоже встал, бесцеремонно повернул Васютинского и, несильно ткнув его кулаком между лопатками, велел:

— Уходи, уходи!

К удивлению Александра Ивановича, кроликовод покорился и медленно поплелся в угол, к столику, жестикулируя и бормоча что-то, как бы продолжая разговор сам с собою.

Опять загремел, загрохотал оркестр, и все посетители инстинктивно согнулись.

И Зайцев, тоже пригнувшись, почти касаясь подбородком скатерти, подумал, что с Гусятинским районом не миновать скандала. Сейчас на собрании Волков рассказал, что в тамошних колхозах числили малоудойных коров яловыми. Додумались!.. Удой с двух-трех коров, следовательно, записывали на одну и наплодили эдаким манером «рекордсменок» с феноменальными удоями, о которых и мечтать не смела знаменитая Агафья Захаровна Манефина. А Борис Петрович, естественно, отрапортовал в центр. Крупные премии получили, благодарности. Ох, как скверно, как нудно!

А Волков, отодвинув тарелки и ковыряя спичкой в зубах, думал о Чеглокове, о цыгаях и собирался завтра же написать письмо старику, утешить его, взбодрить, а потихоньку в ближайшие недели собирать материалы о животноводстве и выступить с дельной статьей.

«Тут у нас со стариком все шансы на успех»,— решил он.

Музыканты потянулись с эстрады, а пианистка опять уткнулась в роман.

— Пошли,— предложил Александр Иванович. И, уже вставая, добавил осуждающим тоном:— А ты бы ушел из секретарей, если не хочешь ссориться с Борисом Петровичем. Честнее!.. Нынче ты всегда спасаешь его, хотя бы потому, что надо ведь и себе самому оправдаться. Ты что, не знал о погибших Шабаршихинских лугах?

— Ну, знал,— поведя бородою из стороны в сторону, признался с неохотой Зайцев.

— Сегодня бы надо на собрании зачитать подряд статьи, и мою, и Бориса Петровича. Вот это была бы заправка для актуальной дискуссии. А вы зачем-то закатили академический доклад о весеннем севе. На два часа! А почему выгнали старика Чеглокова, ты тоже знаешь? Ага, молчишь, молчишь!

— Пошли, пошли,— махнул рукой Зайцев.— Первый час уже, все равно не договоримся.

На улице было сыро, трамваи уже не ходили, с крыш размыренно падали маслянисто-блестящие тяжелые капли. И мокрые тротуары, и трамвайные рельсы, и стены домов неуютно блестели в свете фонарей, и казалось, что на озябший, отсыревший город накинут клеенчатый плащ.

Зайцев и Волков подняли воротники и, съежившись, зашагали.

Вдруг из-за угла вылетел и со все возрастающей скоростью по пустой площади промчался автомобиль; рядом с шофером сидел юноша, а на заднем сиденье — Борис Петрович и какая-то женщина.

— Покатили за шлагбаум,— вырвалось у Тихона Андреевича.

— Шлагбаум?— заинтересовался Волков.

Раскаиваясь, что проболтался, Зайцев с насмешливым видом рассказал и о дачном поселке, и о шлагбауме, и о Прохоровиче.

— Занятно!— хмыкнул Волков, пожелал Зайцеву спокойной ночи и, придерживая рукою край черной шляпы, побежал через площадь.

Сдувая с бороды ртутные капельки влаги, Тихон Андреевич поплелся к дому, размышляя, надо или не надо было сказать Волкову, что уже готов приказ о его новой командировке в Гусятинский район на весь май. Н-да, с Борисом Петровичем шутки плохи!.. В конце концов, следует кого-то послать уполномоченным на весеннюю посевную: традиция такая... Глупая традиция, конечно, но непрекаемая. Почему бы не поехать Александру Ивановичу? Доверие, ответственность и прочие фу-ты ну-ты, на которые Борис Петрович великий мастак.

Однако, укладываясь в постель, Тихон Андреевич почувствовал, что у него муторно на душе, и с досадой крикнул:

— Эх, скверность!

А в это время зычный рожок лоснящейся от сырости легковой машины вызвал Прохоровича из сторожки. На заднем сиденье дремал утомленный Борис Петрович. На всякий случай старик снял кепку. Заскрипел шлагбаум. Приехали!

Над березовой рощей, в просвете между тучами, очень низко висела медно-красная луна, похожая на нежаркое полярное солнце.

Через несколько дней, за завтраком, Борис Петрович поссорился с женою и сыном.

Внешне завтрак проходил вполне благопристойно и мог бы явиться находкой режиссеру очередного бесконфликтного фильма: большая столовая, обставленная высокой и по ценам и по качеству мебелью, потоки света, льющиеся сквозь кружевные занавески, сердечная, дружная семья.

А на самом деле и Борис Петрович, и Людмила Алексеевна, и Владик изо всех сил старались скрыть, что они надоели друг другу и говорить им не о чем.

Борис Петрович грыз сухарик, читал «Жана Кристофа» и поддерживал беседу ничего не значащими восклицаниями: «Ага», «Конечно», «Вполне согласен». Жена, в темном платье, с ниткой кораллов на шее, несуетливая, ровная в обращении и с сыном, и с Борисом Петровичем, и с домработницей, разливала из серебряного кофейника кофе.

Владик в сером ученическом, ловко сшитом кителе был похож на актера, исполняющего разнохарактерные роли: то утомленного славой футболиста, то примерного школьника, то стилиаги. Сейчас Владик был в образе школьника и с увлечением рассказывал родителям о модели управляемого по радио парохода, какую мастерил с приятелями.

— Пап, а пап!.. Что там у тебя стряслось с коровами? Говорят, очковтирательство форменное!

— Что ты говоришь? Как ты смеешь?— захлебнулся от негодования Борис Петрович.

Слова сына были тем более неожиданными, что Владик никогда не интересовался отцовскими делами.

И это было разумно: ведь отец тоже не интересовался желаниями и поступками Владика.

— Сопляк!

Строгий взгляд жены заставил Бориса Петровича опомниться.

— Не понимаю, чего злиться? Влип так влип!— Владик хладнокровно пропустил крики отца мимо ушей.

— В школе нахвтался сплетен?

— Сплетни?— Сын недоверчиво скривил губы.— А хотя бы и в школе. Все ж говорят. Алешка Зильберштейн сказал, что его отец уже фельетон написал. С карикатурой!

— Пора бы знать, что есть вещи, какие тебя совершенно не касаются!

— Теперь буду знать.— Владик аккуратно вытер губы салфеткой, поцеловал руку матери, сказав при этом: «Спасибо», и ушел.

— Окончательно обнаглел! Нет, каково!.. А ты чего молчишь? Твое создание-то... хамит!— напустился на жену Борис Петрович.

— Это создание и мое и твое. Шестнадцатилетнему парню не запретишь иметь мнение о собственных родителях. Если всему городу известна эта история с яловыми коровами, так пеняй на себя.

Людмила Алексеевна подошла к зеркалу, поправила седые пряди на висках: она не прятала, не зачесывала их, видя, что седина выгодно подчеркивает красоту ее молоджавого румяного лица.

— Черт знает что у нас в семье творится!— не унимался возмущенный Борис Петрович.

— Идиллия,— улыбнулась жена и вышла, не желая ему сочувствовать.

На улице прогудел рожок автомобиля.

— Да, пора на службу,— вздохнул Борис Петрович и отправился в кабинет за портфелем.— Тут с кукурузой-то шею свернешь!.. И еще эти яловые как снег на голову... Ох, Волков, Волков! С дигаем что-то затеял!..

Владик, подбросить тебя?— крикнул он на всю квартиру.

Оказалось, что тот ушел в школу пешком.

Прошло около месяца.

Как-то раз ранним летним утром из березовой рощи бойко выскочил запорошенный пылью «Москвич», остановился перед шлагбаумом и загудел.

Из сторожки вышел Прохорович и, семеня негнущимися ногами, побежал к шлагбауму, на ходу размахивая длинными тонкими руками.

За рулем сидел незнакомый Прохоровичу шофер, а рядом смуглый мужчина в коричневом плаще и надетой на переносицу кепке.

— Тш-шш! Тш-шш! Тихо! Тихонько мне! Пакет, что ли?

— Отворяй!— негромко приказал мужчина в кепке. Прохорович не понял.

— Пакет, спрашиваю?

— Какой пакет? Мне в Тарасовку!

— Да вы что, глупый или только на свет родились? Если шлагбаум, значит, проезда нету. Поезжайте через Ямское поле.

— Я доктор, к больному еду,— раздельно, с трудом пересиливая вспыльчивость, произнес мужчина.— На карте-то указана дорога!

— Была карта, не спору,— сказал старик, распахивая и опять запахивая полушубок,— а по весне Борис Петрович приказали...— И Прохорович красноречиво указал на перекладину.— Гудки день и ночь, пыль, а дачи-то чьи? И Леонтия Максимовича, и Бориса Петровича, и Валабухина, и Онищенко. Все начальство!

— Я спешу к больному,— не повышая голоса, сказал доктор.— Плевать я хотел на твоего Бориса Петровича! Для тебя он Борис Петрович, а для меня — хам! При царе-то мужики здесь ездили?

— Эх, куда хватили!— Прохорович развеселился.— И при советской власти ездили. До нынешней весны!

— Отворяй!— гаркнул, потеряв терпение, доктор.

— Ладно, ладно, поворачивай!— велел старик, вынимая собственной набивки папироску.— Чем языки чесать, так давно бы у переправы были. Я человек маленький!

— Паром поломался,— заметил шофер.

— Отворяй! Иначе вылезу и сам открою!

Прохорович вздрогнул всем телом и поправил рукою зазвеневшие кресты и медали.

— Идите к коменданту, вон с краю домик, в палисаднике — тополь. Разрешит — мне-то что!

— Совесть, значит, в тебе осталась,— обрадовался доктор, надел дымчатые очки, нахлобучил еще ниже кепку и зашагал по заросшей травой обочине.

Через несколько минут он вернулся с комендантом, заспанным, недовольным. Болезненно-белое, рыхлое лицо коменданта казалось вылепленным из мыльной пены. Придерживая выпадающий из пижамных брюк живот, он вяло оправдывался:

— Зря, доктор, ерепенитесь. Человек я маленький!

— Вы коммунист?— с любопытством спросил приезжий.

— А конечно...

— Разве коммунист может быть маленьким? Коммунист всегда вот такой!— Доктор, привстав на цыпочки, поднял вверх руку, чтобы показать, каким, по его мнению, должен быть коммунист.— Имейте в виду, товарищ Малахов, если больной до моего приезда...

Малахов и Прохорович посмотрели сначала на спину влезавшего в машину доктора, потом друг на друга.

— Отворяй!— скомандовал Малахов.

Старик плавно засеменил к шлагбауму.

— Только, товарищи, уговор: без гудка, быстро, быстренько!— жалобно попросил комендант и вдруг, вспыхнув, крикнул молчаливому шоферу:— Мотор, поди, гремит, как телега на ухабах!.. Ты мне всех пестухов разбудишь!

— Ничего, Малахов, не тужи,— подмигнул ему засмеявшийся шофер.

— Спасибо, товарищи, спасибо,— высовываясь из медленно тронувшейся машины, сказал доктор.

Едва автомобиль въехал на улочку дачного посел-

ка, добродушное выражение на красном от переживаний лице Малахова сменилось гримасой злости.

— Подожди, старая кочерыжка! — с наслаждением посулил он Прохоровичу. — Покажут тебе Борис Петрович кузькину мать!.. На уме у тебя лишь одно — как бы у Пелагеи переночевать.

— Так ведь и ты ночевал, — возразил крайне польщенный его словами старик.

После этого комендант и Прохорович с необычайно спокойным видом вытащили из карманов папиросы, закурили и уселись рядом, свесив ноги в канаву.

Людмила Алексеевна в это воскресное утро проснулась очень рано и пошла купаться.

Ей еще в прошлом году пришлось по душе песчаная заводь, скрытая от поселка зеленошумным ивняком. Здесь не было подводных родников, как в других местах, и первые же лучи солнца прогревали мелководную воду, и мальки выпрыгивали серебряными гривенниками, и золотоперые окуньки шныряли во всех направлениях, а заслышав хруст песка под ногами ступившей в озеро Людмилы Алексеевны, пускались наутек в заросли камыша.

Утрами, пока дачники спали, Людмила Алексеевна купалась без костюма и плавала долго, радуясь, что годы сохранили ей крепость мышц, ровное сердцебиение, размеренное дыхание; она выплывала на середину озера и лежала почти без движения на спине, чувствуя, как прохладная вода взбадривает ее сильное большое тело, жмурясь, если капля на ресницах, впитав солнечный свет, превращалась в фантастически огромный блестящий шар...

И на этот раз она тоже уплыла далеко от берега, перевернулась на спину, и неожиданно скрежещущий вой автомобильного рожка с силой ударил ее по ушам. Людмила Алексеевна вздрогнула и захлебнулась.

Откашлявшись, она поплыла обратно, с усилием разгребая сразу же потяжелевшую воду.

Стыдно сознаться — она испугалась и хотела поскорее выбраться на берег.

Одевшись, накинув на волосы косынку, Людмила

Алексеевна пошла по тропинке. Теперь она успокоилась, и ей было приятно, что навстречу не попадались знакомые, что опять тихо, так тихо, что слышно падение хвои, сорванной пролетевшей по вершинам сосен белкой.

С юга, из утренней тишины полей, ветер навевал росистые запахи клевера и медуницы.

— Люся!— услышала она чей-то голос и оглянулась из любопытства, а не потому, что ее здесь, в поселке, могли назвать Люсей.

От дороги, огибавшей озеро, размахивая кепкой, прыгая через ямы, бежал мужчина в коричневом плаще. Он смеялся и повторял с бессмысленной настойчивостью:

— Люся! Да ведь она самая — Люся!

Людмила Алексеевна запахла плотнее халат, поправила волосы и лишь после этих элементарных мер женской предосторожности с удивлением взглянула на незнакомого мужчину.

— Люся Зими́на!— тяжело дыша, сказал он, тряся руку Людмилы Алексеевны.— Вот так встреча! Не узнала? Конечно, не узнала! Ну, сознайся, что не узнала! Да Волков, Сашка Волков!.. А ты чего тут делаешь?

— Саша!— Людмила Алексеевна всплеснула руками.— Вот теперь узнала. Ты мало изменился, пожалуй. Как тебя на рабфаке звали? «Озорная душа»!.. Ведь со всеми переругался, и сейчас помню. Чего здесь делаю? Живу. С мужем живу, с сыном. А ты как сюда попал?

— Проездом!— И смуглое худощавое лицо Волкова просияло от хитрой улыбки.— Проездом из Гусьтинского района. А кто ж твой муж, генерал, что ли? Больно ты вальяжная да толстая. Настоящая генеральша!

Людмилу Алексеевну покори́били его слова: она считала, что у нее роскошная фигура.

— Рабфак не забыла?— продолжал Волков.— Лазарев Миша на войне погиб. И Василий — тоже!.. Я почему-то не погиб, сам до сих пор удивляюсь — почему. Помнишь, как на фабрике станки чистили? Стипендия мизерная, а там заколачивали за воскресенье восемь

золотых рублей. Восемь! Сумма огромнейшая! А ты и верно не постарела! Эх, рабфак!— С отчаянным видом Волков pokrutil голову.

Людмила Алексеевна хотела ответить, что не забыла и рабфак, и текстильную фабрику, на которой по воскресеньям чистили станки, и Мишу Лазарева, в которого была влюблена, но все это было теперь как бы закрыто непроницаемой глазу пеленой тумана.

— Что же ты делаешь здесь, а?— допытывался Александр Иванович.

— С мужем живу,— пожала плечами Людмила Алексеевна и смутилась.

— Мама!— окликнул ее бесшумно подошедший по траве Владик. Он был в белом костюме. Чопорно поклонившись рассеянно взглянувшему на него Волкову, Владик сказал, понизив голос:

— У отца с сердцем что-то...

— Мой сын!

Владик снова поклонился, скользнув брезгливым взглядом продавца комиссионного магазина по измятому плащу Волкова.

— Прости, Саша. Как-нибудь увидимся. Тогда и о юности вспомним. Мне хочется о Вере Савушкиной узнать, я так любила ее. Очень рада, что встретилась!— Людмила Алексеевна взяла сына под руку.— Значит, в Синегорск перебрался? Где работаешь?

— В Облисполкоме. Пока!— буркнул растерянный Волков.

— Почему — пока?

— В Гусятинский район уезжаю. Директором совхоза.

— Так я скажу Борису Петровичу, чтобы он на днях привез тебя к нам. С ночевкой.

Она и Владик уже приближались к поселку, а Волков все еще стоял неподвижно, потирая висок ладонью. Вдруг он закрыл глаза, словно испугался чего-то, и лег на траву и долго смотрел на облака, легкие, как дыхание земли. По высоким былинкам, на уровне его лица, ползали, струились голенастые рыжие муравьи, поглощенные своими хозяйственными заботами. И не было им дела до приунывшего Александра Ивановича.

... Борис Петрович в расстегнутой пижаме, прижимая к сердцу мокрое полотенце, сидел на террасе в соломённом кресле, а перед ним переминались с ноги на ногу комендант и Прохорович.

— Что шлагбаумы! Крепостные стены надо строить!— ворчал Борис Петрович.— Вчера у меня два заседания, еле стоял на ногах, думал — отдохну, и вот, вот... У самого окна загудела машина. Я было подумал: курьер с пакетом, поднялся с постели, — нет, совершенно посторонняя!

При появлении жены и сына Борис Петрович начал хватать кривящимся ртом воздух, словно задышался.

— Полюбуйся! Что за люди, что за люди?!

Пока комендант оправдывался, Людмилу Алексеевну не покидало щемящее сердце чувство, что приключилась беда. Беда непоправимая. Она смахнула мизинцем хлебную крошку со скатерти, отогнула зацепившуюся за кисею занавески ветку плюща, отхлебнула холодного чая, но что-то мучило, беспокоило ее, как будто за шиворот ей насыпали горсть песка.

Она прошла в комнату, переоделась, а когда вернулась на террасу, то заметила, что во всем облике Малахова произошла перемена. Комендант выпрямился, втянул живот и заявил с мрачным упрямством:

— Мы доктора пропустили!

— Ладно, идите! Завтра будет особый разговор, — отрезал Борис Петрович и отвернулся с отвращением.

Малахов и старик прогремели сапогами по лесенке и скрылись за калиткой.

— Тебе не кажется, Боря, что ты занимаешься пустяками?— стоя спиной к мужу, спросила Людмила Алексеевна.

Борис Петрович опешил:

-- Пустяками? Это ты называешь пустяками?

— Называю. И вообще скажу, что год от года пустяки играют в твоей жизни все большую роль!— Людмила Алексеевна потянула к себе через перила ствол сирени, но деревцо гибко, пружинисто выскользнуло из ее руки и, отпрянув, затрепетало от корня до макушки.— Кем у тебя работает Волков? С ним я училась на рабфаке, — объяснила она свое любопытство.

— Экономистом.— Борис Петрович встрепенулся, подошел поближе к жене: — А что, всегда он был такой?

— Какой?

— Демагог!

— Всегда. На рабфаке его «озорной душой» прозвали.

Борис Петрович надул щеки и густо выдохнул на шею и затылок жены струю горячего воздуха.

— «Озорная душа»? Видел я всяких, но эдакого... Слышала, что он выкинул? Из Гусятина сообщили, что план сева кукурузы выполнили. Конечно, я отрапортовал. А вчера из Москвы позвонил Лазарь Петрович,— срочный разговор, три минуты,— сказал, что в «Известиях» статья Волкова... Якобы в Гусятинском районе семьи-то было всего на десять гектаров. Сейчас там акты составляют, что на остальных девяноста грачи семена склевали...

— Мало тебя, что ли, обманывали, с рапортами-то?

Людмила Алексеевна опустила в кресло-качалку и, скрестив ноги, полузакрыв глаза, качнулась, словно от берега оттолкнулась, желая уплыть куда-то подальше в утлом челноке.

— Людмила, а Людмила! Слышишь?— не унимался Борис Петрович.— Волков-то бобыль. Вот и злится! Ты не знаешь, отчего он не женился?

— Откуда мне знать!..

Владик незаметно от матери ускользнул с террасы и догнал коменданта и Прохоровича на улице.

Несколько минут они шагали в ногу, как солдаты, и молчали, потом Владик протянул руку, и Малахов, из предосторожности оглянувшись по сторонам, вложил в его ладонь папироску.

— Сурьезная личность твой папаша!— сказал Прохорович, поджав губы, отчего его борода вздыбилась.

Комендант с дипломатической мудростью сделал вид, что не расслышал, а Владик, выпустив через нос раздвоенную струю густо-синего табачного дыма, сказал об отце:

— Не «сурьезная», а бестолковая! Набаловался на работе-то драть горло!

— Фельдфебельская закалка!— В устах Прохоровича это было скорее похвалой, чем осуждением.

— Ох, не люблю воскресений!— заныл Владик, входя вслед за стариком в сторожку и усаживаясь на чисто выскобленные нары.— Скучища! Отец то дыхнет, то читает мне бесконечные нотации. Ни кино, ни футбола.

Сторожка была тесная, почти половину ее занимали низкие нары, вместо стола Прохорович поставил у окошка фанерный ящик из-под папирос. Положив на край этого столика свой выпуклый мягкий живот и скрестив на груди руки, Малахов нетерпеливо взглянул на хозяина. Старик, покряхтивая, нагнулся и вытащил из деревянного сундучка поллитровку, завернутую в грязную портянку.

— И это дело,— одобрил Малахов.— А лучку?

— Найдется!— И Прохорович сапожным шилом вытащил пробку.

Владик тем временем вытянулся на нарах, закинул за голову руки и, с наслаждением вдыхая запах овчины, развешанного на бревенчатых стенах пучками табака-самосада, ржаного хлеба, дегтя, которым старик смазывал сапоги, говорил, собственно ни к кому не обращаясь, как бы мечтая вслух:

— Еще один год—и полнейшая свобода! Самостоятельная личность! Студент! Провалюсь на экзаменах? Ни-ког-да! А если все-таки провалюсь? Позор! Что, застрелиться? Ни-ког-да!.. Поступаю в летное училище.— Его не отвлекало от размышлений ни периодически повторяющееся бульканье хмельной влаги, разливаемой по стаканам, ни вкусное кряканье, ни хруст лука на зубах коменданта и Прохоровича.— Создаю новые конструкции, изобретаю, рационализировую. В «Комсомольской правде» мой портрет! Через год принят в институт без экзаменов!

— Погляжу на тебя, вьюноша, счастливая твоя планида,— сказал, смачно чавкая, Прохорович.— Колбком по жизни катишься!

— Не твоим ли шлагбаумом счастлив?— с поразившей старика и Малахова черствостью спросил Вла-

дик.— Не ты ли, верный страж, не пустил прошлым воскресеньем ко мне Алешку Зильберштейна и Ваньку Зацепина?

— Я человек подневольный,— Прохорович беспомощно пожал плечами.— Велено Борисом Петровичем: ни одного постронного.

Владик сбросил с нар ноги, потянулся, лениво зевнул:

— На рыбалку бы!

— Спихватился в самую жару! Вечерком уж.

— Пойду читать мемуары академика Крылова. Энциклопедист, равный великому Леонардо! Кораблестроитель! Математик! Инженер!— странно samozабвенным тоном, словно стихи декламировал на школьном вечере, сообщил им Владик.

Комедант и сторож при этих словах виновато покосились на пустые стаканы и сделали внимательно-серьезные лица.

Когда Владик, не попрощавшись, ушел, старик вытер рукавом полушубка вспотевший лоб и заметил:

— Как бы не рехнулся! Смурной какой-то!

— Отерпится!— сказал Малахов.— Видали мы всяких!— Он засунул руку под выгоревшую гимнастерку и почесывал свое отвисшее брюхо, как котенка.— Ты, старая кочерыжка, смекай: заваруха начнется... Рапорт по команде: задержан доктор при исполнении медицинских обязанностей! Своевольничать-то никому не велено.

— Я и сам весь обмер,— признался Прохорович.— Главное, картой меня пугнул: на карте дорога числится... Конечно, у Бориса Петровича такой власти нет: дороги закрывать. Ну, с приятным вас bonжуром!— И старик, приподняв, посмотрел на свет сквозь опорожненную бутылку.

— К Зайцеву завтра загляну. Он партийный секретарь, пусть сам принимает меры,— решил Малахов, оживившись.

После магазинной толчеи Людмила Алексеевна с облегчением вздохнула, очутившись на улице. И здесь было жарко, но все же тянуло речной прохладой,

листья тополей в скверике перед универмагом колебались, трепетали от порывистого дыхания реки; листья были свежими, чистыми, блестящими: ночью прошел дождь. В затененных местах земля еще не просохла, была влажной, глянцеви́то-черной, и пахло от парной земли, как из горшка с гречневой кашей.

Людмила Алексеевна отдала шоферу пакеты с покупками, сняла и бросила на заднее сиденье коверкотное серо-стального цвета пальто: она пожелала пойти пешком.

У дверей универмага бурлил людской круговорот, но едва она свернула в боковую улицу, как обрадовалась: никого — ни знакомых, ни встречаемых, тоже, в сущности, полужнакомых, ибо кто не знал здесь супругу Бориса Петровича... В канаве с осыпающимися краями спала собака; заслышав шаги Людмилы Алексеевны, она наострила ухо, понюхала и опять свернулась бубликом. Почти во всех одноэтажных домиках были закрыты ставни, то зеленые, то красные, похожие на заплатки. Из-за одной ставни, красной, слышалась деревянная дробь гаммы, разыгрываемой пальчиками школьницы.

В потускневшем зеркале парикмахерской Людмила Алексеевна увидела красивую, сильную, статную женщину в чесучовом платье. Лицо ее было серьезным, хмурым: вдали от любопытных взглядов, какие ей наделали в магазине, Людмила Алексеевна разрешила себе не улыбаться.

Настроение у нее было прескверное. Теперь она не сомневалась, что доктором в минувшее воскресенье прикинулся Волков, и ей было досадно, что он так озорно, так грубо, да не только грубо, но и глупо, спугнул уютно-размеренный ход ее дачной жизни, в которой было много устоявшегося, привычного и по-своему очаровательного.

Вспоминая об этом, Людмила Алексеевна не могла не подумать со снисходительной нежностью: «Ах, шалопут, вот шалопут!» И смеяться станут — кому ни расскажи — над Борисом Петровичем, не над Волковым. Превратить все в шутку? Увы, муж не обладал чувством юмора.

Гудок «Москвича», в котором промчался мимо ее

дома Волков, гудок резкий, пронзительный, как бы пробудил ее от бесконечной дремоты, и ей вдруг захотелось теперь не возвращаться домой к обеду, к лениво-учтивым разговорам с мужем, с сыном, а бесцельно до изнеможения бродить по улицам или пойти на вокзал и купить билет на все деньги, какие наберутся в сумочке, и очутиться утром на неизвестной доселе станции.

Тем временем она подошла к реке, могуче-спокойной, как бы звеневшей от солнечного блеска. Зеленые мелкие волны бились о заросшие бархатистой плесенью сваи. Откуда-то из верховьев ветер струил запах полыни. У воды было веселее, чем в городе...

А какие, спрашивается, у нее, у Людмилы Алексеевны, грехи? В чем она виновата перед семьею, перед Волковым, перед собою, наконец? И кто ему дал право осуждать ее?

Мысли эти были уже гневными, а потому и несправедливыми, но Людмиле Алексеевне они доставили кое-какое удовольствие. Ругая других, мы ведь всегда себя расхваливаем: дескать, уж кто-кто, а мы не такие... Через минуту раздражение рассеялось, оставив Людмиле Алексеевне одну усталость. Отыскав взглядом свободное место на скамейке, рядом с каким-то ссутулившимся мужчиной, она села, откинулась и тут-то увидела, что сидит рядом с улыбавшимся Волковым.

Он был в сером пиджачке, без галстука, воротник расстегнут, матерчатые туфли, бывшие когда-то белыми, ввинчены каблуками в рыхлый песок.

— Ты откуда?— спросил он таким тоном, словно последние двадцать лет они встречались ежедневно.

— Ниоткуда. То есть из магазина. Домой иду.

— А почему пешком? Пользительно в смысле мочина? Жирок растрясти?

Если бы Волков встретил ее совершенно безразличным, случайным вопросом, то, пожалуй, Людмиле Алексеевне удалось бы снова рассердиться и крепко отчитать его за воскресное озорство. Но она привыкла хладнокровно относиться к воркотне мужа, а потому и сейчас пропустила мимо ушей волковские насмешки.

— Тебе сколько лет, Саша?

— Видишь, когда я был маленьким, то мне внушили, что красивым женщинам всегда двадцать восемь лет. Мы с тобою ровесники,— значит, мне двадцать восемь.

«Красивым!» — это было сказано искренне, и Людмила Алексеевна растрогалась.

— Нет, мне не двадцать восемь. Далеко не двадцать восемь. Я это к тому, что ты, Саша, какой-то... какой-то! — Она замаялась.

— Несolidный, — подсказал Волков.

— Может быть, и так.

— Должность несolidная, — с притворной грустью завздыхал он.

Александр Иванович сам чувствовал, что ему — соколетнему — не хватает чего-то, душевного равновесия, что ли. Но он боялся, что, успокоившись, он превратится в средненького, безобидного, с эрудицией и бойким пером, референта какого-нибудь очередного Бориса Петровича.

— Пока что, признаться, отсутствие солидности не мешало мне в жизни, — подумав, сказал Волков. — Мне мешает другое: хватаюсь за множество дел. Целеустремленности нет. Умения класть пулю за пулей в мишень. Сплошное рассеивание. — Он сморщился, отчего зашевелился кончик его хрящеватого носа.

— И это неплохо, Саша!.. Ты хоть на других не похож!

— Чего ты меня утешаешь? Я собою недоволен. Замыслов — бездна! Кричу, ругаюсь, спорю! Результаты, где результаты, я спрашиваю? — Сомнительно, что Волков догадывался, как была польщена и обрадована его откровенностью Людмила Алексеевна.

— Меланхоличное у тебя настроение. С чего бы?

— И запоздалое, добавь. Уже принимаю Гусятинский совхоз. Стабилизируюсь на много-много лет. Там-то мне уж не поставят никаких шлагбаумов! Нарочно глубоинный совхоз выбрал — семь месяцев в году полное бездорожье: никто из начальников не доберется. Если захотят, пусть персональные вертолеты заводят!

На противоположной стороне набережной появился седобородый старик. Нырив правым плечом, громко стуча тростью по асфальту, он торопливо шагнул, раз-

глядывая злыми глазами прохожих. Из карманов его пиджака торчали какие-то бумаги, брошюры.

— Как же ты без дорог станешь будить начальников гудками?— улыбнулась Людмила Алексеевна.

Волков не обратил на этот дружеский упрек никакого внимания.

— Сергей Сергеевич!— закричал он.— Сейчас! Бегу, бегу!

— Ты зайдешь?— вырвалось у Людмилы Алексеевны.

— Загляну как-нибудь,— небрежно сказал Волков и побежал через мостовую к старику, подпрыгивая, как вырвавшийся из душного класса школьник.

Александр Иванович Волков ушел с работы по собственному желанию. Именно так было написано в приказе по учреждению.

Все утро до приезда Бориса Петровича служащие толпились у доски с приказами и извещениями и то вздыхали, то перемигивались, то шептались:

— А чего вы хотите, батенька? Есть предел всему.

— Дешево отделался.

— Все там будем!

— Вы, Серафим Петрович, знаете, в чем дело?

— Кто ж не знает!

— Счастливый он человек! Сам за себя отвечать станет!

Когда в коридоре появилась крупная фигура Бориса Петровича, служащие лениво разошлись по комнатам, лениво вытащили из шкафов папки с бумагами, лениво принялись ожидать обеденного перерыва.

Борис Петрович по привычке остановился перед стенным зеркалом и поправил галстук, пожал — тоже по привычке — руку вахтерше тете Глаше и, очень довольный тишиною вверенного ему учреждения, проследовал в кабинет.

Войдя вслед за ним, Калерия Власовна сказала то, чего и ждал начальник:

— Волков получил деньги и документы!

— Слава богу!

— Еще бы!— поддакнула Калерия Власовна и положила на стол пачку свежих газет. Она не притворялась, а действительно радовалась, что интриган и склочник Волков уволился, и воздавала должное благодарности Бориса Петровича, согласившегося на формулировку «по собственному желанию», и надеялась, что в учреждении отныне наступит порядок и покой.

— Грубиян! Хам!— Калерия Власовна нервно передернула спину.— Только что стою в коридоре, беседую с бухгалтером, а он проходит мимо и— вы не поверите!— остановился, засмеялся: «Какая же это Бауман? Это целый шлагбауман».

Если бы Борис Петрович не был так расстроен, то, пожалуй, его позабавила бы эта острота.

Кивком головы отпустив Калерию Власовну, он развернул областную газету, бегло проглядел заголовки,— содержание ее он слышал утром по радио.

Борис Петрович тоже, как и Калерия Власовна, просиял, узнав, что Волков ушел без пререканий и претензий,— сам договорился с трестом совхозов. Что ж, в данном случае «собственное желание» было и вправду собственным желанием: упрекать Бориса Петровича не за что.

«Погодите, голубчики!— злорадствовал он сейчас по адресу руководителей треста совхозов.— Этот новый директор вам устроит фейерверк и с яловыми коровами, и с цигаем, и с кукурузой!»

В открытое окно влетела, радужно лучась, как бы сотканная из солнечных лучей, стрекоза.

«Интересно, сколько живет такая стрекоза?»— задумался Борис Петрович, вспомнив, что Иннокентий Васильевич, отрекомендовавший ему Волкова, уехал на целину,— следовательно, сорвать злость не на ком.

А стрекоза, пренебрегая его деловыми подсчетами, даже не отбрасывала тени на подоконник, являясь нематериальным символом солнечного лета...

Дверь без стука отворилась, и в кабинет вошел Тихон Андреевич Зайцев.

— Уехал?

— Говорит, дня через три уедет,— Зайцев засопел,

втискивая тучное тело в глубокое кресло. — Ох-те-те, дорого нам обойдутся волковские скандалы!

— Позволь, что значит — дорого, что значит — нам? — возмутился начальник.

— Тебе и мне! — объяснил Тихон Андреевич, отмахиваясь от запутавшегося в бороде табачного дыма, как от навязчивых размышлений.

— Позволь, сколько раз он обманывал меня? — выкрикивал, шагая из угла в угол, Борис Петрович.

Кабинет, переделанный из губернаторской столовой, был такой огромный, что когда Борис Петрович отходил, то становился ниже ростом, незаметнее, а когда приближался, то вырастал в глазах Зайцева. И тому казалось, что он смотрел на неподвижного начальника попеременно в увеличивающие и уменьшающие стекла бинокля.

— Что ты дурака валяешь! Кто прав в вопросе о Шабаршихинских лугах? Волков! Московская комиссия признала же твою, вернее, твоего пьяницы Трегубова стайку фальшивой, а статью Волкова — правильной, принципиальной. Партийной!.. Кто вскрыл очковтирательство с удоями в Гусятине? А увольнение старика Чеглокова? Фу!.. И этот шлагбаум! Угоразило ж тебя! Надо додуматься до такой чепухи! — Зайцев сунул в рот клочок бороды, пожевал с таким азартом, словно хотел растереть зубами волосы в пыль.

— Какой шлагбаум? При чем тут... — Борис Петрович почувствовал, что его коленки непроизвольно задергались из стороны в сторону, и ухватился за край стола: — Так доктор-то?..

— Именно!

— В суд подам! Хулиганство! — взвизгнул Борис Петрович.

— Подавай, подавай... Хулиганство, не спорю... А Волков ходит по Синегорску и всем рассказывает, как ты закрыл мужицкую дорогу. При Иване Грозном мужики ездили. При Борисе Годунове ездили. При советской власти тоже. А при Борисе Петровиче — шлагбаум. Охраняем покой областного начальства. Тишину сторожим. Загородились! Запанствовали!

— Допустим, допустим, что я не во всем прав, что и у меня были отдельные ошибки...

— Еще какие!

— С нами будет особый разговор! Леонтий Максимович, конечно...

— Тебя он бросит на произвол судьбы. Ты ему надоел! — безжалостно рассмеялся Зайцев. — У него тоже рыльце в пуху с Шабаршихинскими лугами. Петрищев? Да, тот бы заступился!.. Но Петрищева, как известно, прошлой осенью на выборах в обком партии прокатали на вороных! И заметь еще, обком партии — не один Леонтий Максимович. «Особый разговор», — передразнил он Бориса Петровича. — Будет и такой, не сомневайся. Мне вот скажут: потерял принципиальность, политическую остроту.

В течение их разговора в кабинет непрерывно врывалась церемонная Калерия Власовна с какими-то бумагами, требующими немедленной подписи Бориса Петровича.

— Нет, в колхоз, в колхоз, агрономом-то, наверно, возьмут, — попытался высмеять сам себя Зайцев. — А может, к Волкову махнуть в Гусятинский совхоз?

«У тебя хоть специальность есть», — мысленно позавидовал Борис Петрович.

— Да, все нечисто, все... — заметил Зайцев и встал так резко, что кресло откатилось. — Областная библиотека третий год просит себе губернаторский дом, ютится в какой-то хибарке. Зачем тебе этот кабинет? На велосипеде кататься?

— Уж кабинет Волкову помешал!..

— Не Волкову, а тебе!

И Тихон Андреевич вяло поплелся к двери, но приостановился и как бы вскользь обронил:

— С партучета Волков еще не снялся, — значит, будет завтра на собрании.

После этих слов Борис Петрович окончательно перетрусил.

По «вертушке» он позвонил Леонтию Максимовичу, но оказалось, что тот отбыл на завод «Двигатель».

«Тоже мне массовик!» — сердито улыбнулся Борис Петрович. Он вызвал Калерию Власовну и велел никого не пускать: голова разболелась.

Та расстроилась. Конечно, такие переживания! Может быть, Борис Петрович поедет на дачу? Началь-

ник на дачу не поехал, а прилег на диван и утомленно закрыл глаза.

«Ну, с суточным удоем как-нибудь вывернусь. Придумали же, черти! Играет воображение у людей!.. Яловые так яловые, председатели колхозов быков не заменят. Вот и отрапортовал. Никитка мою статью написал о «элитных рекордсменках». И опять же я виноват: посылал Волкова по районам, а надо было его здесь докладными загрузить. Хотя он меня и докладными не раз подводил», — признался, ворочаясь с боку на бок, Борис Петрович.

Заломило поясницу, и он, кряхтя, крепко потер ее ладонью, — к дождям.

О партийном собрании, на котором последний раз выступал Волков, в Синегорске ходили противоречивые слухи. Вероятно, теперь невозможно восстановить точную картину; во всяком случае, у Бориса Петровича остались о нем следующие воспоминания.

Началось оно так, как и всегда начиналось: в президиум выбрали Зайцева, Бориса Петровича, еще нескольких рядовых коммунистов.

Собственно, Борис Петрович сразу прошел в президиум: он привык, что его обязательно выбирают в президиумы всех без исключения заседаний и собраний.

Заместитель секретаря партбюро Окунев, поминутно заглядывая в конспект, монотонно рассказывал о мерах борьбы с бюрократизмом. Присутствующие узнали, что в бюрократизме повинны учреждения районные, но никак не областные.

— У кого вопросы? — спросил Зайцев, когда Окунев, утираясь платком, сошел с трибуны.

Все молчали.

— Вопросы есть? — И Зайцев постучал карандашом по графину.

Поднялся Волков. Едва его тощая фигура появилась над рядами, в зале раздались приглушенные смехи.

— Правда, что сводка о посевах кукурузы в Знаменском районе переделывалась три раза?

— Чего ж тут особенного? — пожав плечами, ответил за докладчика Борис Петрович. — Там запаздывали

с севом, вот мы и уточняли по телефону последние данные.

— А не было такого, что сначала уточняли последние данные, а потом уже сеяли?

«Ох, Волков, Волков, и чего ты добиваешься? На моем месте хочешь быть? Не выйдет, номенклатура не та... Ну, заверил меня Ватягин, что к утру отсекутся,—думал Борис Петрович, с непроницаемым лицом водя карандашом по шершавой скатерти.—Конечно, отрапортовали. Подумаешь, преступление! Всегда так делали».

— Кто хочет выступить? — спросил Зайцев.

Продолжительное молчание.

«И толковать не о чем—все ясно. Поменьше писанины, товарищи,—размышлял Борис Петрович.—Обращайтесь с руководящими указаниями по телефону, в личных беседах. Побольше выездов на места. Удивляемся, что школьникам тетрадок не хватает. Поневоле не хватит, если переводим полтонны в день...»

А на трибуне стоял Волков и терпеливо ждал, когда утихнут смешки и перешептывание. Не покрывив душою, Борис Петрович однажды сказал жене, что Александра Ивановича сотрудники не любят. И это было справедливо, но не во всем и не всегда. К Волкову относились то с нежностью, то с негодованием, а бухгалтер Костричкин прозвал его «бомбой замедленного действия». Когда Александр Иванович написал в стенгазету заметку «Умение держать нос по ветру», редколлегия единогласно забрала ее «по причине демагогического характера». Правда, позднее заметка все же появилась, но тут уж вмешался обком партии.

«Не озорная, а мерзопакостная ты душа, Волков! — внимательно слушая, думал Борис Петрович.— Да, отрапортовали в ночь на воскресенье. Что, что? В воскресенье кукурузу и сеяли? Радоваться надо, что сеяли. а не пьянствовали!...»

— Я говорю совершенно открыто: за кукурузу я боролся много лет. Боролся, когда надо мною смеялись, подтрунивали, издевались. Синегорские колхозы никогда не вылезут из бескормицы без кукурузы! — пылко воскликнул Волков.

«Никогда не смеялся. Не было кукурузы в государственном плане,—значит, я не занимался кукурузой! Появилась кукуруза в государственном плане — занимаюсь кукурузой. Что?! — Борис Петрович напряженно вслушивался.—Что?.. Именно я сам послал в Знаменский район разнарядку на кукурузные семена? Не отрицаю... И знал, что семян хватит всего на десять га? Демагогия, Волков, дешевая демагогия! Государственный план-то надо выполнять во что бы то ни стало. Районы жалуются на мелочную опеку, а предоставили Знаменскому райисполкому полнейшую свободу, и я же виноват...»

— А теперь я поговорю о синегорских баранах, о любимых Борисом Петровичем цыгаях и о том, почему выдающийся опытник Чеглоков очутился в Гусятинском районе... Издеваемся мы над мужицкой мудростью,—продолжал Волков, ребром ладони с силой рассекая воздух, будто гвозди вбивал.

«Хороша мне мудрость — получать по сорок копеек за трудодень,—наедине с собою Борис Петрович откровенничал.—Болтун ты, Волков, размахался тут, как плотник! Ведь о бюрократизме говорим, не о баранах. Что ж Зайцев-то не призовет этого зарвавшегося демагога к порядку?»

Но Зайцев мочалил в кулаке бороду, и на круглом его лице отражалось лишь беспросветное уныние. И прерывать Александра Ивановича он как будто не собирался...

«Объявляй перерыв, надо посоветоваться»,—быстро написал и перебросил записку Зайцеву Борис Петрович.

Тот прочитал, кивнул, разорвал записку на мельчайшие кусочки, высыпал в пепельницу и поджег спичкой. Крохотный темно-желтый костер побушевал мгновение и потух.

После выступления Волкова объявили перерыв.

Александр Иванович одиноко стоял в коридоре, курил и, прищурившись, смотрел поверх голов прогуливавшихся, разминавших ноги сотрудников. С ним никто не заговаривал. Минут через пять, уверенно прокладывая путь в толпе, к нему подошел Борис Петрович.

— Вы учились, оказывается, с моей супругой на рабфаке,— начал он с радушием, едва ли естественным.

— Однофамилица,— ответил Волков тоном тяжело-больного, которому надоели врачи.

Вот о чем вспоминал несколько дней подряд после собрания Борис Петрович, жалея себя, мучительно раздумывая, удастся ли ему обрести бывшее спокойствие теперь, когда Волков уехал в Гусятинский совхоз.

Мысли его были и бесплодными и тягостными, и обычно после того, как в коробке «Казбека» не оставалось ни одной папироски, Борис Петрович давал клятву не думать больше о Волкове.

Наступало утро, опять думал...

Партийное собрание неожиданно приняло резолюцию, написанную Волковым, а не согласованную с Борисом Петровичем резолюцию Зайцева, и там по адресу начальника содержалось немало горьких истин. Против волковской резолюции голосовал лишь кроликовод Васютинский, и это вызвало в зале такой смех, что у Бориса Петровича вспотели виски.

Стенограмму затребовали в обком.

В довершение всех несчастий к Борису Петровичу явился с нахальным видом Зайцев и вручил заявление: «Прошу уволить по собственному желанию».

— У тебя совесть-то где? — напустился на него начальник. — Бросаешь меня в такой момент! И как ты мог отказаться от своей же резолюции?

— Не хочу быть в компании с твоим подхалимом Васютинским! — отрезал Тихон Андреевич, швырнул заявление на стол и ушел.

Борис Петрович полежал на диване, затем погулял по кабинету, затем несколько раз перечитал заявление и красным карандашом поставил пропущенную Зайцевым запятую и наконец решил ехать домой.

Впорхнувшая по его звонку Калерия Власовна сочувственно зачмокала:

— Отдохните, конечно... Я так понимаю ваше состояние! Машина у подъезда.

«Ничего ты не понимаешь», — внутренне простонал начальник, стаскивая с письменного стола чемоданоподобный портфель.

Дома, войдя в прихожую, он с отчаянием сказал: «Ну, непростения разыгралась!..» Серое пальто жены валялось мятым комком в кресле, касаясь рукавом половицы.

В обычные дни аккуратная Людмила Алексеевна вешала пальто на «плечики».

Дверь в комнату жены была заперта.

— Людмила, а Людмила, спишь, что ли?

— Голова разболелась.

— У меня самого башка трещит, словно с помехелья, — пожаловался Борис Петрович.

— Пирамидон в шкафу.

«Вот характерец так характерец! Нет чтобы успокоить, пожалеть. На замок заперлась. Переживания!..»

А Людмиле Алексеевне было действительно плохо. Днем она в домашней суете не заметила, когда вернулся с купанья сын. Перед обедом, проходя по коридору мимо его комнаты, она услышала возбужденные голоса и остановилась, затаив дыхание.

— Через год я уезжаю в летное училище. Если хочешь, отправимся вместе. Да, да, я хочу стать авиаконструктором. Это дело у меня выйдет!

— Ничего не понимаю, — удивился приятель Владика Святослав Краснопольский, сын начальника областной милиции.

— Сейчас поймешь... Авиационно-технический факультет, как тебе известно, есть у нас в Синегорске, в нашем политехническом. Если отец узнает, что я хочу быть конструктором, он меня никуда непустит. А жить с ним я не могу!.. Надоел. До ужаса! Правду отец Алешки Зильберштейна сказал о моем родиче: «Поглупел от сознания ответственности». Значит, я становлюсь на первое время летчиком. И — удираю! Навсегда удираю отсюда! А там и переквалифицироваться можно.

— А мама? — напомнил благоразумный Святослав.

— Мама!

Голос Владика дрогнул, и в коридоре ответно судорожной болью дрогнуло сердце Людмилы Алексеевны. Боясь, что ее могут застать у двери, она спросила неестественно громко:

— Владик, будешь обедать?

— Спасибо. Не хочу пока. Мы с Светом в шахматы...

— Когда захочешь, скажи.

Догнав уходящую мать на террасе, Владик с таинственным видом шепнул:

— погоди! Говорят, что Волкова назначают на отцовское место. Не слышала?

Красивое лицо Людмилы Алексеевны обезобразила такая растерянно-жалкая гримаска, что сын перепугался.

— Я ведь только спрашиваю!

— Вот у него и спроси.

Закрывшись в своей комнате, Людмила Алексеевна поплакала, подремала, а когда явился Борис Петрович, поняла, что разговаривать с мужем ей не хочется... И все же надо идти к нему.

Лежавший на кровати Борис Петрович при входе жены принял оскорбленный вид.

— Разве я отрицаю, что были ошибки? Грубейшие! — сказал он с необыкновенной живостью. — Предположим, со Знаменского района можно было снять план кукурузы.

— Так чего же?

— А то, Людмила, что пора перестать во всем обвинять меня! Не ты ли жаловалась, что пыль в тарелки летит? Что гудки спать не дают?

— Не слушал бы дуру жену.

— Это ты дура?

— Во всяком случае, была дурой.

— Ну ладно, не будем об этом... Объясни другое. Чего хотел от меня Волков? — Борис Петрович поднял голову с подушки, облокотился.

— Ничего не хотел, я думаю.

— И что это за личность? Перелистай его дело, ничего не поймешь. Журналист? Агроном? Лектор?

— Волков? Волков, видишь ли, честный человек! Во всем честный. Абсолютно честный!

— Будто я не честный? — Муж обиженно вскинул массивный подбородок.

— По натуре и ты честный. — По глазам Людмилы Алексеевны было заметно, что она сама не очень этому верит. — Ты попросту избаловался в сводках превращать девяносто процентов в сто. Привык рапор-

товать о завершении хлебопоставок пораньше не-
дельки на две: мол, районы «дотянут». И на Волкова
ты обижен совсем не потому, что он обманул тебя, а
потому, что он всем рассказал об этом обмане. Знаешь,
наивная щеголиха вертится перед зеркалом день-день-
ской: то бровки подведет, то губки подмажет... Так ты
наводишь красу на область. Гримируешь!

— Откуда ты знаешь?

— Думала.

Несколько минут прошли в молчании: Борис Петро-
вич зарылся лицом в подушку, а жена не решалась
встать и уйти.

«Сейчас я тебя уколую. Скажу, как Волков отрекся:
однофамилица!» — подумал Борис Петрович, но вместо
этого сказал:

— Я ж работал, работал! Годами из кабинета не
вылезал, дневал и ночевал... В чем меня еще можно
обвинять? У нас хорошая семья. Воспитали сына.

— Замолчи! — взмолилась Людмила Алексеевна,
припомнив только что подслушанный разговор. — Что,
что ты знаешь о сыне?

— Отличник. Круглый пятерочник.

На столе мелодично зажурчал, словно стеклянный
родник, телефон.

— Да? — Людмила Алексеевна, выслушав, вздохну-
ла. — Понятно. Боря, внеочередное бюро обкома.

— О черт, ни минуты покоя, я еле стою на ногах!
Суббота ведь! — Борис Петрович потянулся за башма-
ками, но вдруг резко выпрямился. — Если бы ты видела
старые характеристики Волкова. — Он замычал: — О! О!

— Воображаю, какую ты напишешь.

Через полчаса Людмила Алексеевна наблюдала с
террасы, как муж удобно усаживался рядом с шофером,
приминяя крупным телом пружины, как вытягивал
ноги, ставил локоть правой руки на выступ дверцы,
чтобы подпереть ладонью щеку, и понимала, что все это
Борису Петровичу привычно и приятно.

Если жизнь Людмилы Алексеевны с мужем за по-
следние годы изобразить предметно, наглядно, в виде
диаграммы, что ли, то прежде всего надо вспомнить
о запыленном, обшарпанном райисполкомовском гази-
ке. Давно этот прилежный работяга сменился скромной,

но сознающей свое достоинство «Победой». Едва эта машина примелькалась синегорцам, появился нагло-самодовольный ЗИЛ...

Нервно усмехнувшись, Людмила Алексеевна взяла со столика книгу, забытую здесь мужем. Это был «Жан Кристоф». Чтобы хоть чем-то заняться, она принялась читать, машинально перелистывая страницы, и наткнулась на следующие строки:

«...Он был не злой человек, но только наполовину добрый,—а это, пожалуй, еще хуже,—слабохарактерный, без всякой способности к сопротивлению, без нравственной стойкости; вместе с тем он искренне считал себя хорошим отцом... хорошим мужем и добряком в душе... Его нельзя было даже назвать эгоистом — для этого он был недостаточно сильной личностью. Самое страшное в жизни — это люди, которые представляют собой полное ничто...»

Почувствовав, что дышать все труднее и труднее, Людмила Алексеевна захлопнула с треском книгу.

Нужно ли писателям так безжалостно заглядывать в душу не только собственных героев, но и своих читателей?

Успокоившись, она признала, что можно прожить всю жизнь, оставаясь внутренне чистой и находя счастье не в пятикомнатной квартире, не в даче со шлагбаумом, не в «персоналке» мужа, а в одухотворенности и целомудрии своей личности, своего бытия.

Видимо, счастье состоит в непрерывных душевных усилиях, в том, чтоб с годами заставить себя не замедлять шаги, не жаловаться на усталость, не присаживаться то и дело, а ставить ногу еще крепче, увереннее, чем ранее, тверже и неумоимо взбираться на крутизну и зорче вглядываться в грядущее.

Она протянула руку за своей карточкой в старинной рамке из перламутра. Эту рамку случайно Борис Петрович приобрел в Ленинграде в антикварном магазине... Рабфаковка Люська Зимина была изображена на ней, полнощечкая девушка с застенчивым, правдивым взглядом.

Часто, очень часто Людмила Алексеевна успокаивала себя, что и теперь седые пряди, словно серебряная рамка, обрамляют такое же молодое лицо. Почти такое же молодое. Особенно в сумерках.

Волков не приехал, а она все это время ждала его. Она ему вовсе не интересна. Она ему не нужна.

Наткнувшись однажды на шлагбаум, он, видимо, безнадежно махнул рукой и решил, что ворошить прошлое нет смысла. Вот он и уехал в Гусятинский район и займется там синегорским гибридом кукурузы, и баранами, и другими увлекательными делами, какие Борису Петровичу представляются лишь скучными цифрами в скучных сводках, и жизнь Волкова станет столь же вдохновенной, умной, страстной, какой была все прежние годы.

Да и чего, в самом деле, он мог ожидать от Людмилы Алексеевны?

Начинать жить по-новому поздно. Поздно!

Неужели — поздно?



О Ч Е Р К И

ПОД НЕБОМ АФРИКИ



1959. ЭФИОПИЯ.
1960. ГАНА, ТОГО, ЛИБЕРИЯ.
1962. СОМАЛИ, ТАНГАНЬИКА.
1966. КАМЕРУН, КОНГО-БРАЗЗАВИЛЬ.

За последние годы в некоторых государствах Африки происходили, и не раз, резкие политические перемены; потому автор предупреждает читателей, что его путевые наблюдения относятся к строго определенному периоду времени и не претендуют на обобщения и прогнозы.



В ДАЛЕКОЙ ЭФИОПИИ

У КРАСНОГО МОРЯ

Самолет приземлился в Асмаре ранним декабрьским утром. Окропленный росой воздух сиял необыкновенной хрустальной ясностью. С ярко-зеленой листвы падали крупные капли, как в России после грозового летнего ливня. Но ведь то ливень, а здесь речь идет об обыденной, каждодневной росе.

У капель тяжесть запонок...

Здесь, в Эфиопии, эта поразительная строка Бориса Пастернака прозвучала особенно достоверно.

Да, в Африке все преувеличено, гиперболизировано от неслыханных щедрот земли и климата. Вот дерево усыпано алыми цветами (это в декабре-то!.. Как видите, москвич еще не расстался с зимними ассоциациями, в Африке вовсе неуместными), круглыми, обширными, как блюдца, а вышиною дерево с трехэтажный дом. Рядом такое же высокошумное дерево, но с цветами уже жгуче-фиолетовыми. Значит, у нас — цветочный куст, а здесь — цветочное дерево... Исполинские кактусы разрастаются в непроходимые леса; их специально сеют в горах, чтобы предохранить склоны от оползней и селевых потоков. Из кактусов устраивают живые изгороди садов и огородов.

Итак, наше путешествие по Эфиопии началось в Асмаре — столице автономной Эритреи. Долгие годы Эритрея была итальянской колонией. Во время второй мировой войны колонизаторы были изгнаны, и освобожденная страна на федеративных началах воссоединилась с Эфиопией. Здесь существует городское и общинное самоуправление, автономный парламент, но верховная власть все-таки принадлежит наместнику императора Эфиопии.

Асмара — чистенький городок, в центральной части начисто лишенный национального колорита: бойко торгующие магазинчики, отели, бары, здания филиалов зарубежных фирм и банков... В трогательном соседстве возвышаются на холме мечеть и церковь — построили их итальянцы; это «бескорыстный» дар колонизаторов «благодарным» мусульманам-арабам и христианам-эфиопам.

И после свержения колониального ига итальянцы сохранили влияние в промышленности, финансах, оптовой торговле, — путник это замечает сразу же по вывескам... И разговорный язык в городах преимущественно итальянский. В Массауа — эритрейском порту на Красном море — причалы, склады, гостиницы, магазины, мастерские принадлежат исключительно итальянцам. Крупнейший завод — соляной — тоже итальянский. Соль, до ста тысяч тонн в год, выпаривают из морской воды в гигантских бассейнах, грузят на

пароходы, кстати, тоже итальянские, увозят в Японию, на Филиппины. Только в Эфиопии эта соль считается столовой, в других же странах она идет исключительно на технические цели. Вообразите же, каково ее качество!.. Но беднякам-эфиопам чваниться не приходится, — была бы сходной цена.

Директор завода, итальянец, пожаловался, что чрезмерно велики производственные издержки: соль быстро разъедает покрышки самосвалов и грузовиков, кожаные и брезентовые ремни и даже металлические детали машин.

Рабочие — эфиопы и арабы — работают полуголые: в шортах, без рубах, босиком. Следовательно, их кожу соль не разъедает.

По словам директора, дневной заработок рабочего-туземца, он так и сказал: «туземца», — два эфиопских доллара. Рабочий-итальянец получает пятнадцать долларов.

Два доллара — билет в кино; два доллара — четыре пачки самых дешевых сигарет; два доллара — литр пива; два доллара — пачка сахара, полкилограмма; два доллара — обед в скромном отеле без пива и виски.

Таким заработком «туземцы» дорожат неимоверно. Увидев толпу скучающих безработных грузчиков у ворот порта в ожидании очередного — итальянского! — парохода, я понял, почему дорожат...

Вокруг порта, соляного завода раскинулся Масауа — плоский скучный городок, пышущий жаром, как раскаленная сковорода.

Единственная отрада путнику здесь — море, которое именуется Красным, но на самом деле то синее, то зеленое, как, впрочем, все без исключения моря.

И на берегу моря чувствуешь себя как бы у огромного естественного аквариума: золотые рыбки, нет, рыбы, рыбки скользят, плещутся, резвятся у твоих ног, восхитая и пленяя радужной окраской, переливами фантастических одеяний. Блики знойного солнца горят на каменистом дне. Вода, поминутно меняющая крепкие синие и зеленые цвета, умножает прелесть этого волшебства.

В Масауа я летел рейсовым самолетом, возвращался в Асмару вечером автобусом.

Дорога штопором ввинчивается в горы.

Если местные жители за что-либо и благодарны итальянцам, так бесспорно за построенные ими дороги: прочные, действительно удобные, с математически точными виражами и, я бы добавил, изящные.

Уже на первых километрах пути в окна автобуса врываются порывы студеного ветерка: нам предстоит подняться от уровня моря в горы на высоту 2080 метров.

Кактусовые леса покрывают склоны. Облака лежат в ущельях. Рядом с шоссе мчится стальная нить узкоколейной железной дороги Массауа — Асмара, ныряет в тоннели, делает головокружительные, словно фигуры высшего пилотажа, зигзаги над пропастями, цепляется за утесы. Поезда крохотные: два-три вагончика — вот какие крутые здесь подъемы... И тут же шагает семи-верстными шагами — металлическими мачтами — канатная дорога: до постройки итальянскими фирмами узкоколейки она переносила из порта грузы в Асмару. Теперь дорога остановлена, застыли вагонетки: в них гнездились горные орлы, ржавеют железные канаты. А разбирать, вывозить опоры, канаты, вагонетки не выгодно: ведь все придется делать вручную. Пусть стоят, пока не рухнут, не перемешаются с прахом.

На шоссе 2500 крутых поворотов.

Невысокие земляные холмики над безымянными могилами красноречиво и, увы, скорбно гласят о том, как опасен труд водителей тяжелых грузовиков.

Беда еще в том, что большинство шоферов умеют лишь «крутить баранку», не имея водительских прав, ибо за свидетельство надо платить 30 эфиопских долларов, а это треть среднего месячного заработка.

Но и в вагоне узкоколейки путник не чувствует себя спокойным: по железнодорожной насыпи бродят стаи обезьян, стада диких верблюдов.

Случается, что паровоз резко тормозит, и машинист и пассажиры палками и камнями отгоняют непрошенных посетителей...

С нами в автобус на переднюю скамейку садятся два солдата, аккуратно набивают диски автоматов па-

тронами. Они охраняют пассажиров от горцев-разбойников. И поезда, даже дневные, тоже охраняются солдатами: нападения нередки...

Через несколько дней на аэродроме в Годаре я видел, как из только что приземлившегося самолета вынесли на носилках раненого; взвыла сирена санитарной машины... Раненого увезли в госпиталь.

— Разбойники, — объяснил будничным тоном полицейский. И, подумав, добавил: — Из богатых...

«Понимаю, что бедняка на самолете не отправили бы», — подумал я.

Путнику трудно, а подчас и невозможно разобраться в местных нравах. Некоторые наблюдатели говорят, что вся беда в том, что император разрешил горцам иметь оружие: в былые годы они храбро сражались против итальянских оккупантов. А директор итальянского отеля в Годаре сказал, усмехнувшись, что император разрешил горцам сохранить после войны оружие потому, что бессилён запретить им иметь оружие...

— Но горцы грабят только богатых путешественников? — наивно спросил я.

— Всегда и всюду разбойники грабят богатых, — пожал плечами итальянец...

А наш автобус со скрежетом, с астматическим кряхтением карабкался да карабкался по круто вползающей в горы дороге. В маленьком селении шоссе преграждено шлагбаумом. Полицейский в шортах, с карабином взимает с шоферов грузовых автомобилей таможенную плату. Дело в том, что после войны узкоколейка была национализирована, доходы с нее поступают в государственную казну. Но частным фирмам выгоднее перебрасывать грузы из Массауа в Асмару грузовиками... Едва доходы железной дороги стали катастрофически падать, ввели таможенный сбор.

Моим соседом в автобусе случайно оказался чех-монтажник. Славяне всегда найдут общий язык, хотя сосед и препотешно коверкал иные русские слова... Он рассказал, что чехи — великие умельцы — изготавливают и продают эфиопским больницам отличное медицинское оборудование. Живет он постоянно в Асмаре,

но ездит по стране, заглядывает и в соседние государства,— монтирует, следит за исправностью аппаратуры.

— А больницы государственные?

— В деревнях — да, но в крупных городах преимущественно частные.

— С кем же вы встречаетесь в Асмаре?

— Недавно приехала группа болгарских инженеров-консервщиков. Будут здесь строить консервный завод.— И, предвосхитив мой вопрос, сосед добавил: — Государственный...

Вечером наш автобус ворвался в Асмару, остановился у мечети. За мечетью, как котел на костре, клочкотал базар. На высоком минарете я заметил раструбы радиорепродукторов. А для чего в самом деле муэдзину надирать горло, возглашая молитву, созывая в храм правоверных? Гораздо удобнее пользоваться микрофоном... Техника!

На базаре толчея не утихала, хотя уже темнело. На каждого покупателя здесь приходилось по меньшей мере два-три продавца... Есть что-то постыдное, унижительное в зрелище здешней торговой нищеты! Молодой мужчина, сильный, с рельефно играющей под коричневой кожей мускулатурой, торгует початками кукурузы, а всего-то их у него пять-шесть. Одежда торговца состоит из распоротого по швам мешка, обернутого юбочкой вокруг бедер. Просяную муку из куля торговка отмеривает баночкой, в буквальном смысле — наперстком. Десяток наперстков — вот и хватит на лепешку, вот семья и сыта нынешним вечером, а утром — что бог пошлет... Мальчишки хватают прохожих за фалды, тянут к ларькам, зазывают, упраснивают, умоляют купить хоть какой-то пустяк. Все дешево, все стоит гроши, особенно апельсины, бананы, но, на беду, у покупателей нету и грошей.

Мы — члены делегации Общества дружбы с народами Африки — пошли пешком от автобусной остановки в отель. Вечер был прохладный, зимний, градусов двадцать тепла... Зажигались огни баров. Тротуары были полны гуляющих, и смеющиеся четырнадцатилетние девушки-проститутки сидели на ступеньках своих бунгалов, у красных полузадернутых занавесок, за

которыми видна двуспальная кровать и икона в углу.

У ворот дома, мимо которого мы проходили, стояла почти невидимая в темноте толпа жильцов.

— Американцы, — сказал кто-то

— Нет, мы русские. Мы из России.

И какая-то женщина сказала по-русски:

— Друзья!

Это прозвучало и неожиданно и трогательно.

Как залетело заветное русское слово в Асмару? После визита императора Эфиопии в Советский Союз на экраны был выпущен наш документальный фильм — дневник его путешествия. Фильм был дублирован на амхарский язык, но несколько раз с экрана звучало по-русски: «Друзья!..» И слово — запомнилось, а запомнилось оттого, что фильм имел в Эфиопии успех баснословный: в кинотеатры отправлялись целые семейства, как на торжественный праздник, для школьников устраивались утренники...

Хорошо жить на белом свете, если тебя в далекой Эфиопии называют на твоём же родном языке — другом!

НА ОЗЕРЕ ТАНА

Тихо на высокогорном озере Тана.

Это — не тишина, а воспоминание о тишине, вероятно, первозданной, библейской.

Теперь там шумнее: построено при помощи Советского государства техническое училище, и корпуса гудят и щебечут, как инкубатор, молодыми голосами без малого тысячи студентов. Построены, тоже с нашей помощью, рыбоконсервный завод, холодильники.

Но в 1959 году, когда я был там, в пустынном безмолвии лежали берега, и безоблачное густо-синее небо отражалось в прозрачной воде, и вода становилась тоже синей — до самого дна.

Венки островов, то круглых, то овальных, похожи на бросившие якоря зеленопарусные шхуны.

Медленно плывет в тишине, в зное, в безветрии наш катер. У руля вахтенный в набедренной повязке. Трое матросов, таких же полуголых, коричневых, сидят свесив за борт ноги, дремлют, созерцают привычную им молчаливую синеву. Торопиться нет смысла: по озеру проложен всего один рейс — к расположенному на отдаленном острове монастырю, да и по этому маршруту катер пускается в плавание лишь тогда, когда приезжают туристы или официальные делегации.

Выплескиваются, пляшут в тугой синей волне серебряными пружинами крупные рыбы, как бы выглядывающая рыбаков, но не заметно ни единой рыбацкой лодки. Лишь у самого монастыря мы нагнали челнок — собственно, это были две спеленатые веревками связки тростника. Сидевший в челноке монах греб не веслом — обыкновенной бамбуковой палкой.

Вероятно, здравомыслящий наблюдатель сказал бы с укоризной монаху с борта катера, что выгоднее и удобнее грести даже не веслом, а обломком доски, чем рассекающей воду палкой.

Но и в этом случае монах бы не повел бровью: а куда, спрашивается, ему торопиться?..

В монастырь на острове впускают лишь мужчин. Это общий для всех эфиопских обитателей закон.

Катер причалил к берегу, и слепой монах повел нас вверх по узкой тропинке; шел он с поразительной уверенностью. Иногда он знаками показывал, что надо нагнуться. А зачем? Я запрокинул голову и ахнул, и озноб пополз по спине — ветки были затянуты плотной сетью паутины, и на ней раскачивались мохнатые, огромные, как совы, пауки.

Желтые змейки шныряли в камнях.

Проводник подвел нас к храму. Это круглый, плетенный из тростника дом с высоким, устремленным в небо куполом, тоже тростниковым. Что за удивительное мастерство! Уму непостижимо, как возможно с такой точностью и гармонией сплести просторный купол и водрузить над храмом.

Эфиопы — христиане, объединяет их Коптская ортодоксальная церковь, во многих богословских и обря-

довых законоположениях близкая нашей русской православной церкви.

Когда я вошел в храм, то увидел такой же деревянный иконостас, те же иконы богородицы, архистратига Михаила, Георгия Победоносца, как и в любой русской деревенской церквушке. Но при входе, будто в мечеть, нужно снять обувь (земляной пол устлан тростниковыми циновками), но у стен стоят большие барабаны — под их рокот и гром монахи исполняют по праздникам священные пляски.

Столетия крепким узлом связали традиции православия, мусульманства, язычества...

В честь советских гостей священник надел красную ризу и с горящей восковой свечой, золотым крестом и евангелием вышел из алтаря, постоял с минутку в строгом молчании, благословил нас и скрылся за занавеской.

Стоял священник на амвоне босой.

Нам показали священные книги. Одна, старинная, была написана на пергаменте, украшена цветными виньетками, заставками, другая — евангелие — отпечатана в Лондоне на амхарском языке в 1927 году.

В трапезной — круглой тростниковой хижине — нам предложили угощение: просяную лепешку (инжера), посыпанную красным молотым перцем, дикие сливы. Перец огнем опалил глотку... В глиняном кувшине принесли медовый напиток — это сырая вода с комками сотового меда диких пчел, гнездящихся здесь же, вокруг храма в дуплах деревьев. Напиток наливали в кубки — выдолбленные засушенные тыквы.

Живут на острове двенадцать монахов — восемь из них слепцы. Хозяйством монахи не занимаются, питаются подаваниями паломников, а если на озере разгряется буря и верующие не рискнут плыть за благодатью на связанных охапках тростника, — то дикими сливами, медом.

Время здесь оцепенело. Столетия как бы проплыли мимо монастыря. И, сидя в трапезной на покрытой циновками земле, вкушая скудные яства, трудно поверить, что уже настал космический век.

Всю дорогу из Годара на озеро Тана я чувствовал себя школьником, с любопытством и недоумением разглядывающим экспонаты в отделе «Прошлое русской деревни» какого-то районного краеведческого музея.

Крестьяне пахали сохой землю.

Нет, не сохой даже — обрубком дерева, царапающим, ковыряющим спекшийся от засухи чернозем.

Но я не в музее, не в России, здесь — Эфиопия, крестьяне полуголые, в одних шортах, коричневая кожа лоснится от пота, в ярмо впряжены зебу, а купол неба знойный, бесконечно синий.

В дореволюционной России — видел ребенком и на всю жизнь запомнил — соху обивали железом, жестью, обжигали на костре, чтобы затвердели древесные волокна. Была при царе такая кондитерская фабрика «Эйнем», — так вот мужики Уфимской губернии обожали ее жестяные коробки из-под леденцов. Жесть была гибкая, но прочная на разрыв — отличные получались наконечники для сохи!..

Здесь же поступают проще: выламывают в лесу кол потолще, поувесистее, прикрепляют к поперечному бревну — вот и готово орудие сельскохозяйственного производства.

Что и говорить, эфиопские крестьяне жили худо, во всяком случае в 1959 году, когда я там побывал. Земля принадлежала помещикам, за аренду крестьяне отдавали половину, а в некоторых провинциях — и три четверти урожая. О севооборотах, об удобрениях еще не прослышали. Обрабатывают одну и ту же делянку до тех пор, пока земля дарует хоть какие-то урожаи, когда почва окончательно оскудеет — переходят на соседний участок: благо, свободной земли еще хватает и помещикам и арендаторам.

Жнут хлеба вручную, серпами. И молотят тоже вручную, палками, провеивают зерно на ветру, подбиравая лопатой. Лишь в некоторых городах есть мельницы — деревня обходится ступками, чаще всего деревянными.

Правда, природа благодатного юга как бы сжалилась над крестьянской долей: собирают три, а кое-где и четыре урожая в год. Без всякого попечения произрастают все злаки. Между прочим, лен здесь, как и во многих африканских странах, культура хлебная, а не лубяная, как у нас, из зерен мелют муку, а волокно выбрасывают.

В дни моего пребывания в Эфиопии император произнес речь о земельной реформе. Смысл этой тройной речи можно передать примерно так: тем, кто не имеет земли, я дам землю; тем, кто имеет землю, но не имеет денег на обзаведение сельскохозяйственной техникой, я дам деньги и технику.

Приятно измученному крестьянскому сердцу императорское благоволение!..

Был обнародован и проект реформы: по нему от помещиков отчуждалась (за выкуп!) необрабатываемая последние годы земля и распределялась среди крестьянства на правах общинного пользования.

— Гм,— скептически хмыкнул знаток Эфиопии — иностранный журналист, многие годы проживавший тут, когда я спросил его на дипломатическом приеме о реформе.— Гм, ясно, что помещики не обрабатывают самую худшую землю. Значит, она и достанется крестьянам?.. Гм, ясно, что если у помещика есть плодородная целина, то он ее мгновенно же вспашет, а следовательно, крестьянам она не достанется... Впрочем, проживем — увидим.

На этом же приеме меня познакомили с заместителем министра торговли и промышленности — женственным, холеным, тридцатилетним... Учился он в Оксфорде.

Мы обменялись протокольными любезностями.

— У него сорок тысяч гектаров кофейных плантаций,— шепнул мне сотрудник советского посольства.— Богач из богачей!

Сомнительно, что заместитель министра добровольно расстанется с таким сокровищем, станет по мере сил споспешествовать земельной реформе.

Трудно сказать, как сложится судьба эфиопского крестьянина в ближайшие годы.

А пока... пока два зебу тянут деревянную соху, а за ней идет босой полуголый крестьянин.

В ДРЕВНЕМ ХАРАРЕ

Харар — маленький городок, он расположен на востоке Эфиопии.

Мы ехали в Харар из Деридавы по извилистой, как котенком перепутанный моток ниток, горной дороге, и автобус летел с такой головокружительной скоростью, что у пассажиров дух захватывало. Кто-то спросил шофера: «Не страшно?» Тот пожал плечами: «Каждый день делаю два-три рейса, глаза завяжи — доеду!..»

Комфортабельный автобус обгонял торговые караваны. Ослики были по-всегдашнему деловиты, прилежны, не глазели по сторонам, сосредоточенно отстукивали изящными копытцами каждую пядь пути. Верблюды, заслушав зычный гудок автобуса, возмущенно шипели и плевались. И на верблюдах и на осликах лежали тюки с пестрыми заграничными этикетками.

Деридава — крупный перевалочный пункт: здесь пролегает узкоколейная железная дорога Джибути — Аддис-Абеба. Купцам выгоднее перегружать здесь заморские товары не на грузовики, а на верблюдов и осликов, доставлять караванами в Харар, в отдаленные провинции. Сроки, видимо, не имеют значения, зато, как говорится, тонна-километр обходится купцу в сущие копейки.

Это хаотическое смешение современности и старины — реактивные самолеты на аэродроме Деридавы и торговые караваны, автомобили новейших марок на улицах Аддис-Абебы и зебу, влекущие деревянную соху на крестьянской делянке, — характерно для нынешней Эфиопии.

Наш автобус все-таки не разбился, как ожидали пассажиры, и, весь в белесой дорожной пыли, влетел на просторную центральную площадь Харара. Эта

площадь действительно величественно просторная. У зданий провинциальных административных учреждений, военной академии, дворца губернатора, казарм гвардейского полка танцующей походкой расхаживали часовые. Одинокие прохожие как-то терялись на фоне великолепных космополитической архитектуры дворцов. Через день я заметил, что крестьяне да и горожане-бедняки предпочитали не появляться на площади, а быстренько прошмыгивали по соседним переулкам.

Вокруг административных зданий расположены учебные колледжи и виллы чиновников, коммерсантов, помещиков.

А на середине площади стоит памятник расу (князю) Маконену — отцу нынешнего императора Эфиопии Хайле Селассие.

Властный могучий всадник, полный гордого величия, — таким изображен Маконен. Этот памятник символистический, он прославляет великодержавие, традицию национальной государственности.

Глядя на него, я вспоминал «Медного всадника» на берегу Невы.

Дело в том, что независимость Эфиопии была всегда для африканских народов необычайно притягательным, вдохновляющим символом. И в Аддис-Абебе и позднее в Москве я спрашивал ученых — когда Эфиопия приобрела независимость? И мне отвечали: «Она всегда была независимой!.. Исторический парадокс!.. За исключением поры, очень, кстати, кратковременной, итальянской оккупации всегда оставалась суверенной».

На одной из площадей столицы страны Аддис-Абебы высится траурный обелиск в честь жертв итало-фашистской оккупации. На прилепившейся, будто ласточкино гнездо, к обелиску площадке стоит изваяние льва.

Лев — символ независимости и величия государства.

Не случайно, что напротив императорского дворца в столице в просторных клетках живут могучие дикие львы, пойманные сетями в джунглях. Это не те ленивые, вечно сонные от обильной пищи животные, каких мы встречаем в зоопарках и цирках, а ловкие, kloko-

чущие силой, молниеносные в прыжках звери — подлинны властелины джунглей.

У памятника расу Маконену, у траурного обелиска с изваянием льва проникательнее всматриваешься в былое и в нынешнюю явь страны.

С 1959 года, когда я побывал там, много событий, подчас бурнокипящих, пронеслось по Эфиопии, — не мне дано изучать их, да я и не собираюсь писать политическую летопись государства.

Скажу лишь, что, по моим наблюдениям, централизация государственного управления, пусть даже монархическая, традиция великодержавия и независимости имеют и теперь для Африки чрезвычайно магическое значение.

Но безбрежно просторная площадь у памятника расу Маконену пуста. Пуста!.. На плацу гвардейской казармы призывно запел горн. Танцующий шаг многочисленных часовых безупречен по своей изящной, но неодушевленной автоматичности.

Где же народ Харара? Пройдем за древние крепостные стены, там, а не на центральной площади кипит жизнь, там можно созерцать быт и нравы народа.

Неистовство, толкотня, то негодующие, то восхищенные возгласы купцов и покупателей: бешеная, до хрипоты мольба скостить цену, зазывные вопли приказчиков-мальчишек, — разумеется, здешний базар сродни всем восточным торжищам.

Терриконы фруктов: апельсинов, бананов, яблок, обломков сахарного тростника. К сожалению, приедем лакомиться плодами не рекомендуется во избежание хворостей, которые к коренным жителям не пристаут.

Портные, согнувшись, шьют рубашки тут же на улице, около лавок, с силой нажимая босыми ногами на педали швейных машин; безумной «леопардовой» расцветки мужские и детские рубашки поминутно появляются в витринах.

Горцы с винтовками за плечами рассматривают товары бесстрастно; будто пришли сюда не покупать, а похвастаться осиными талиями и скользящей, как бы летящей походкой.

Окраска кожи покупателей и торговцев самых различных колеров и оттенков — от золотистой до румяно-красной, похожей на пенку вскипевшего молока, до угольно-черной. И гамма татуировки тоже бесконечно разнообразна: треугольником надсечены верхние губы, дабы обнажить кипень плотных зубов; в ноздрях золотые и медные запонки, словно божьи коровки, в правом ухе тяжелая серьга с подвесками, а то и попросту обрубок медной проволоки; на щеках, на шее, на руках кожа усыпана синим бисером вытатуированных узоров.

Здесь и амхарцы (основное, самое обширное племя Эфиопии), и основатели города — харари, а осталось их теперь всего 35 тысяч, и арабы, сомалийцы, негры, тиграи, армяне, индусы.

Широконосые, толстогубые негритянки сказочно прелестны: ну, впрямь ожившие древнегреческие статуи. И не только девушки — матери трех-четырех детей: старшие цепляются за юбку, младший выглядывает из торбы, подвешенной за материнской спиной. Хотя... хотя я — пришелец — забываю, что многодетным матерям всего по шестнадцать-семнадцать лет.

Внезапно толпа раздвигается: помещик в белом, с красной каймою хитоне шествует с тем подчеркнуто скромным видом, какой хуже гордыни, с тем ханжеским смирением, каким отличались и русские помещики (с дореволюционного детства мне это запомнилось!). За помещиками следуют вооруженные винтовками и пистолетами телохранители.

От горцев-разбойников охраняют? Или от крестьян-арендаторов, доведенных до отчаяния нищетою и невыносимыми поборами?..

Полицейские в шортах и широкополых шляпах тщательно следят за фотокамерами иноземцев: фотографировать в новых, европейского типа кварталах, на центральной площади у дворцов и казарм разрешается; на базаре, в старых улочках, где и сохранился национальный колорит, но зато царствует нищета, дикость, возбраняется.

Крестьяне, как я заметил, чаще сами покупали муку, просяные лепешки, кукурузу, чем продавали что-либо съедобное. Стояла эфиопская зима, и, как видно,

запасов уже не хватило — помещики, не без содействия своих телохранителей, уже содрали причитающуюся им натуральную плату за аренду земли.

Проехал на велосипеде монах в коричневой рясе, подпоясанной веревкой.

Спешит, семенит, почти бежит негритянка; все одеяние — короткая ситцевая юбочка, небрежно накинутая на плечи косынка не прикрывает твердо торчащих грудей: шея и щеки покрыты голубыми крапинками татуировки; в левой ноздре просверлена дырочка, в нее вставлена золотая бусинка. На уложенной низкими валиками косичек голове стоит... пустая бутылка. За спиной женщины, в котомке ребенок с прелестным черным личиком.

Расторопный юноша на фантастическом смешении всех языков и наречий предложил отвести к «знаменитому ювелиру» Харара.

Узкие переулки переплетались, змеились, сматывались в клубок и опять разматывались, — наш же Самарканд, нашу Бухару напоминали мне эти высокие каменные заборы, эти глинобитные стены домов с плоскими крышами, с окнами, выходившими во внутренние дворики.

В низкой, закопченной мастерской, с горном, тисками, в углах и на полках валялись мотки медной проволоки, молоточки, напильники. Хозяин, подмастерья, мигом примчавшиеся детишки, тотчас же появившиеся соседи, соседки встретили советских гостей с истинным радушием. Пачка московских сигарет пошла по кругу, вызвав восторг курильщиков.

Хозяин вытащил широкий ящик с насыпанными, как горох, старинными монетами. Я ничего не коллекционирую, большой доблести в этом нету, но невозмутимость в подобных, как визит к «знаменитому ювелиру», случаях позволяет мне попристальнее приглядеться к ремеслу и быту мастеров.

Древние монеты всех стран и всех народов свидетельствовали, что здесь, через Харар, пролегали большие торговые пути Африки. Но подлинных монет, пожалуй, в ящике было столько же, сколько поддельных... Кольца, ожерелья, браслеты — изделия хозяина — никак не подходили к категории драгоценностей,

а выразительно говорили о мастерстве и художественном вкусе народных умельцев Эфиопии.

Видимо, кузнечным и слесарным ремеслом хозяин занимался куда чаще, чем ювелирным, — на земляном полу стояли какие-то кувшины, кастрюли, жестяные бидоны, керосинки; тут же лежала груда подков. Хлопотавшая у очага хозяйка раскатывала ту же просяную лепешку, какой преимущественно питаются здешние бедняки.

Так что надежда перенестись в царство сказок «Тысячи и одной ночи» не сбылась, и я лишь порадовался за своих спутников, купивших по сходной цене кое-какие безделушки.

Вообще-то уместно добавить, что на базаре местная продукция исчерпывается кустарными изделиями, дешевой одеждой (ткани привозные) и, конечно, продуктами питания, лавки же завалены иноземными товарами, не шибко добротными, но нагло яркой, пестрой окраски...

А поздним вечером мы поехали смотреть кормление диких гиен.

Охотник, живущий в хижине за крепостной стеною, на самой кромке джунглей, приучил гиену приходить к его вечернему костру за костями. Но много ли костей наберется за день у очага эфиопского охотника?.. Прослышав о диковинке, дирекция лучшего харарского отеля, в котором, кстати, и мы остановились, обязалась снабжать охотника костями со своей кухни, выговорив себе право возить на вечернюю трапезу туристов. Как и можно было ожидать, едва костей стало больше — звери начали приходить стаями.

В книгах пишут, что гиены трусливы и не нападают на людей, но местные жители все-таки остерегаются встречаться с ними в джунглях.

Честно скажу: в сумерках даже из автобуса глядеть на выходящих из кустарника взъерошенных, ловких в быстрых прыжках зверей как-то боязно...

Костер горел у крепостной стены. Тут же начинались джунгли. Ночные джунгли трудно изобразить словом, а кистью художника. Это непроницаемая отвесная темная стена деревьев, кустарника,

лиан, исполинской травы. Плодородие здешней почвы доходит буквально до иступления. Достаточно на окаменевший от зноя клочок упасть дождевой капле, как земля вскипает зелеными побегами. И теперь топчи, жги, руби топором,— все тщетно: яростно рвутся к солнцу стволы, стебли.

Мы сидели на еще теплой земле, и, конечно, тут же вертелись полуголые, а то и вовсе голые мальчишки. — Манона-а-а! — заунывно звал охотник ту самую, впервые подружившуюся с ним гиену.

Трудно сказать, Манона ли подходила к костру, — ночью действительно все гиены серые, — но тотчас высокая, ростом и статью с молодого бычка гиена прыгнула из темноты и, учтиво взяв из рук охотника кость, умчалась, урча от вождения.

В костер подбросили охапку сушняка, и огонь прижался к земле, и в зыбком полусвете-полумраке рядом с нами кружились, прыгали, катались с рычаньем, с сиплым лаем, с визгом звери; их становилось все больше и больше, уже 15—20 гиен метались, кружились в каком-то жертвенном танце, но вдруг пламя, охватив трещащие сучья, всплеснулось высокой волною, и ослепленные звери, огрызаясь, убежали за дорогу.

Вернулись они через минуту и опять начали ловить пастью бросаемые охотником кости, и опять благовоспитанная Манона взяла из его рук очередную подачку.

Со стороны городских хижин, прижавшихся к крепостной стене, раздались сердитые женские возгласы — это матери собирали пригревшихся у костра детей, напоминая, что спать пора.

Мальчишки умчались, прыгая через прижавшихся к земле гиен; у хижин слышались упреки, даже затрещины.

И в наступившей тишине гиены, пританцовывая, крались к костру.

А возвращаясь в город, мы видели из окна автобуса, как по тротуарам в свете ультрамодернистских фонарей деловито трусили гиены, стайками, — спешили до рассвета закончить санитарную очистку Харара.

За нашим отелем, на ровном пустыре прямо на земле спали, накрывшись мешковиной, лохмотьями,

бездомные. Оказалось, что их много, очень много в Хараре. Серые бугорки, совсем как земляные холмики у нор сусликов в нашей южнорусской степи.

На центральной, абсолютно пустой площади танцующей походкой маршировали часовые у дворца губернатора, у военной академии, у гвардейских казарм.

Ночью петухи пели за окном отеля, как в рязанской деревне.

АФЕВЕРК ТЕКЛЕ

Памятник расу Маконену в Хараре создал Афеверк Текле, выдающийся художник современной Эфиопии.

Я был в его мастерской в Аддис-Абебе и убедился, что безмерно талантливый Афеверк чувствует себя уверенным мастером не только в скульптуре, но и в живописи, в графике.

У него необыкновенно удлиненные изящные руки. И когда художник показал мне свою икону, то я увидел, что и у Богородицы такие же узкие красивые руки. И на других его иконах-фресках у Христа, у ангелов и архистратигов такие же, похожие на золотистые виноградные кисти, руки.

На его картинах пылает то беспощадно знойное солнце Африки, какое превращает валяющуюся в пыли консервную банку в свой, тоже солнечный «спутник», слепящий, обжигающий глаза; сияет тот родниково прозрачный воздух, еще не затуманенный дымами заводов, фабрик, какой доступно увидеть лишь в горах Эфиопии; синеет та хрустальная синева неба и воды, какой чарует озеро Тана. Ни полутеней, ни полутонов. Краски гиперболизированной чистоты и сочности.

Художник повел меня в кафедральный собор св. Георгия, чтобы показать свои иконы. Взойдя на паперть, он благоговейно поцеловал врата собора.

В притворе мы сняли ботинки.

Тут же мне бросилась в глаза огромная, во всю стену, необычайно грубая по краскам картина: император Хайле Селассие во время войны 1935—1936 годов

с итальянскими фашистами стреляет из зенитного пулемета по вражескому самолету.

Но картина ли это? Плакат? Может быть, цветная фотография? Нет, это икона. Верующие коленопреклоненно ставят перед нею свечи, молятся, припадают устами к изображению императора.

Император свят.

Не ведаю, стрелял ли Хайле Селассие из пулемета, но если народ наивно обожествил императора, возвел его на икону, то это свидетельствует о том, как сложна, противоречива жизнь современной Эфиопии.

Полный титул императора гласит, что он «Всепобеждающий Лев Иудей».

Хайле Селассие — 225-й потомок царя Иудеи Соломона. Примерно три тысячи лет назад великая и прекрасная царица Савская правила государством Аксум, расположенным на территории нынешней Эфиопии. По приглашению царя Соломона царица Савская приехала к нему в гости, и они любили друг друга, и сын их, царь Менелик Первый, основал и ныне существующую династию императоров Эфиопии.

Легенда ли это? Подлинная история?..

Вероятно, и легенда, и в течение каких-то столетий история, но дело даже не в этом, а в том, что и сейчас императору воздают почести как наместнику всевышнего на нашей грешной земле: когда он приезжает в деревню, в провинциальный город, то все жители падают на колени, и лишь особо уважаемым старейшинам разрешается целовать босые, в золотых сандалиях ноги...

В кафедральном соборе талантливому Афеверку Текле принадлежат небольшие иконы-фрески. Он не изображал эпизоды минувшей войны, он не рисовал императора-пулеметчика, хотя относится и к таким сюжетам с уважением, он взял обычные религиозные мотивы.

В образе Богородицы прежде всего пленяет и восхищает не святость, а материнство, кроткое, любящее безгранично ребенка... Перед нами обычная эфиопская женщина — мать не только Христа, не только богочеловека, но вообще человека, младенца, которому — как знать! — еще доведется со временем идти за сохой по

влажно-черной борозде... Свет материнской любви падает тебе в душу, вполне атеистическую, и ты растроган, ты умилился.

Но во фресках Текле сказываются и канонические формы, напоминающие византийские и наши древние иконы. И это понятно: иначе верующие не признали бы фрески иконами, достойными поклонения и молитвы...

О русских старинных иконах Текле говорил с восхищением и преклонением, — в ту пору он их знал лишь по альбомам цветных репродукций.

Кремлевские соборы, коллекции иконописи Третьяковской галереи Афеверк Текле увидел, пытливо изучил летом 1964 года, когда в Московском Доме дружбы с народами зарубежных стран была открыта выставка его избранных произведений.

Меня потрясли две картины: «Цветок маскаля» и «Мать Эфиопия».

...На темно-оливковом фоне гор стоит девушка-эфиопка; сине-черные косы ее уложены высокой короной, на ней белое узкое платье и ярко-красная накидка с золотой каймою. В удлинённой, золотистой, как виноградная кисть, руке девушка держит солнечно-желтый цветок — маскаль.

Маскаль цветет единожды в году — в сентябре, а сентябрь — начало эфиопской весны. В эти благословенные дни солнечным сиянием маскаля пылают все горы и доли Эфиопии; в каждом доме, даже в бедной хижине крестьянина обязательно в кувшине красуется огненно-золотистый лепесток маскаля.

Маскаль растет лишь в Эфиопии, почему-то он не встречается ни в одной африканской стране, даже соседней.

И подумалось мне, что если для сердца каждого эфиопа лев — символ независимости и величия государства, то огненный цветок маскаля — символ весны, вечного обновления жизни на земле.

«Мать Эфиопия» — как бы сколок с иконы Богородицы в храме св. Георгия, но преображенный волшебным даром художника. То материнство, какое прельщало в иконе, здесь обрело отчетливые реалистические очертания.

Мать в белом плаще с узорной оторочкой укачивает младенца, прелестного, лежащего в светло-голубом одеяльце. Склоненное лицо матери сияет нежностью, умиротворенностью.

Это уже, вправду, не иконописная Богородица, а Мать всея Эфиопии, всех эфиопских детей...

Картину «Мать Эфиопия» Афеверк Текле впервые выставил в Москве.

Чрезвычайно интересны почтовые марки, нарисованные художником, — иные уже отпечатаны, некоторые были представлены в эскизах.

На крохотном пространстве марки художнику надлежит быть особо выразительным и лаконичным. Почтовая марка — не рисунок, не акварель, это — плакат в миниатюре, броский, так и режущий глаз... И мне кажется, что Афеверк справился со своей наитруднейшей творческой задачей превосходно.

Целая сюита марок является художественной летописью Эфиопии.

Мы видим легендарную царицу Савскую — правительницу страны три тысячелетия назад. Вот царь Каллеб, открывший Эфиопии путь к океану. Вот лик царя Лебна Денгель, тридцать лет подряд отражавшего на страну натиск турецких полчищ. Вот образ философа Зара-Якоба... Но не только старина влечет художника: Текле создал живописные серии «Конференция независимых стран Африки 1958 г.», «Африканская солидарность».

Кому же и создавать эту выдающуюся по художественной гармонии летопись, как не сыну эфиопских гор и полей!.. Отец Афеверка погиб в 1935 году в боях с итальянскими оккупантами. И трехлетний сирота был ранен дважды: осколком гранаты и пулей. Фашистские молодчики не щадили ни стариков, ни детей...

Мальчик выжил, окреп и года через два-три превратился в одержимого художнической страстью подвижника: он не проказничал со сверстниками, а непрестанно рисовал, рисовал на клочках бумаги, на дощечках, на обрывках пергамента, кожи. Монах-живописец из соседнего монастыря Алека Ворку заметил увлечение мальчугана, поверил в его талант и представил при случае императору, и Хайле Селассие учредил

для Афеверка свою — императорскую — стипендию, и Текле семь лет учился живописи в Лондоне.

Произведения Текле ныне пользуются триумфальным успехом на международных художественных аукционах, но жаль, что многие из них безвозвратно переселяются в европейские и заокеанские страны.

Правда, памятник расу Маконену, фрески-иконы в соборе св. Георгия нераздельны с Эфиопией. Афеверк молод, трудолюбив до иступления, будем верить, что новые его произведения, еще более дивные, совершенные, останутся в национальных хранилищах «Матери Эфиопии», которой отдана вся любовь его щедрого, доброго сердца.



ГАНА, ТОГО, ЛИБЕРИЯ

КОРОЛЕВА



Мы поехали с официальным визитом к вождю племени: название и местонахождение племени не имеют существенного значения. Условимся: «Где-то в Гане...»

Республика Гана, как и многие африканские государства, вполне независимые, суверенные, и поныне распадается на обособленные племена; у каждого племени или у

группы племен свой язык, свое наречие, порою из нескольких сотен слов.

В Гане примерно 198 племен. Что значит «примерно»?

В отдаленных северных провинциях, в джунглях кочуют племена, о которых в столице толком никто не знает; во всяком случае, когда я был в Гане, не знали.

И так случается: живут люди в одной стране, а потом уйдут в другую, соседнюю. Границы-то между республиками проложены лишь на географической карте. Той границы, какую мы представляем по кинокартинам, по приключенческим книгам, — с зоркими пограничниками, контрольными полосами, проверкой паспортов, визами — не существует. И паспортов тоже нет.

На севере Ганы живут племена, говорящие на языке моси-гуси. Но и в соседних странах: Верхней Вольте, на Берегу Слоновой Кости — тоже живут деревнями, кочевьями охотники, крестьяне, говорящие на языке моси-гуси. Родичи! Обширное некогда племя с течением времени распалось на несколько поселений. Кто же заметит, что какая-то маленькая община «нарушит» границу и перекочет в соседнее государство?

Во главе племен стоят вожди — полноправные, а кое-где «почти» полноправные повелители своих подданных.

Вождей крупных племен называют королями, в мусульманских республиках — султанами. В обыденной речи их именуют проще: чифами. Чиф — английское, чуть-чуть жаргонное произношение слова «шеф». Значит, чиф — глава, руководитель, хозяин.

Вот к чифу — вождю одного из ганаянских племен, — мы, члены делегации советского Общества дружбы с народами Африки, и поехали жарким зимним утром.

Ганаянская зима: ночью 25, днем 35—40 выше нуля...

Отлично построенная английскими инженерами профилированная асфальтированная дорога шла берегом Гвинейского залива. Кокосовые пальмы с длинными, раздуваемыми океанским ветром листьями были похожи на украинские или кубанские ветряные мельницы.

Атлантика катила на прибрежные скалы крутые, метра три высотой, валы, дробила их с пушечным грохотом, взвихривала неистовые гейзеры.

На широкой лужайке подковой выстроились пришедшие из джунглей кланы.

Если вы помните романы Вальтера Скотта, то знаете, что «клан» — слово шотландское, означающее род.

И в нынешней Африке кланы — роды, большие густоветвистые семьи; это и деревни, как правило, состоящие из родственников. Племена распадаются на кланы.

Перед каждым кланом стояли барабанщики.

Барабаны в Африке до сих пор не только музыкальные инструменты, но и своего рода телеграфные аппараты. Живут в джунглях по соседству два племени, а наречия у них разные: люди не понимают друг друга. И вдруг забили барабаны: «пожар», «хищные звери», «наводнение» и т. д. Эти мотивы, определенные ритмы понятны всем жителям. Конечно, это не музыка, а телеграфный код, звуковой шифр.

Известный исследователь Африки Лоуренс Грин писал:

«Барабан заменяет африканцу граммофон и оркестр, радио, телефон и телеграф, вместе взятые».

Капитаны пароходов на реке Конго барабанными мелодиями заранее заказывают дрова на пристанях, сообщают, когда придет пакетбот, сколько топлива ему понадобится.

Однажды Грин плыл по Конго.

«Вместе с жарким дыханием ветерка до наших ушей донеслись едва слышные звуки: «тэп, бум, тэп». «Говорящие барабаны», — вяло произнес капитан. Минуту спустя, когда перед нами вырос черный матрос и быстро сказал что-то по-французски, усталость у того как рукой сняло.

«Барабаны разговаривали с нами, — сказал мне капитан. — Ниже по течению находится белый с женой и ребенком. Все трое больны и спешат в больницу в Альбертвиль».

Через несколько часов, — подумайте: через несколько часов! — пакетбот причалил к пристани,

и вступивший на борт священник-католик сказал капитану и Грину:

— Хорошо, что вы прибыли! Управляющий рудником и его семья скоро будут здесь!

Как видите, «говорящие барабаны» передали тревожную весть, мы бы сказали — телеграмму, быстро и точно.

Через несколько минут из джунглей вышел инженер-европеец; носильщики на носилках — мачила — несли больную его жену и маленькую, тоже больную дочку...

Лоуренс Грин утверждает:

«Белый человек слышит звуки, только и всего. «Бум... та... ра... рат... бум!» Африка слышит их и понимает».

Разумеется, на церемонии приема советских гостей, о которой я вам рассказываю, барабанщики были музыкантами, а не телеграфистами, как обычно, и знойный воздух буквально взрывался от грома, грохота, треска, стука...

На краю поляны на низкой террасе с дощатым настилом стоял трон, на нем восседал вождь. Король! Корона из чистого золота венчала его голову. Шесть телохранителей с пистолетами окружали трон; у каждого из них жезл с фантастическими птицами и зверями, тоже золотыми.

Не случайно, как видно, Гана до обретения независимости называлась колонией Золотой Берег.

В прошлом веке англичане добывали, да и сейчас добывают из недр Ганы колоссальное, никем и никогда не подсчитываемое количество золота.

Что ж тут удивляться, что и вождю перепала от «добрых» колонизаторов толика баснословных сокровищ...

А рядом с троном в кресле сидела королева.

Мы сразу смекнули: королева... Ее осанка была величавой, держалась она с подлинно царственным достоинством. Просторное ярко-красное платье изящными складками драпировалось на ее стройном теле.

Мы обменялись с вождем приветственными речами, вручили подарки: московские сувениры.

Хотя король и учился в Оксфорде и отлично владел

английским языком, по обычаю он мог разговаривать с чужеземцами лишь на наречии своего племени. Таков незабываемый церемониал. И потому речь вождя пересказал по-английски так называемый «лингвист» — переводчик.

Речь вождя показалась мне чрезмерно церемонной.

А затем говорила королева. Вот это была речь пламенная!.. Она обращалась прежде всего не к гостям, а к своему народу. Она говорила о крепнувшей дружбе народов Ганы и России... Понятие «Советский Союз» не распространено в Африке: здесь обычно говорят по-английски Раша — Россия. Она призывала к миру во всем мире. Она бичевала колонизаторов, империалистов.

«Боевая королева!» — подумал я.

Чиновник министерства информации, сопровождающий нас в поездках по стране, переминался с ноги на ногу.

На смуглом лице вождя застыла маска учтивого безразличия.

Толпа отвечала королеве восторженными возгласами.

Едва королева закончила речь, вождь поднялся с трона. Мы совершили круг почета. Слуга нес над вождем зонтик, дабы лучи палящего солнца не обожгли его пресветлый лик. Телохранители по-прежнему окружали неспешно шествующего вождя.

Перед каждым кланом вождь останавливался. Барабаны били «славу»: один и тот же музыкальный мотив. Это был гимн верности... Это была присяга. Со скучающим видом король произносил слова приветствия. Вновь оглушительно взрывалась барабанная дробь.

А королева бросала в толпу зажигательные лозунги на языке своего племени, и люди буквально бушевали в восторге, кричали до хрипоты, тянулись, чтобы коснуться ее платья.

«Ее здесь любят, — подумал я. — А вождя, видимо, уважают... Или, вернее, побаиваются».

Теперь гремели все оркестры, толпа кричала, пела, и под звуки этой ликующей праздничной музыки, этих ритмов, стремительных до головокружения, королева уже не шла, а как бы танцевала. Это было грациоз-

но... Она словно плыла, ее гибкие светло-коричневого цвета руки порхали, будто птицы, то взлетающие, то опускающиеся в траву. Она одаряла и нас, гостей, и любующихся ею соплеменников улыбкой. Вдруг она останавливалась и опять обращалась к народу с каким-то призывом.

«Странная королева!» — удивлялся я.

Мы пожимали бесчисленное количество рук. До сих пор высшая честь африканцу — протянуть ему руку, не кивнуть, а именно первым предложить обменяться рукопожатием. «Конечно, иностранцы охотно здороваются за руку с нашими министрами, богачами, — объясняли нам местные интеллигенты, — но только советские люди первыми протягивают руку крестьянину, рабочему, шоферу, официанту». И мы — люди действительно советские! — здоровались со всеми, пожимая то узкую девичью, то тяжелую, грубую — мужичью, то сильную юношескую руку, то слабую детскую ручонку.

К концу церемонии пальцы мои распухли, онемели...

Свершив круг почета, вождь милостиво попрощался с нами, пожелав гостям здоровья и всяческого благополучия. И проследовал в свою резиденцию — сплетенную из тростника, прикрытую пальмовыми листьями круглую хижину; телохранители шагали по бокам и сзади, слуга нес зонтик.

На стене дворца-хижины сажей были нарисованы трон, перекрещенные мечи и весы.

Любой прохожий поймет, что трон символизирует тронный зал, официальную резиденцию вождя. Перекрещенные мечи грозно гласят, что вождь — предводитель военной дружины. А весы — эмблема правосудия; вождь, чиф — верховный судья.

Институт вождей во многих молодых африканских республиках все еще носит поистине средневековый характер.

Вождь судит, командует воинами племени. Он дает разрешения на браки и разводы, делит наследство своих умерших подданных. Он сборщик налогов, а сколько денег передаст он в государственную казну и сколько останется в его кармане — бог весть! В языческих пле-

менах, а в Африке есть и такие, вождь — верховный жрец, он совершает все религиозные обряды.

Конечно, здесь нету единого статута: чем ближе племя к столице, к городу, тем власть вождя становится слабее, номинальнее, но в джунглях, далеко-далеко от республиканских властей, чиф по-прежнему владыка души и тела, имущества своих подданных.

Земля в Гане принадлежит племени, общине, но на деле ею полновластно распоряжается вождь.

Разрешите прибегнуть к авторитетному свидетельству ганаянского писателя Эндриу Аманква Опоку. Вот как он рассказывает о покупке земли:

«...На следующий день вождь и его советники поднялись очень рано. Кваме (крестьянину) и двум его племянникам дали знать, что их ждут. Все трое поспешили к дому старосты.

Когда после должных приветствий все расселись, глашатай вновь спросил пришельцев о цели их прибытия. Вместо них ответил казначей племени Санпа-ахене, избранный их покровителем. Он сказал, что семейство Кваме ждет ответа на свою вчерашнюю просьбу о выделении ему участка земли.

Глашатай попросил их подробно рассказать, что они хотят получить. Собираются ли они купить участок или же хотят арендовать его с тем, чтобы впоследствии отдавать владельцу треть собранного урожая? Или, может быть, они желают расчистить участок джунглей, посадить деревья какао и, когда те начнут плодоносить, разделить участок пополам с владельцем?

Кваме ответил, что для него лучше всего было бы купить землю.

Вместе с советниками вождя семейство Кваме отправилось в лес, где им показали выделенный для них участок...

Все внимательно осмотрели участок, перемерили его и установили межевые знаки. После этого добровольные помощники покупателей потребовали рому и барана, чтобы отметить столь важное событие. Вся группа возвратилась в деревню, где начались переговоры о цене. Люди Моква (вождя) сказали, что они хотят вести дело с пришельцами на добрососедской осно-

ве, поэтому они просят за участок только 200 фунтов стерлингов, ящик рому и жирного барана. Кваме собрал все деньги своего семейства и здесь же на месте уплатил всю сумму до последнего пенни, получив взамен свидетельство о покупке...»

Конечно, цитата затянулась, но как-то грешно отказать от столь «густой» прозы, насыщенной точными подробностями, которые я выделил разрядкой:

Третий урожай... участок делится пополам... 200 фунтов...

Средний заработок рабочего в Гане в дни, когда я там был, равнялся пяти фунтам стерлингов (английских) в месяц.

Но дело даже не в цене, а в том, что семья Кваме купила у вождя участок джунглей — его еще надо расчистить, перекопать. Предположим, что переселенцы посадят шоколадные деревья, — первые плоды какао они получают через три года; полноценный урожай бобов какао соберут через пять лет.

Значит, пять лет семья не получит с участка ни пенни дохода и будет залезать в долговую кабалу: некоторые вожди победнее тоже занимаются ростовщичеством...

Пока у вождей земля, налоговые деньги, телохранители, оруженосцы, — они всемогущи.

Вожди бесконечно богаты; капиталы они хранят, ясно, в европейских банках. Дети вождей учатся в аристократических колледжах Англии и Франции: цвет кожи богатых учеников не имеет значения... Вожди держат дружины вышколенных, готовых на любое злодеяние воинов; оружие поставляют контрабандисты.

Власть вождей усиливается и многоязычием.

Вот у мальчика на правой щеке высоко, у виска, татуировка: шесть синих зарубок ровной лесенкой. Это и украшение, но это и герб, знак принадлежности к тому или иному племени.

Представьте, что пятилетний мальчуган убежал из деревни, пошел куда глаза глядят — такие истории с детьми случаются не только в Африке, но и у нас... Выбежал на шоссе. Теперь он в буквальном смысле среди чужих: никто из прохожих, пассажиров автобуса не понимает наречия его племени. А по татуировке

добрый человек или даже полицейский определит, из какого племени мальчик, возьмет за руку, отведет в деревню.

Мальчик подрост, ему 15—16 лет, — в джунглях и работы нет, и заработков нет. Сельское хозяйство ведется, как говорится, «на авось и небось»: либо уродится, либо не уродится... Зайдем в банановую рощу — она похожа на дикий лес: никто не убирает гниющие сучья, листья, сорняки, не рыхлит почву. Плантация сахарного тростника выглядит первозданной, словно тростник сам собой появился на божий свет. Делянки шоколадных, кофейных и каучуковых деревьев не удобряются, не вскапываются.

Судьба подростка трагична.

Он уходит из деревни поскитаться, на людей посмотреть, себя показать. Может, где и работенка подвернется... По шоссе летят вереницы грузовиков, африканские шоферы сердечны: подними руку — обязательно подвезут бесплатно.

Но подросток должен знать хоть десятка три-четыре английских фраз (в бывших французских колониях, естественно, французских), чтобы объясниться с шофером, с торговцем, с полицейским, с хозяином, наконец, у которого удастся найти работу.

Наречье родного племени ему уже никогда в жизни не пригодится...

Я говорю об этом так подробно для того, чтобы вы поняли, как трудна и сложна, порою мучительно сложна в современной Африке, в данном случае в Гане, не только политическая, но и бытовая, даже речевая обстановка, с каким великим трудом молодым республикам приходится выдираться из-под гнета феодального средневековья...

Но вернемся к удивительной, как критики говорят, явно не типической королеве. Когда король удалился во дворец-хижину, королева осталась с нами, была мила, радушна, рассказывала при помощи переводчика «лингвиста» о жизни племени, но теперь в ее словах я уловил какие-то новые, сугубо деловые черточки. Она как бы превратилась в практического работника. Что за чудеса!.. И откуда берется эта, казалось бы, несвойственная ее сану откровенность.

— Ну, королевы у вас пошли! — шепнул я чиновнику министерства информации.

Тот вытаращил глаза.

— Какая же это королева? Это секретарь местной партийной организации! Парторг племени!..

«ПИОНЕР АШАНТИ»

Кумаси — прелестный городок, где воздух густосиний, где кустарники сидят на порогах хижин и вырезают из черного и красного дерева барельефы и статуэтки, где веселые юноши в шортах и в украшенных красочными изображениями африканских зверей и птиц блузах (по-нашему, «ковбойках») толкутся день-деньской на тенистых улицах, ибо работать им, к сожалению, негде; где толстые щеголихи вечерами прогуливаются по бульварам; на них красные кенте — хитоны из кустарной выделки ткани — и белые перчатки, и это сочетание черной блестящей кожи, красного одеяния и белых, высоких, до локтя, перчаток в сиянии фонарей очаровательно.

Кумаси — столица королевства Ашанти.

Да, на севере республики Гана существует вполне суверенное королевство. Короли Ашанти — персоны до того значительные, что даже в колониальные времена не подчинялись генерал-губернатору Золотого Берега, а присягали непосредственно королям или королевам Великобритании и этим как бы подчеркивали свою династическую независимость.

Король принял нас не в тростниковой хижине — в просторном дворце, построенном величественно и прочно в викторианском стиле.

В передней нам бросился в глаза вымпел футбольной команды «Динамо». Динамовцы приезжали сюда, сражались при пятидесятиградусной жаре с местными футболистами и, разумеется, обязаны были нанести протокольный визит королю.

Беседуя с нами, король восседал не на троне, а на самом обыкновенном стуле, и обошелся без «лингвиста», и без короны, и без телохранителей, хотя во дворце есть

тронный зал с соответствующими атрибутами королевского достоинства.

Говорил король на чистейшем английском языке — он учился в Оксфорде. На нем был строгий темный костюм, такой изысканно скромный, какой, видимо, только король и может приобрести.

«Мужчина тогда хорошо одет, когда на него не оглядываются в толпе», — гласит английская пословица.

В беседе с нами высокопоставленный хозяин обнаружил недюжинное знание международной политической обстановки, ни словом не обмолвился о президенте Кваме Нкрума, о республиканских порядках, сказал, что хочет посетить Москву, но летом, когда настанет жаркая погода, холодов он боится.

— Мы подарим вам медвежью шубу!

Король добродушно расхохотался.

Нас сопровождал редактор-издатель местной газеты «Пионер Ашанти», видный общественный деятель.

После аудиенции у короля он пригласил нас к себе на ленч — второй завтрак.

Газета «Пионер Ашанти» выходит, конечно, на английском языке, однако на четвертой полосе печатаются важнейшие события на языке хауса (ашантийском). Еще в прошлом веке английские миссионеры создали в королевстве письменность, издали молитвенники, но с тех пор литературный язык хауса не развивался, словарный фонд беден, попросту говоря, слов мало.

И на родном наречии можно сейчас выразить короткие, не требующие сложных словосочетаний телеграммы, королевские указы, правительственные распоряжения.

Так что интеллигенция Ашанти обходится до поры до времени чужим языком.

Но такое положение во всей Гане: центральные газеты выходят тоже на английском языке.

Правда, в столице выходят бюллетени на племенных языках: га, фанти, аквапим, асанти, эве, нзима, дагбани, казем. Печатаются в них информационные материалы. Бюллетени распространяются бесплатно в племенах. А читают ли их в деревнях? Неизвестно... Не верится, что вожди стараются приохотить своих подданных к чтению республиканских изданий. Выхо-

дят бюллетени от случая к случаю, по мере накопления материалов.

Редактор «Пионера Ашанти» живет в двухэтажном особняке; тут же, во дворе, находится его типография. Советские путники — дотошные; мы, естественно, заглянули в типографию. Это обычная коммерческая, технически хорошо оборудованная типография, печатающая не только малотиражную газету, но и афиши, объявления, прејскуранты торговых фирм и магазинов.

— Сколько же у вас рабочих?

— Сто шестьдесят четыре, — редактор улыбнулся с откровенным удовольствием.

Вот и считайте после этого редактора общественным деятелем, пекущимся о благе и просвещении своего народа.

Через несколько минут я был поистине ослеплен сиянием крупного бриллианта чистой воды в ожерелье его супруги.

Сто шестьдесят четыре рабочих!..

Хозяйка была величава, тяжеловесна, с той стройной осанкой, какой отличаются здесь даже дородные, живущие в холе и довольстве богатые африканские женщины.

Она тоже занималась активной общественной деятельностью и, прежде чем потчевать завтраком, пожелала ознакомить нас с национальными обычаями.

В гостиной, где на стене золотыми буквами было написано (конечно, по-английски): «Благодать божья да почиет над нашим домом», мы сидели в креслах и сосредоточенно слушали хозяйку, а в соседней комнате у круглого стола, заставленного мисками, блюдами, кастрюлями, бесшумно хлопотали слуги в накрахмаленных белых куртках.

— Ганаянская семья добра, гостеприимна, — рассказывала хозяйка. — В любое время любой человек может прийти к нам и станет желанным гостем. Ваше горе — наше горе, наше горе — ваше горе. Ваше счастье — наше счастье, наша радость — ваша радость. Наша трапеза — ваша трапеза. Наши дети — ваши дети. И вы должны иметь детей, чтобы они стали нашими

детьми. И дети моей сестры — мои дети, и мои дети — дети моего брата!..

Нельзя было не восхититься такой великодушной проповедью.

Кто-то из гостей осведомился:

— Сколько у вас детей?

— У меня два сына и две дочери. Старшей уже семнадцать. Девочки учатся в Англии в колледже, мальчики — в нашей городской гимназии.

— Скольких лет вы вышли замуж?

— О, я уже старая... — Улыбками мы оценили деликатное остроумие хозяйки. — Брачный возраст в королевстве Асианти для девушек — шестнадцать, для юношей — двадцать лет. Мы женаты двадцать один год! — И госпожа бросила благосклонно-любящий взгляд на супруга.

Редактор приосанился..

Нас пригласили к столу. Были приготовлены национальные ганаянские кушанья, но, как заметила хозяйка, «перцу положено меньше, чем обычно...». Признаюсь, даже уменьшенная доза обжигала адским пламенем рот и горло. Приходилось поглощать стакан за стаканом ледяную кока-колу — напиток, кстати, приятный, к которому у нас почему-то относятся с предубеждением.

Мы сами накладывали кушанья на тарелки и возвращались в гостиную. Все происходило чрезвычайно просто. Пожалуй, хозяева щеголяли этой милой простотой... Слуга непрерывно ходил по комнате и подливал нам в бокалы напитки, желающим — спиртные. Одновременно в бокал опускался кубик льда. Здесь со льдом пьют все — и пиво, и кока-колу, и виски.

Девочка лет четырнадцати собирала грязные тарелки.

— А это кто?

— Дочь моей покойной сестры, — сказала хозяйка и бровью не повела.

В разговоре хозяева с оттенком гордости упомянули, что в 1948—1950 годах в их доме часто ночевал Кваме Нкрума, тогда еще подпольщик, преследуемый английскими властями.

Я не имею права не верить им.

Однако факты показывают, что именно «Пионер Ашанти» выступала все время против партии Народно-го Конвента и Кваме Нкрума.

В годы, когда Гана была доминионом, то есть самоуправляющейся провинцией, имеющей внутреннюю автономию, какой-то бойкий торговец вывесил у своего магазинчика циновку с надписью: «Республика Гана». Тотчас фотография «бунтарской» циновки появилась на первой полосе «Пионера Ашанти».

Вожди племен потребовали встречи с Кваме Нкрума, а король Ашанти сделал вид, что этот вопрос его не касается.

Газета печатала статьи с предупреждениями, что республиканский строй не сулит вождям ничего отрадного, что им выгоднее нежиться под покровительством английской королевы; газета утверждала, что Гане и впредь надо оставаться на правах доминиона.

Конечно, в пересказе я кое-что упрощаю, но подтекст, как говорят в театре, был таков: вождей, а вероятно, и короля Ашанти в случае народных волнений защитит только английская армия.

В «добрые старые времена», когда Гана была еще колонией Золотой Берег, вновь назначенные генерал-губернаторы прежде всего наносили официальный визит королю Ашанти, вождям племен и одаряли властелинов щедрыми подарками. Но уже в доминионе «зловредный» Кваме Нкрума, еще не президент, а премьер-министр, заставил очередного губернатора Листоуэла отказаться от этих визитов, посетить парламент и там принести присягу.

Через несколько лет народ, партия, Кваме Нкрума добились торжества суверенной республики.

«Пионер Ашанти» не успокоилась: 5 ноября 1957 года в газете появилось сообщение о создании новой политической партии — Объединенной. Партия вобрала в себя все оппозиционные Народному Конвенту и Кваме Нкрума группы и группочки — отсюда и наименование.

Вожди племен встретили Объединенную партию ликованием...

Крайне характерно, что в дни, когда советская ракета с собакой кружилась по орбите вокруг земного

шара, «Пионер Ашанти» опубликовала заметку «Красные признают: межпланетная собака, наверное, сдохла».

Вы обратили внимание на взаимоисключающие слова: «признают», «наверное»?

Но газетная «шапка» хлесткая: может, и упадет кому-либо в память.

Через неделю в газете появилась статья ее лондонского корреспондента, священника Болта: «Мертвая собака в межпланетном пространстве». Священник гневно обличал «варваров» большевиков, столь жестоко относящихся к собачке...

Газеты Народного Конвента спросили священника: почему ж он не обличает американских расистов, линчующих негров, французских колонизаторов, истребляющих алжирцев?

Проповедник слова божья отмолчался.

На этом можно закончить рассказ о завтраке у редактора-издателя «Пионера Ашанти» и его очаровательной супруги. Тем более что бестактно гостю делать выводы о настроениях и взглядах радушных хозяев. Потому-то я и пользовался официальными фактами — не предположениями...

Но хотелось бы здесь же добавить, что с вождями охотно смыкается молодая африканская торговая и, как теперь всюду говорят, административная буржуазия.

Понятно, кто такие торговые буржуи — купцы. Коммерсанты. Агенты зарубежных фирм.

Но буржуи административные — кто они? Чиновники многочисленных министерств. Депутаты парламента.

В Гане нас сопровождал в поездках по стране чиновник министерства информации. Однажды он разоткровенничался и сказал, что как только поступил на работу, а жалованье у него высокое: 55 английских фунтов стерлингов, филиал зарубежного банка открыл ему кредит, и он вместе с братом приобрел плантацию шоколадных (какао) деревьев, уже плодоносящих. Брат теперь постоянно живет в джунглях, хозяйничает на плантации.

— А кто же работает?

— У меня на плантации четыре семьи батраков! — Улыбка чиновника была кроткой. — Я им построил хижины, бесплатно кормлю весь год. Конечно, работает вся семья: и рабочий, и жена, и дети-подростки. Сушить на циновках бобы какао, сортировать, ссыпать в мешки — не трудно... Когда детишкам приходит срок идти в школу, я дарю им форму, учебники, тетрадки. Бесплатно!..

Он с особым удовольствием повторял: «бесплатно».

— А зарплата? — Для советского человека такой вопрос был вполне естественным и даже обязательным.

— За два дня до рождества Христова, — чиновник принадлежал к англиканской церкви, — я дарю каждому батраку по двадцать пять фунтов.

Значит, он получает 55 фунтов в месяц, а батраку платит два фунта с центами, да не батраку, а семье, целой группе батраков, в том числе и малолетних.

О доходах с плантации чиновник, конечно, не обмолвился...

Странно было бы от такого чиновника-плантатора ждать пылких симпатий к республиканцу Кваме Нкрума!

Между прочим, в Уфимской губернии, нынешней Башкирии, где прошло мое детство, существовали так называемые «зимогоры» — батраки, которые после сбора урожая оставались на зиму у хозяина и работали за кусок хлеба, без денежной оплаты...

СПА-СИ-БО

В Такоради, глубоководном порту Ганы (порт Тема в те дни еще строился, кстати, при помощи Советского Союза), я слышал, как грузчики-африканцы с трудом, нараспев, по слогам, но с истинным наслаждением говорили:

— Спа-си-бо!

От советских моряков, обязательно благодарящих грузчиков за работу, диковинное, уважительное слово перекочевало в народ, и теперь, если угостишь прохожего сигаретой, то он застенчиво улыбнется и скажет:

— Спа-си-бо...

Такоради — предметная, «зримая» диаграмма сырьевого развития страны. Пучком собираются здесь железные и шоссейные дороги, бегущие к океану, к порту со всех краев Ганы. На платформах-самосвалах, на грузовиках, в товарных вагонах сюда везут сырье, исключительно сырье: железную руду, бокситы, бобы какао, кофейные зерна, фрукты.

Драгоценное красное и черное дерево, которому на лесных биржах мира цены нет, вывозят кругляком: нет лесопилок.

Моим соседом в самолете Лондон — Барселона — Аккра был светловолосый, с белыми ресницами молодой мужчина. Разговорились... Оказалось, что соседу всего 25 лет, но он уже коммерческий директор фирмы в Гамбурге, ведет дела с Ганой, вывозит лес-кругляк.

— Немецкие юноши сейчас увлекаются коммерцией, — веско заметил он.

Сладко уснул в подвешенной к потолку люльке грудной ребенок; стюардессы обратились в последний раз с традиционным вопросом: «Что вы будете пить?»; закутав ноги пледами, пассажиры дремали в откидных креслах — семь часов непрерывного полета...

Ганаянский лес, по словам соседа, идет прежде всего на внутренний западногерманский рынок, но недавно молодому коммерсанту удалось побывать в социалистической Венгрии и выгодно продать там партию кругляка.

— Гешефт есть гешефт, — сосед усмехнулся.

Не чурается он и торговых связей с Германской Демократической Республикой, но летает туда, на Лейпцигскую ярмарку, обычно круглым путем... через Амстердам, дабы не привлекать излишнего внимания.

Так вот западногерманский коммерсант вывозит из Ганы драгоценные сорта дерева, а ввозит дешевенькую шведскую и финскую фанеру.

И фанера в Гане дорожке красного дерева.

Если вы в Аккре заказали столу табуретку для кухни, самую обыкновенную, то он через день-два принесет вам табуретку из красного или черного дерева.

Таким образом, все или почти все товары в Гане зарубежные. Я уж не говорю об одежде, обуви, тканях, это понятно, но даже питаются европейцы и богатые африканцы консервированными продуктами.

Мороженое прессованное австралийское мясо. Консервированное датское молоко. Масло тоже датское, тоже консервированное. Мука из Аргентины, Канады. Кукурузные хлопья из Америки. Пиво из Голландии. Здесь не говорят: бутылка пива, говорят — жестянка пива.

Цены на товары соответственные: «За морем телушка — полушка, да рубль перевоз...»

Порт Такоради, кстати лишенный механизированных причалов, ярчайше демонстрирует этот разорительный для Ганы товарообмен сырья на готовые зарубежные изделия.

Конечно, грузчикам здесь перепадает работа, но не всем и не всегда. Горько наблюдать утрами, как у ворот порта собираются тысячи людей, стоят, переминаясь, сидят, свесив ноги в канаву, тоскливо ждут: придет ли сегодня «купец»? Удастся ли заработать?.. Богатырского телосложения, с перекатывающимися под черной кожей ядрами мускулов мужчины не часами — днями бездельничают.

А в стороне, на пустыре, жмутся толпою жены, шушукуются, вздыхают, тоже надеются, что на темно-зеленом, словно отлитом из бутылочного стекла просторе Атлантики жуком-плавунцом зачернеет тяжело-грузный пароход. Выпадет мужу работа, — значит, торговка — «мэмми» — на базаре откроет кредит, значит, запылает у хижины очаг, забулькает в котле похлебка.

Безработица!..

В 1927 году я познакомился в Ленинграде с Леонидом Равичем, студентом педагогического института имени Герцена. Это был вихрастый насмешливый паренек, сочинявший на ходу в огромном количестве пыльные стихотворения.

Осмелев, однажды Ленька послал Маяковскому стихотворение «Безработный», и оно появилось в журнале «Новый лэф» с предисловием Владимира Владимировича.

Чем подкупило Маяковского неумелое, неуклюжее
произведение?

Тоскою по работе.

Эй ты, сердце, до жизни охочее,
Веселее и жарче стучи!..
Скоро утро —
Придут рабочие.
Попрошусь таскать
Кирпичи...

Дескать, не в деньгах дело, а в том, что хочется раз-
мять мускулы, насладиться ощущением своей силы и
сноровки, поработать до жаркого пота.

Это Владимиру Владимировичу понравилось.

В предисловии он писал:

«Темы «голод», «безработица» взяты чересчур по-
этически, описанием переживаний. К сожалению, эти
темы в жизни шире, и только полный их охват в стихе
даст настоящее, нужное, движущее писание, работу.
Больше тенденциозности...»

Великий поэт уже тогда видел на горизонте первые
советские пятилетки, промышленный разворот, крепо-
сти индустрии, Урало-Кузбасс, а следовательно, и пол-
ное исчезновение безработицы.

Но в Гане, да и в других молодых республиках без-
работица все еще прочна и обширна.

Через несколько лет в республике Сомали мне по-
казали площадку, обнесенную колючей проволокой, —
здесь будет построен госпиталь: дар Советского Союза
сомалийскому народу.

Александра Андреевна Курьянова, русский врач,
работающая в городской больнице Могадишо, показа-
ла эскиз госпиталя: он — легкий, из стекла, алюминия,
пластиков, с эйр-кондишн — искусственным охла-
ждением.

Но вот что характерно: когда я был в Сомали, то
рабочие чертежи госпиталя еще не были готовы и
стройка не началась, но пустырь на берегу океана уже
был застроен тикулями, хибарками, и в них жили мо-
лодые африканцы, ждали сигнала. По дорогам Африки
бродят, кочуют, переходят из республики в республи-
ку тысячи юношей в поисках работы. Именно такие

парни осаждали в то время советское посольство в Могадишо, спрашивали каждодневно: пора?.. пора? О заработках они не заикались, им бы лопату, кайло, лом в могучие руки, им бы найти свое место в жизни.

Молодежь истосковалась по труду!

Понимают ли правительства молодых африканских республик, руководящие народно-освободительные партии, что нужно незамедлительно развивать промышленность?

Да.

Но ведь без помощи, и технической и денежной, любой республике с такими грандиозными задачами не совладать. Помогут ли европейские и заокеанские «благодетели», распинающиеся на газетных перекрестках о любви к народам Африки? Что-то не верится...

Я был в 1960 году на Вольте, могучей, порожистой реке, стремительно, плавно несущей в Атлантику светло-коричневые, со взболтанными частицами ила воды свои.

Чувство покоя охватывает путника, задержанного бесконечными перелетами на самолетах, разъездами на автомобилях, и хочется долго сидеть на берегу и любоваться зелеными островами, как бы плывущими к океану, и слушать ту пахучую, ту густую, словно золотистый мед, тишину, какой не так-то много в нынешнем мире.

Впечатление идилличности тем сильнее, что неподалеку женщины мотыгами рыхлят землю (в котомках за их спинами спящие младенцы) и вполголоса напевают песню, и похожую и не похожую на песни русских огородниц, пропалывающих грядки, песню, в которой слышится и жалоба, извечная, как высокое небо Африки, и радость, светлая, как весенние дожди.

Но нет мира на берегах Вольты. И здесь пролегает рубеж боя, ожесточенного, хотя и тайного, стороннему наблюдателю иногда и не заметного...

Уже много лет международный концерт банков строит на Вольте гидроэлектростанцию. Укрощена за эти сроки грозная сила Ангары и Енисея, превратилась в каскад морей мать русских рек Волга... Мощь и энергию советских гигантских гидроэлектростанций можно измерить лишь поистине космическими масштабами!.. Здесь же

за десятилетие были построены очаровательно уютные коттеджи для административного и технического персонала, с искусственным охлаждением воздуха, чтобы африканская жара не докучала, с привезенными из Америки холодильниками и ваннами. Проложены дороги. Построены бараки для рабочих, так живо мне напомнившие бараки для военнопленных в гитлеровских концлагерях, какие я когда-то видел...

На строительной площадке рабочие орудовали лопатами. Самыми обыкновенными, так сказать, вульгарными.

Я был в 1929 году на Днепрострое, и теперь на берегах Вольты мне казалось, что я совершаю какое-то удивительное путешествие в прошлое. Лопаты... тачки... Первые строители Днепрогэса, густо запорошенные пылью, обожженные украинским солнцем, были тоже смуглые, как и здешние рабочие. Где же хваленая техника, совершенная и всевластная, та техника, какую мы знаем по журналам и зарубежным выставкам в Москве, в тенистых Сокольниках?

Зарплата — низкая, очень низкая. Десятки мускулистых юношеских рук охотно подхватят лопату из рук заболевшего рабочего... На берегах Вольты понимаешь, что капиталисты в сущности не любят машину, ибо они не любят человека.

Здесь я вспомнил, как треть века назад был потрясен и обескуражен рассказом уральского инженера Лунина, только что вернувшегося из Америки. Вот как я, молодой журналист, тогда излагал впечатления Лунина:

«На заводе Пертамбой вайербарсовая печь была огромная, на 350 тонн, и одновременно отливали двенадцать вайербарсов, а на Урале, в Кыштыме — один, но рядом, на анодной печи, разлив производили вручную, ложками, — работали там негры, ибо никто, кроме негров, не соглашался пойти на такую изнуряющую работу.

Негры работали час на разливе, а час отдыхали — даже они не выдерживали...

Анодные «возвраты» снимались тоже вручную, негры мотыгами скребли листы; рабочая сила дешева, механизировать процесс нет смысла.

Потом Лунин поехал в Эльпазо и там увидел, что в шламовом цехе не было крана: шлам переносили на руках... И там же из-за отражательной печи вышел рабочий-негр, боязливо оглянувшись, сказал:

— Возьмите меня в Россию, мистер!..»

Как видите, история движется медленнее, чем нам хотелось бы, и современный капитализм ввозит в Африку не технику космического века, а испытанные временем способы порабощения человека.

Потому-то в Такоради, в порту столицы Ганы — Аккры, в порту Тема не было видно в те дни подъемных кранов, транспортеров, автоматизированных причалов, а в волнах прибоя пляшут, издали похожие на скорлупки кокосовых орехов, шаланды. В любую погоду пароходы разгружаются в открытом море, и грузчики на берегу переносят ящики и тюки вручную, ибо терять заработок немислимо.

Вспоминается разговор с молодым ганаянским интеллигентом, по настроению чрезвычайно близким нам (как-то сложилась его судьба после военного переворота?..). Вечером мы сидели на террасе отеля «Амбасадор», уютно светились лампы под красными и золотисто-желтыми абажурами, музыканты в алых курточках, похожие на камердинеров восемнадцатого века, накаляли и без того теплый безветренный воздух пламенными мелодиями модных танцев. Достоинно, не спеша лакомились поздним обедом, по-нашему — ужином, «хорошие господа» — так когда-то И. А. Бунин именовал русских богачей.

У столиков американцев трещали и скворчали скорородки: завелся обычай жарить мясо не на кухне, а тут же, под личным наблюдением клиентов; ценится мясо нестерпимо горячее, полусырое, сочащееся кровью...

Вечером администрация неусыпно следит за этикетом: пиджаки, правда, надевать не обязательно, но извольте явиться в белой рубашке, но не цветной, с рукавами длинными и при галстукe, желательно черном.

Попытки уверить администратора — рыжеватого, с белыми бровями немца из Гамбурга, приехавшего сюда делать карьеру, — что без галстука, с расстегну-

тым воротом рубашки дышать все-таки привольнее, не увенчались успехом...

— Как вы можете мириться с тем, что иностранные рабочие и теперь получают более высокое жалование, чем африканцы? — с укоризной говорил я. — Это же унижительно! Независимая республика сохранила такую несправедливость.

Мой собеседник пожал плечами.

— У нас нет своих квалифицированных рабочих. Те немногие слесари, токари, электрики, шоферы, как правило, бывшие солдаты английской армии, которые служили в танковых войсках, в авторемонтных «летучках». Если иностранный рабочий приезжает к нам, то исключительно для того, чтобы подзаработать, а не для того, конечно, чтобы собирать вокруг себя учеников и передавать им «тайны» ремесла... Зачем им создавать себе конкурентов? На бескорыстие, на доброе отношение к африканцам способны лишь советские люди, — искренне добавил он.

Я вспомнил, как при мне в Аккре отправлялись на поисковую разведку к берегам Черной Вольты советские геологи. У каждого за спиной, как рюкзак, был привязан термос, но в нем — не горячий чай, не ледяная вода, как можно было бы предполагать, а шприцы и ампулы с сывороткой против змеиного яда. Джунгли кишат змеями, и огромными, до двух-трех метров, и крохотными, как пиявки.

Страшны-то крохотные!

Геолог никогда и ни при каких обстоятельствах не снимает термоса: в случае несчастия он должен молниеносно сделать сам себе укол... Вызывать «Скорую помощь» в джунглях, конечно, не придется.

Никогда в Гане геологи-иностранцы, служащие европейских фирм, не выходили на поиск с мая по октябрь — в сезон дождей. Советские геологи ведут разведку круглый год, хотя на них подчас обрушиваются такие ливни, что лишь под кузовом грузовика, кстати, нашего, с Горьковского автозавода, можно перевести дыхание, — наружу носа не высунешь, глотка воздуха не глотнешь, водопад такой крепкий, что не разрубить ни взмахом руки, ни ударом палки...

И еще я вспомнил визит к королю, гром и гул ба-

рабанов, круг почета, сотни, нет, тысячи грубых, с розовыми ладошками рук, которые мы пожимали; я вспомнил грузчиков Такоради, услышал: «Спа-си-бо!..»

Какие б мучительные испытания ни обрушивались на молодую Африку, она этого не забудет, от этого не отречется:

— Спа-си-бо!..

«МЭММИ»

Великолепны африканские базары, с их душераздирающим шумом и визгом, ибо купцы и покупатели не разговаривают, а кричат; с толпами зевак, ибо из десятка праздношатающихся едва-едва найдется один солидный клиент; с грязью и сладкой вонью сточных канав, куда льют и помои и прочие жидкости.

Здесь высятся горы солнечного колера апельсинов и крутобоких, с румянцем во всю щечку яблок, изогнутых, как ятаганы, бананов, коричневых, как литые ядра грудей африканской женщины, кокосовых орехов.

И рядом пирамиды красных, нежно-голубых, синих, зеленых пластмассовых ночных горшков — дар «просвещенного» Запада «диким» туземцам: обычно сии сосуды служат в деревнях кастрюлями, а не используют-ся, так сказать, по прямому назначению...

Базарных торговок в Гане, да и в прочих англоговорящих республиках называют «мэмми» — мама.

Грузовые фургоны, везущие утром торговок из ближних деревень в город, величают «мэмми лори»: мамини грузовики.

На бортах грузовиков надписи масляной краской или мелом: «О, бог всемилостивый», «Не теряй надежды», «Красивая женщина — несчастье», «Жди — разбогатеешь».

Розничная торговля в Гане — монополия женщин.

Мужчины должны либо работать, либо лежать под пальмой. Чаще всего они лежат, ибо работать-то негде...

Пожалуй, молодой советский читатель при слове «торговка» нарисует в своем воображении богачку, буржуйку.

Это не так.

Почитайте книги великого Шолом-Алейхема о черте оседлости в царской России, о еврейских местечках, где два-три купца покупали «оптом» селедку, разрезали ее на аккуратные дольки и продавали затем ку-сочками, в розницу.

Эту же сцену — по Шолом-Алейхему!.. — я видел на базаре Такоради: «мэмми» резала тощую рыбешку узенькими полосками, и тотчас подошли покупатель-ницы... Крохотный кусочек стоит медяк, пенс. Из двух-трех кусочков все-таки возможно сварить вечернюю похлебку; вот бедняцкая семья и поужинает, а иначе придется коротать ночь с пустыми желудками.

«Мэмми» жарит на керосинке мелкую рыбешку, ко-торую резать на куски немислимо, по-нашему — тюль-ку; рыбы — микроскопическая доза, перца — пригор-шня. Пыль от проносящихся по шоссе грузовиков густо порошит сквороду... Покупатели, как видно, интере-суются прежде всего не вкусом кушанья, а объемом порции и ценою.

Купив в соседнем «европейском» магазине кило-грамм сахара, «мэмми» рвет яркую обертку и вывали-вает куски грудкой на циновку, зная, что ее клиенты «оптом» ничего не покупают... Кусочек — пенс, но за два пенса «мэмми» уже отдает три кусочка.

Пенс — самая ходовая монета на базаре, но некото-рые товары котируются еще дешевле, и потому пенс разрубают пополам. Получается, так сказать, полгро-ша. Полкопейки.

Если поредела толпа, «мэмми» пальцами, зубами проворно чистит апельсины, швыряя кожуру себе под ноги, — здесь предпочитают покупать очищенные пло-ды, отказываясь хоть от какой-то, природой созданной дезинфекции мякоти.

Пригоршней «мэмми» накладывает кукурузную ка-шу из котелка в половинку сухой, выдолбленной тык-вы. Вручив торговке грош, покупатель жадно насыща-ется; он обходится, как и «мэмми», без ложки, с удо-вольствием облизывает пальцы.

«Мэмми» воинственна, горласта!

Англичан, да и вообще иностранцев «мэмми» нена-видит люто. Это и понятно: десятилетиями чужезем-

ные купцы скупали у африканцев за бесценок фрукты, кофейные зерна, бобы какао, а взамен всучивали по высоким ценам консервы, сахар, ситец ярчайших красок, но, увы, гнилой.

А разве сейчас что-либо изменилось?..

Между прочим, первые партии советских ситцев, поступивших на ганаянские рынки, ошеломили «мэмми» добротностью: торговки не привыкли к такой чистоте — и цены умеренные, и качество отменное. Но блеклые, тусклые расцветки тканей покупателям не понравились.

Советские экспортеры не учли, что жгучее солнце Африки беспощадно выжигает в считанные дни слабые красители, что здесь требуются цвета, а бы сказал, стальной стойкости...

Да, волшеббно экзотичны базары Ганы, но какие они все-таки нищие!

Именно эта торговая нищета в свое время стихийно толкнула «мэмми» на борьбу против английских колонизаторов.

Однажды английский судья приговорил молодого революционера Кваме Нкрума за «подрывную» деятельность против Британской империи к крупному денежному штрафу, зная, что у того за душою ни гроша. А до выплаты штрафа крамольнику надлежало сидеть в тюрьме...

Едва об этом узнали на базаре Аккры, как сразу же «мэмми» объявили сбор пожертвований. И через несколько дней штраф был внесен в британское казначейство, пенни в пенни. С вымученной улыбкой судья подписал ордер на освобождение мятежника.

Давно это было, давно, и с той поры крепчайшие политические шквалы не раз потрясали многострадальную Гану. В изгнании Кваме Нкрума... У власти военные...

Но как и годы, как десятилетия назад, на рассвете по улицам Аккры и других ганаянских городков грохочут «мэмми лори», самосвалы с бананами. Вот спешит на базар торговка, несет на голове два бревна — беднякам нужно топливо для очага — и таз с кокосовыми орехами. Все грузы женщины носят исключительно на голове, не в руках. Бежит школьница, торго-

пится, чтобы не опоздать в класс, а на голове у нее ровной стопкой высятся учебники, тетрадки, а сверху еще стоит чернильница.

Туго натянутая скрипичная струна, — пожалуй, лишь такой метафорой можно передать впечатление от стройности и силы африканской женщины.

МАЛЯРИЯ... ИДОЛЫ...

Граница между республиками Гана и Того — условная.

Правда, пограничники обеих республик рачительно изучают паспорта иностранцев, к советским относились с особым вниманием... Но местные жители относятся к пограничникам без должного почтения — проходят, согнувшись, под шлагбаумом: документов ни у кого нету. Подъехал белесый от пыли автобус из Ломе — столицы Того, и из него со смехом, с задорными восклицаниями высыпали кочующие по базарам юные танцовщицы, прелестные четырнадцатилетние девочки. Содержательница этого то ли ансамбля национальной пляски, то ли бродячего публичного дома, почтенная дама, разрешила путешественникам фотографировать ее воспитанниц, разумеется, за соответствующую мзду... На шоссе, в кругу мгновенно же сбежавшихся зрителей, девочки исполнили незамысловатый, но стремительный до рези в глазах танец, затем они ящеричами шмыгнули под шлагбаум и очутились в республике Гана. Пограничники не шелохнулись — у танцовщиц тоже паспортов не имеется...

И все-таки между Ганой и Того пролегает граница, незримая, но прочная — языковая.

В Гане, как я уже говорил, государственный язык — английский. В Того языковая проблема еще сложнее: до первой мировой войны здесь была немецкая колония, и естественно, что все старые интеллигенты говорят по-немецки. После Версаля колония перешла к французам, и все среднее поколение, вся молодежь говорят, пишут, читают по-французски.

Государственные и партийные деятели, интеллиген-

ты независимой республики не имеют до сих пор единого языка.

Дети не понимают отцов...

В Того примерно сорок наречий; опять-таки я говорю: «примерно», ибо никто еще племенными наречиями не интересовался, никто их не изучал.

А разве в дореволюционной России царские власти интересовались языками горцев Дагестана?..

Многоязычие разъединяет племена, с неотвратимой закономерностью укрепляет власть вождей.

К северу от столицы, за озером Того в джунглях живет небольшое племя рыбаков, мы поехали к ним в гости.

Озеро соленое,— вероятно, когда-то это был залив океана, но теперь проток занесло илом, песком, он зарос камышами. В неизменном баре на берегу путнику предлагают в неограниченном выборе напитки самого крепкого достоинства, а для созерцания — чучело крокодила на стойке. Но имеется и живой крокодил — рядом, в бассейне, — окруженный детенышами, невероятно уродливыми. Томятся три обезьянки, прикованные цепями к дереву. За забором резвятся маленькие лани, очаровательно-изящные.

По озеру мы плывем в рыбацьем вертлявом челноке. У берегов бродят рыболовы по пояс, а то и по шею в воде. Они забрасывают сети. За каждым рыбаком плывет сухая выдолбленная тыква, привязанная бечевкой к его поясу: в нее он складывает рыбешку. Сами понимаете, крупную рыбину в тыкву не засунешь, — значит, ловится здесь мелочь, тюлька.

Племя — бедное; вождь вышел к нам в рваной на плече курточке, в шортах, но, спохватившись, убежал переодеться во дворец — тростниковую хижину. Вернулся он в кенте — парадном хитоне, но без золотой короны, однако держался теперь с царственным достоинством.

Прежде всего вождь заявил, что считает своим долгом помолиться за здоровье советских гостей. Слуги принесли в тыквенном сосуде пальмовое вино, вероятно что-то вроде нашей самогонки. Вождь вылил вино на потрескавшуюся от жары землю: это дар Богине Земли, чтоб она, вседержительница, бережно хранила путе-

ков... Мы стояли с серьезными лицами. Затем вождь повернулся лицом к солнцу, вскинул руки и прошептал заклинание. Богослужение было окончено.

Усевшись в принесенном слугою кресле, вождь закинул ногу на ногу и без всякого перехода сказал по-французски:

— Я очень рад, что русские приглашают молодых африканцев учиться в Москву. Мечтаю, чтобы в нынешнем году хоть один юноша моего племени поступил в Московский университет!

Это смещение стародавнего и современного характерно для Африки наших дней, упрямо рвущейся из средневековья к просвещению...

Всеобщая неграмотность — беда свободного Того, но беда не единственная.

В столице мы встретились с профессорами С. Н. Покровским и Г. И. Канчавели, крупнейшими советскими специалистами в области тропических болезней.

Но расскажу обо всем по порядку и прежде всего о том, что пустая, выброшенная за ненадобностью коробка «Казбека» может оказаться волшебной.

Профессора утром вернулись из джунглей, отдохнули, вышли прогуляться у отеля и вдруг заметили, как прохожий, идущий впереди, одетый явно не по-африкански, но и не по-европейски, швырнул в пляшущие за парашетом океанские валы пустую коробку «Казбека».

— Эй, товарищ! Товарищ! — воскликнули в один голос профессора.

Через минуту мы познакомились, обнимались.

И тут же выяснилось, что с Сергеем Никандровичем Покровским я минувшим летом удил рыбу на Валдайском озере, на одном берегу. И вот там не разговорились: общеизвестно, что рыболовы — люди глубокомысленные, не терпящие болтовни. И встретились в далеком Того...

Правительство республики пригласило профессоров Покровского и Канчавели приехать на продолжительный срок в Того, изучить здесь распространение малярии, да и других тропических болезней, подсказать наиболее эффективные меры борьбы с ними.

В нашей стране малярия практически исчезла. Нету

«маляриков», вообще нету!.. В Того в 1960 году было двести тысяч больных малярией. Это по официальной статистике, а точна ли она? В джунглях, вдали от шоссе, на дорогах никаких медицинских обследований населения не проводилось. Значит, на деле больных еще больше... А всего жителей в стране — миллион двести тысяч.

И в это же время в стране, во всяком случае в 1960 году, было сорок два врача; двадцать из них жили в столице и занимались частной практикой. Здесь принято чиновникам, богатым африканцам и, конечно, всем европейцам иметь личных домашних врачей... В государственную поликлинику пробиться невозможно: за день доктор принимает до 1500 больных.

Не понимайте это буквально: в статистическом бюро число обратившихся за помощью больных делят на количество врачей, вот и получается — 1500. Ясно, что «маляриков» даже не осматривают, а регистрируют и суют им порошки.

Деревня обходится знахарями, колдунами.

Сергей Никандрович узнал, что в Того оспа почитается «священной», это своего рода благоволение божье, и больных старательно прячут от чужого глаза, а если он скончался — одежду покойника раздают родственникам.

Вот тут и попробуй поборись с эпидемией..

В государственной казне не так-то много денег, и на здравоохранение тратится всего пять процентов бюджета — сумма в денежном выражении ничтожная...

Сергей Никандрович побывал на севере страны, в отдаленном племени, и вот что с ним там приключилось.

— Понимаешь, приехал в глухую деревушку, черт-те где, — рассказывал профессор; мы гуляли перед отелем по берегу залива, океанские валы тянули вглубь шуршащую гальку, струи темного влажного песка, передвигали массивные обломки скал. — Встретили, естественно, подозрительно, но сопровождающий меня шофер сказал на местном наречье, что я доктор, и сразу же люди повеселели, заулыбались... В каждой хижине — «малярики». Больных оспой, как и всюду, прячут. Н-да, картина зловещая!.. В центре поселка стояла

круглая хижина, крытая пальмовыми листьями. Заглянул я туда: на полочках какие-то статуэтки черного дерева. Темно, ни одного окошка, — в таких хижинах окна не делают, чтоб хранить хоть какую-то прохладу. Я взял деревянного человечка, вышел из хижины, чтобы разглядеть при свете резьбу. И вдруг — крики, вопли, стоны!.. Вся деревня, понимаешь, старухи, мужчины, дети, женщины, с рыданиями, ломая руки, убежали в джунгли. Словно корова слизнула — ни души. Я стою болван болваном, ничего не понимаю: то ли нашествие диких слонов, то ли пожар в джунглях? Бежит ко мне мой шофер, и я вижу — белый, будто лицо известкой выкрасили; сам понимаешь, странно: черный же, африканец, а побелел... Вырвал у меня из рук фигурку, поставил обратно на полку, а меня, старика, под мышку, как тряпичную куклу, и к машине. Километров десять мы летели сломя голову, затем шофер замедлит ход и говорит по-французски: «Это — храм. Храм! А статуэтки — боги. Если смертный прикоснется к богу, то настанет конец мира. Светопреставление! Здежнее племя — идолопоклонники!..» — Подумав, профессор уточнил: — Побелел, конечно, я, а мой шофер — посерел от страха, словно его золой обсыпали; теперь я это припоминаю... — И, рассердясь, воскликнул: — Космический век настал, а тут че-о-орт знает что такое — идолы!

АФРИКАНСКИЙ ПАРАДОКС

История Либерии фантастична. Какой-то уму непостижимый парадокс!.. В центре колоний с 1847 года существовала и ныне существует независимая негритянская республика; она и называется соответственно: «Свободная Либерия». Казалось бы, «свободная» республика должна была пылать все столетие призывным ярким факелом освобождения африканских народов от ига колониализма.

Но этого не случилось.

В начале прошлого века американские либералы христианского толка создали благотворительное общество. Цель общества была неимоверно гуманная: выкупить у рабовладельцев американских негров и вывезти

их в родные места, в Африку, основать там республику. И действительно, в 1847 году была провозглашена «Свободная Либерия»... Общество, конечно, лопнуло, но все-таки несколько десятков тысяч негров сюда приехали.

Выходцы из Америки, более просвещенные, чем местные жители, во всяком случае владеющие английским языком, богатые по сравнению с коренными африканцами, от общества им перепали кое-какие ссуды, сразу же прочно захватили в Либерии власть и уже не выпустили ее из рук. И теперь они беспощадно угнетают здешние племена: босса, менде, кру, мандигу, гребо, ван... Они называют себя американо-либерийцами, чтобы и этим отличаться от местных африканцев, таких же по цвету кожи.

Забавно было наблюдать в столице Либерии — Монровии, как в удушливом пекле американо-либерийцы щеголяют в темных костюмах, в старомодных, фасона прошлого века котелках, обязательно с тросточками. Боже избави, только бы не спутали их с местными жителями, невозмутимо шествующими в шортах и простеньких рубашках.

Все должности в республике — от министра до полицейского, до сельского писаря — заняты исключительно американо-либерийцами.

Сыновей и дочерей американо-либерийцы учат лишь в американских университетах, хотя в Монровии недавно открылся и собственный, но явно второсортный — для выходцев из племен, для приезжих из соседних республик.

«Свободная Либерия» не имеет своей валюты — доводится американскими долларами и центами.

Показательно, что только в Либерии членов делегации Общества дружбы с народами Африки заставили заполнить обширные анкеты и сфотографироваться. Кому понадобятся наши портреты? Об этом чиновники американо-либерийцы умалчивали...

Вся «Свободная Либерия» фактически является империей американской каучуковой монополии «Файрстон тайр энд раббер компани»; верными приказчиками фирмы служат американо-либерийцы всех государственных рангов и чинов: они обогащаются подачками,

высокими окладами, акциями, они создают молодую национальную буржуазию; на плантациях же «Файрстона» трудятся местные африканцы из племен босса, менде и прочих.

Аэродром Монровия расположен в 50 милях от столицы, дорога идет лесами, и русскому путешественнику все время кажется, что он едет подмосковными березовыми рощами, столь милыми и родными его сердцу. Оптический обман простителен: каучуковые деревья действительно до удивления похожи на березы.

И когда увидишь опоясанное круговыми насечками каучуковое дерево, то невольно вспомнишь, как по весне мальчишки у нас надрезают кору березы и cedят сладкий, липкий сок.

На этом, собственно, внешнее сходство и обрывается... Четыреста тысяч гектаров каучуковых плантаций, отданных правительством «Свободной Либерии» в полное распоряжение «Файрстона», из года в год дают заокеанским монополистам исключительно высокие прибыли и обрекают, тоже из года в год, африканских рабочих на полуголодное существование.

Как видите, цвет кожи и «кровь» еще не гарантируют национального единения...

Обстановка на плантациях благопристойная: давным-давно здесь не свистит бич надсмотрщика... у тростниковых хижин батраков дымятся очаги... детишки нагишом играют в зарослях... К каждому дереву прикреплена чашечка с неременной надписью «Файрстон», в нее стекает липкий белый каучуковый сок. И дважды в сутки рабочий с жестяным ведром обходит свой участок плантации — 450 деревьев, — опорожняет и снова подвешивает чашечки.

Его дневной заработок — 45 американских центов.

А ведь надо дважды в сутки подойти к каждому дереву, и снять каждую чашечку, и ножом сделать новый надрез, чтобы раненое дерево заплакало клейкими, белыми, как молоко, каучуковыми слезами, и отнести полное ведро на шоссе, где его заберут шоферы грузовиков с неременной надписью на борту «Файрстон».

Сорок пять центов!

За сутки в чашечках накопится 800—1000 граммов

каучука, а дерево живет двадцать два года,— подсчитайте же, сколько одно лишь дерево даст за эти 22 года прибыли «Файрстону».

Сорок пять центов!

Никакого ухода плантация не требует.

Как же существует на такие гроши семья рабочего?

Африканские интеллигенты с безрадостной улыбкой говорили мне, что умереть с голоду здесь невозможно. И это правда: ко всем городам, поселкам подступают джунгли,— пойдет хозяйка с корзинкой, соберет бананов, апельсинов, кокосовых орехов, вот и готов обед.

В одной либерийской деревушке я видел, как мать кормила детей. Прежде всего она дала им неограниченное количество бананов. Детям было лет по восемь — десять, и естественно, что они были совершенно голые, и можно было заметить, как минута за минутой вздувались их животики, набитые бананами. Затем мать вручила каждому по просяной лепешке, посыпанной красным перцем, по одной (мужу, вероятно, она украдкой сунет и две-три...). Обед был завершен чаепитием: на заварку шла какая-то сухая травка, тоже из джунглей. Я с удовольствием отведал приятного на вкус, душистого, утоляющего жажду напитка... Конечно, чаю было вдоволь, но без сахару.

И мне вспомнилась старая русская деревня: кое-где тогда разрешали детям пить чай с сахаром «с пятого стакана». Ухитрись одолеть четыре стакана не сладких, а там мать вручит тебе кусочек сахарку — наслаждайся!.. Здесь и «пятого» сладкого стакана не полагалось.

Да, животы у ребятишек буквально на моих глазах раздулись, но я бы не рискнул сказать, что дети были сыты.

Как видно, человек грубое существо, и ему требуется мясо, нужен хлеб.

Мяса здесь мало, мясо дорогое. Ядовитая муха цеце, с которой практически еще не началась борьба, уничтожает стада. Раньше люди жили охотой, но теперь и охота перевелась: уцелевшие от почти поголовного истребления звери откочевали в дальние места.

Если в крестьянской семье есть корова, свинья, то их берегут для продажи: налоги-то платить надо...

В старой русской деревне крестьяне тоже почти не знали вкуса мяса: скот шел на базар.

В Гане, в Того, в Либерии, где я побывал, нет мельниц — европейцы, богатые африканцы обходятся привозной мукой.

Трижды в день африканская женщина — крестьянка, жена рабочего — берет деревянную ступку и деревянный пестик, толчет просо, разводит на воде муку, раскатывает пресную лепешку, величиною с наш русский блин, печет, а вернее — сушит ее на стенке очага.

Просо в Западной Африке, где я побывал, основной, а кое-где и единственный вид хлебного злака. Чтобы понять, что такое просо для крестьянской семьи, посмотрим, какие блюда из него готовят, к примеру, в племени дьявара.

Сурэ — пирог из вареного проса; футо или кускус — сладкая каша, кини — суп из отходов проса.

Но и проса не всюду хватает, и потому хлеб во многих племенах заменяют вареным ямсом и фуфу.

Что это такое?

Корнеплоды.

Кассава, или маниок, привлекает внимание прежде всего стеблем толщиной с большой палец и высотой в рост очень высокого человека. Сажают кассаву-маниок в марте, после ливней, означающих здесь весну. Стебель никому не нужен, но через десять месяцев в земле образуются крупные клубни. Их можно сразу выкопать, а можно и оставить в земле: не испортятся. Растет кассава-маниок на любых почвах, ухода не требует, засухи не боится. Клубни надо обязательно вымачивать, чтобы удалить синильную кислоту. Затем их толкут и делают фуфу — лепешки, считающиеся здесь хлебными; на мой вкус, они напоминают картофельные оладьи... Из сушеных клубней можно молоть муку и печь лепешки, тоже хлебные, но уже первосортные.

Ямс отличается от кассавы-маниока тем, что клубни его крупнее и крахмалу в них больше. Однако ямс капризничает: ему требуется и почва потучнее, и в затененных местах он не растет.

На базарах ямс дороже кассавы-маниока.

Для бедняка ямс — роскошь.

Многие племена до сих пор обожествляют корнеплоды и злаки.

Великая Богиня Земли, Мать-Земля от своих душевных щедрот награждает добрых благочестивых людей плодами земными.

Если мы учтем, что крестьяне рыхлят мотыгами почву, кидают из горсти семена и этим, собственно, их трудовые обязанности заканчиваются, то согласимся, что тучный урожай действительно дар божий.

Дагомейский писатель А. Аданде рассказывает:

«Самое главное торжество у народа фон — праздник сорго, а у йоруба — праздник ямса, так как именно йоруба завезли в страну ямс... Обряд начинается веселыми танцами и песнями. Мужчины приносят в жертву петухов, женщины — кур. Мужчина добавляет к своему подношению бутылку крепкого вина. Жрецы ведут жертвенных козлят. Затем они убивают животных и окропляют кровью и вином идолов».

Не только средняя крестьянская семья, но и семья рабочего, получающего 45 центов в день, ведет натуральный образ жизни, целиком зависит от стихийных сил природы, от естественного плодородия земли.

Как же тут отречься от древних верований, от старых обрядов!..

Должен добавить, что стариков, старух в деревнях не замечается: видимо, не залеживаются, помирают на ходу.

«У МЕНЯ ДЕЛО...»

В Монровии мы как-то раз завернули в маленький ресторанчик: всего пять-шесть столиков, и хозяин встретил нас с поклоном на крыльце, провел в зал, успокоительно заметив:

— Я понимаю по-русски.

Обед был вкусный, обильный, но хозяин сокрушался, что не знал о нашем приезде и не успел приготовить русских кушаний... Жена его, немка, мило улыбалась нам из-за буфетной стойки.

Этим же вечером на бульваре нас остановила пышная дама с такими властными манерами, какие точнее

банковского счета говорили о ее богатстве, и произнесла на чистейшем русском языке:

— Господа, ради бога, извините... Я — киевлянка! Может быть, кто-нибудь из вас после войны был в Киеве? Уцелела Святая София? А памятник Богдану Хмельницкому? А Киево-Печерская лавра? Мне было двенадцать лет, когда мы уехали в Румынию... Я объездила весь свет и теперь знаю, что красивее Киева нет города в мире.

Мы, естественно, успокоили киевлянку, сказали, что после войны Киев стал еще краше, прелестнее, но в свою очередь осведомились, чем же она занимается в Либерии. Дама опустила глаза.

— У меня дело... Крупное дело! Кроме того, я заинтересована в каучуке.

Это значит, что у нее пакет акций «Файрстона».

Инженер, строивший отель «Дюкор», в котором мы жили, учился, как выяснилось, в Харькове и, конечно, разговаривал с нами тоже по-русски.

Здесь же в просторном зале ресторана с искусственным охлаждением, но с настоящими, а не бутфорскими, как в наших ресторанах, пальмами к нашему столу подошел дирижер джаза и представился:

— Я из Одессы... «Одесса-мама»! — Он усмехнулся.

Он рядился под Ива Монтана: грубая матросская куртка, мятые синие фланелевые брюки; играл он на скрипке, на гитаре, на аккордеоне, исполнял забавные песенки на всех языках мира, за исключением африканских.

И у него «дело»: три оркестра — лучшим, в здешнем ресторане, сам дирижирует; еще два джазика, поплоче, играют в ночных клубах, вернее, кабачках. На рассвете он объезжает клубы, собирает выручку.

— В честь гостей я исполню русский романс! — объявил дирижер.

Исполнял он, как вы сразу догадались, «О, эти черные глаза...»; голоса, если и был в юности, уже не осталось — вырубал микрофон с усилителем, но балальную песенку он напевал-выговаривал как бы внове — проникновенно. И вдруг, старенький, вымученно стройный, затрясся, зарыдал, и, прикрывшись рукою, ушел с подмостков и до нашего ухода не вернулся в зал.

Я не намерен исследовать эмигрантскую психологию: обвинять стариков — поздно, жалеть людей среднего поколения и молодежь — наивно.

Было так: в грозную пору гражданской войны из Киева, Одессы, Винницы богатые русские, украинские, еврейские семьи уехали «недельки на две» в Румынию, в Польшу переждать непогодицу с погромами, налетами шаек Махно, Петлюры, атамана Ангела, атаманши Маруси. И — не вернулись, и десяти-двенадцатилетние дети, «приготовишки», гимназисты и гимназистки, были брошены в житейский океан.

Хозяин рестораника, где мы обедали, скитался по Европе, хлебнул горя в обеих Америках — и Северной и Южной, и вот попал в Либерию, как-то извернулся, открыл «дело» и разбогател. Дочери учатся в Англии, сбережений тридцать тысяч долларов: от нас, гостей, он не таился.

Южнорусские эмигранты здесь обладают паспортами государства Израиль, говорят между собою по-русски, а в коммерческих взаимоотношениях и с местными жителями по-английски. Чем не парадокс!..

Под «делом» не надо понимать исключительно торговлю. Помните, я говорил, что здесь даже квалифицированных рабочих не хватает, что иностранным слесарям и шоферам платят дороже, чем африканским.

На гербе Либерии начертано: «Любовь к свободе привела нас сюда».

Но конквистадоров всех наций влечет сюда любовь к наживе.

Едут рабочие, инженеры, экономисты, бухгалтеры, конечно, и коммерсанты, лелеющие мечту о своем «деле». За последние годы потоком хлынули американские негры, разумеется, специалисты: им здесь легче устроиться, по цвету кожи они не отличаются и от давних хозяев страны — американо-либерийцев, и от местных жителей.

Иноземные специалисты до поры до времени приносят африканским республикам определенную пользу, разумеется, за солидное вознаграждение.

Помню разговор со строителем отеля «Дюкор» в Монровии.

— Русская техническая школа выпускала и выпу-

скает инженеров широкого профиля, — этого нет и не было на Западе. Вот я разработал проект этого отеля. Фирма приняла проект. Директор спросил: «Кто же делает расчеты фундамента, стен? Вы?!.. Да разве вы умеете?» Привык такое дело поручать уже другому специалисту. Через несколько месяцев встал вопрос: кто же построит здание? Директор потрясен: «Вы? Опять вы? И — умеете?» Вот вам широкий технический профиль...

Как инженер попал в Африку?

Но спрашивать неудобно...

Мне, пожалуй, возразят: помилуйте, да какое же тут собственное «дело», если у «Файрстона» монополия? Но в том-то и суть, что американские монополисты всячески покровительствуют «микрофайрстонам» — владельцам или совладельцам маленьких плантаций.

Каучуковый сок они сдают на переработку заводам «Файрстона»: там его сгущают в комки сырого натурального каучука. Они пользуются грузовиками «Файрстона», пароходами «Файрстона», причалами «Файрстона» в порту.

И цены на вселиберийском рынке диктует на каучук «Файрстон».

Рабочая сила дешева — 45 центов в день! — и к липким от слез каучукового дерева рукам «микрофайрстонов» пристаёт кое-какая прибыль.

Сейчас в стране обнаружены чудовищные железорудные сокровища. Так в горе Нимба найдено примерно двести миллионов тонн, в районе Боми Хиллз — сто тридцать миллионов тонн руды. И какая руда!.. В ней 70 процентов чистого железа. Прямо хоть в мартен. Не руда — железный лом.

И вот такие-то баснословные богатства родной земли правительство Либерии усердно растраниживает. На недра уже наложили лапу иноземные фирмы. А своим-то коммерсантам что-либо останется? Да! К примеру, 35 процентов акций компании «Нэйшнлайрон ор», добывающей железную руду на берегах реки Мано, проданы либерийским жителям, создавшим свою фирму, свое «дело»: компанию «Либерииен антрепрайзес».

Вы понимаете, что ни крестьяне, ни рабочие — «со-

рокапятицентовики» — акций не покупали и покупать не могли бы ни при каких обстоятельствах, достались акции вождям племен, американо-либерийцам, пожалам, и эмигрантам, о которых я рассказывал.

Вся руда будет вывезена из страны без переработки, сырой. Правительство и думать не смеет о создании национальной металлургии.

Народ прозябает в нищете.

Сорок пять центов!..

Диву даешься, когда читаешь девятилетний план Либерии: на развитие промышленности не ассигновано ни цента. В разделе «Общественные работы» стоит цифра: 52,7 миллиона долларов. Эти деньги пойдут на строительство административных зданий в столице и в провинциях, на прокладку дорог.

Разделите-ка пятьдесят два миллиона на девять лет.

Я был в сенате республики: в полукруглом зале дремали три сенатора, — ясно, в темных костюмах, американо-либерийцы же... Председатель, закинув ногу на ногу, сосал трубку (тоже американский обычай!); на нем был не только черный пиджак, но и глухой жилет и крахмальный воротничок.

На хорах рядом со мною скучал репортер, видимо с ужасом думая, о чем же он станет писать в газету.

Не на таком ли вот заседании и был принят закон о пятидесяти двух миллионах?

Рабочим-строителям достанется не больше 45 центов в день.

Кстати, каждая семья здесь платит налог за хижину: два доллара в год...

Вечерами с балкона отеля «Дюкор», построенного на холме Мамба Поинт, я долго смотрел на залив, на стоящие у причалов торговые корабли. Огни кораблей сияли задумчиво-кротко, словно ночники в спальне.

Здесь-то я и услышал, что в Либерии огромный торговый флот — третье место в мире по тоннажу. Что за чудеса! Своей судостроительной верфи нету, а корабли с либерийским флагом все больше и больше.

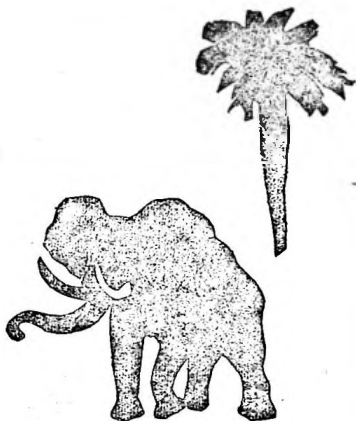
Мою веру в чудеса поколебал инженер-строитель «Дюкора».

— Простое дело, — лениво зевнул он. — Американские судовладельцы «продают» свои «корыта» либерий-

ским контрагентам. Отсюда и флаг «Свободной Либере-
рии». Американскому матросу приходится платить срав-
нительно высокое жалование: профсоюзы в США обла-
дают кое-какой силой... А здесь страна благодатная —
никакого социального законодательства. Вот я, к при-
меру, за соответствующее вознаграждение фиктивно
куплю пять-шесть «корыт» и стану платить морякам
сущие гроши: желающие всегда найдутся... Флаг Либере-
рии — это на здешнем жаргоне «флаг удобства».

Теперь вы знаете, почему иностранцы в Либереии го-
ворят веско:

— У меня дело... Крупное дело!



СНЕГА КИЛИМАНДЖАРО

В КАИРЕ



омню, как ошеломил меня Каир в тысяча девятьсот пятьдесят девятом году.

Самолет приземлился на аэродроме в сумерках, когда город был погружен в послеобеденную дремоту: магазины закрыты, на улицах, оцепеневших от жары и духоты, пусто. Автобус, зычным гудком распугивая семенящих по шоссе осликов с кладью, мчал-

ся мимо серых, как бы зажмурившихся (окна прикрыты ставнями) домов, высоких каменных заборов, грязных пустырей.

А через полчаса, оставив чемодан в номере старомодного французского отеля «Виктория», я вышел на улицу и был ослеплен фейерверком крутящихся, извивающихся, пронзительно летящих в темном небе огней световых реклам, оглушен воем и гулом зеркально-блестящих лимузинов. Машины неслись с дьявольской скоростью, плотным нескончаемым потоком, словно вслепую, не обращая внимания на сигналы регулировщиков, — перескочить мостовую благополучно мог пешеход с крепким сердцем и железными нервами.

Заметив мой растерянный вид, швейцар отеля хвастливо щелкнул языком:

— О-ля-ля, Париж!..

С тех пор я побывал и в Париже и в Лондоне и, конечно, вторично встретился с Каиром спокойнее...

Тот же номер «Виктории» приютил меня, те же слуги — суданцы в белых длиннополых, до пят, хитонах, перехваченных красными поясами, — окружали меня.

Во всех каирских отелях, ресторанах да и в богатых частных домах лакеями, поварами, коридорными служат исключительно суданцы, тяжелолюбые, темные, с примесью негритянской крови.

Местные жители говорят, что суданцы отличаются не только расторопностью, чистоплотностью, но прежде всего безукоризненной честностью.

Не сомневаюсь в этом, но думаю, что коренная причина все-таки иная: пришлым слугам можно платить куда дешевле, чем каирцам.

Разумеется, дело и в стародавнем обычае. В царской России некоторые волжские и окские села поставляли в Петербург и Москву официантов, лакеев.

Примерно так же происходит здесь: суданцы приезжают в Каир целыми племенами, сперва взрослые, затем подростки, уже по торной тропе. И живут обособленно, отличаясь не только лакейской униформой — белыми хитонами, но и действительно неподкупной честностью, трудолюбием.

...После ужина я вышел из отеля и на этот раз хладнокровно осмотрелся по сторонам.

Так же, как и три года назад, плясали в небе красные, зеленые, золотые огни, так же Форд, Шелл, Эссо, Крайслер зазывали покупателей. Приятно было заметить в этом вулканическом извержении огней рекламу чехословацкой фирмы Шкода. Надо сказать, что чехословацкие машины высоко котируются на африканских рынках. Но чехи не только изготавливают прекрасные машины — они их умело рекламируют. Каирское небо поминутно напоминает: «Турбины Шкода», «Грузовики Шкода», «Тепловозы Шкода»... Это западает в память. На мой взгляд, советские внешне-торговые учреждения еще не обладают мастерством рекламной борьбы, да и коротких хлестких названий фирм у них нету: поди-ка запомни — «Разнопром-экспорт»...

Так же, как и три года назад, головокружительно вертелась карусель автомобилей на площадях, но теперь, повторяю, я был спокойнее. Конечно, машин в Каире много, но в европейских столицах их куда больше. Разница в том, что в Париже и Лондоне хоть как-то управляют уличным движением, а здесь пешеходам разрешено самим заботиться о своей безопасности. И еще особенность: в том же Париже великое множество стареньких машин, латаных, крашеных-перекрашенных (французы бережливы: донашивают старые костюмы и неохотно расстаются с дряхлыми колымагами!), а на каирских улицах кичливо резвятся наимоднейшие лимузины, отражая лакированными кузовами разноцветные рекламные зарницы.

Идя по улице, я заметил, что малолетних нищих, кланчащих «бакшиш», стало больше.

Собственно, «бакшиш» — не попрошайничество в буквальном смысле слова, а своего рода промысел.

Чисто одетый мальчик, посланный матерью в лавку за провизией, поравнялся с прилипшей к иноземцу босоногой девчонкой, сухо всхлипывающей: «бакшиш», и сразу же сделал плаксивую гримаску, запрыгал, протянув руку:

— Бакшиш!..

Чем черт не шутит, — вдруг иностранец расщедрит-

ся и на асфальт, звякнув, упадет монетка!.. Дома мать похвалит, — заработал.

Конечно, в толпах нищих, и пожилых и малолетних, робких и наглых, кроется что-то унижительное, оскорбляющее человеческое достоинство. Советский путешественник пятится от попрошаек, испытывая сострадание, но невольно его охватывает и отвращение.

Однажды вечером я шел по бойкой торговой улице, мимо бесконечных магазинов, соперничавших между собою блеском огней, роскошью выставленных в витринах товаров.

Ко мне привязались две девочки лет десяти — двенадцати; отчаявшись вымолить «бакиши», они принялись кувыряться передо мною на тротуаре. Так как на них были только широкие легкие платица, то зрелище в сиянии разноцветных лампиров, сами представляете, было весьма выразительным... Напрасно я ускорял шаги, старался их обогнать, свернуть в проулок, — девочки кувыркались и визжали: «Бакиши!»

Единственное спасение: вбежать в первый же магазин. Попрошайки знают, что приказчики вышвырнут их.

Мальчишки — чистильщики обуви — носятся здесь стаями, буквально нападают на прохожих: сперва просят пиастр, затем полпиастра, через мгновение — сигарету.

Подростки навязывают порнографические открытки, похабные и гангстерские журналы и на английском и на арабском языках, резиновые изделия.

На всех дорогах Африки, не только в Каире, путника преследует вопль: «Бакиши!» У автобусных остановок, на базарах, у отелей и ресторанов стоят с вытянутой рукой дети, зачастую их одевание состоит из коросты грязи.

Нищета страшна, но исторически объяснима, отчетливо видны ее социальные и политические корни.

Знаток местной жизни, проработавшего в Египте несколько лет, я спросил:

— Повышается благосостояние народа?

— Какое! Косвенные налоги возросли, а значит, и цены на продукты. Но настроение простых людей, даже бедняков — бодрое.

Так вот почему на каирских улицах еще назойливее, чем три года назад, слышится протяжный стон: «Бакшиш!..»

Каир противоречив. В город надо пристально взглядеться, чтобы отличить личину от лика, за внешним, как бы неизменным, заметить подспудные, глубинные течения, а в них-то грядущее страны, будущее счастье народа.

В холле американского отеля «Найл Хилтон» все так чинно, безмятежно, церемонно.

Три года назад я видел это стройное, напоминающее элеватор здание в строительных лесах; кругом толпились похожие на исполинских жирафов подъемные краны, вечерами сияли туго закрученные вспышки электросварки.

Отель построен на месте разрушенных английских казарм. Конечно, можно порадоваться, что египтяне камня на камне не оставили от цитадели колониальной военщины, но, вероятно, участок можно было бы отдать муниципалитету, а не сдавать в аренду «Хилтон отэлс корпорэйшн» — крупнейшей мировой монополии, имеющей в разных странах сотни, если не тысячи гостиниц.

По пути в отель я завернул на Ат-Тахрир — площадь Освобождения. Там, в закоулке ее, в крохотной французской гостинице я, возвращаясь из Эфиопии в Москву, прожил несколько дней. И тогда, три года назад, на фоне строившегося, уже взлетевшего ввышину «Найл Хилтона» четырехэтажный домик производил неказистое впечатление. И наружные стены, и коридоры, и комнаты как бы запылились. Хозяин, тощий благообразный француз, был суетлив, не шагал — семеня; разговаривая с клиентами, привставал на цыпочки.

Оказалось, что конкурировать с новыми модными отелями ему не по силам. Доходы падали. Надо бы оборудовать номера эйр-кондишн — аппаратами охлаждения воздуха, но кто откроет кредит? И действительно, заокеанские дельцы предложили хозяину солидный куш, но не на ремонт и оборудование гостиницы, а за снос ее, чтобы на «пяточке» быстроенько отгрохать отель-небоскреб. Тогда же выяснилось, что земля под

отелем не француза, а богатого каирского армянина. Американцы предложили ему продать землю — тот отказался, считая, и вполне справедливо, что при возобновлении арендного договора он сдерет за свой «пятачок» солидную толику деньжат. А француз? Француз опасался, что американцы и землевладелец пустят его по миру, и отчаянно торговался... Вот какой завязался клубок страстей, корыстолюбия, страха, коварства!

Как видно, сюжеты книг Бальзака повторяются.

Сейчас, дойдя до переулка, я увидел то, чего и ждал: гостиница рухнула, лежала грудой развалин; хищно урчащие экскаваторы швыряли в самосвалы кипы дымящегося пылью мусора, переломанные балки, брызги изразцов. Кто ж победил в схватке? Победили большие деньги... Приняли француза пайщиком в свою фирму заокеанские хитрюги? Но как это узнаешь!.. Признаюсь, пожалел я назадачливого москвича.

А голубой, словно вырезанный из глыбы льда, «Найл Хилтон» сиял победно.

Подростки-грумы в неестественно ярких «египетских» костюмах здесь неусыпно сторожат двери из монолитного стекла. Самая дешевая комната с окнами на площадь стоит в сутки пять английских фунтов, с окнами на Нил — шесть. Цена непомерная... Пожилые американки-туристки пишут бесчисленные открытки родным, знакомым. Всюду: в Каире, в Могадишо, в Дар-эс-Саламе морщинистые загорелые, бодрые дамы пишут открытки. Создается впечатление, что и путешествуют-то они для того, чтобы развивать эпистолярный жанр.

Зимой 1934 года я жил на Тамбовщине, в колхозе имени Ленина Кирсановского района. Как-то в занесенное сугробами село приехала кинопередвижка, конечно, еще не звуковая — немая. Объяснения зрителям, плотно набившимся в узкий класс сельской школы, давал киномеханик, обладающий зычным басом и завидной эрудицией. Показывали кинохронику: приезд немецких студентов-туристов в Сухуми, в Ботанический сад.

— Туристы — это любопытные люди, — авторитетно провозгласил механик.

Мне это запомнилось: любопытные...

Как раз заокеанских путешественников, а особенно путешественниц, в любопытстве заподозрить невозможно.

Представим себе ритуал туристского дня.

Утром, после первого завтрака они созерцали пирамиды — идеальные геометрические формы, прекрасные математической точностью и простотой.

Пирамиды волшебны гармоничны, и, любясь ими, как-то немислимо представить человека, взлелеющего в душе замысел столь удивительного, ни с чем в мире не сравнимого сооружения. Можно понять творчество того или иного гениального зодчего, но как-то трудно укладывается в сознании, что один человек в древности вообразил абстрактную геометрическую фигуру, а затем воплотил ее в камне в размерах исполинских. И создается впечатление, что сама Земля космическим разрывом земной коры вытолкнула на поверхность планеты пирамиды так же, как она породила горы Кавказа.

Создала ж природа кристалл — каменный цветок, совершенный по геометрическим пропорциям!

Мои размышления — я знаю — не в ладах с историей, но я ведь и не претендую на ортодоксальность..

От пирамид туристов везут на верблюдах или арабских дивных скакунах к сфинксу; пожилые дамы трясутся в седлах, не теряя достоинства.

Каир расползается неудержимо, уже в пустыню выплеснулись аккуратные, европейской архитектуры доходные домики, а против сфинкса расположился бойко торгующий ресторанчик.

Но пирамиды, но сфинкс, созерцающий течение столетий каменными, запорошенными пылью пустыми очами, до того величественны, титанически-надменны, что городская и ресторанная суматоха не оскверняет их, а, наоборот, возвышает над собою, над обыденностью современной жизни, прославляет их богоподобное могущество.

Подростки и здесь прилипают к туристам с сувенирами...

Вернувшись в отель, туристы приступают ко второму завтраку — ленчу.

Трапезы тянутся часами, и в ресторанном гуле я все вспоминал «Ариадну» А. П. Чехова, вот эти строки:

«Ели мы ужасно много. Утром нам подавали café complet. В час завтрак: мясо, рыба, какой-нибудь омлет, сыр, фрукты и вино. В шесть часов обед из восьми блюд, с длинными антрактами, в течение которых мы пили пиво и вино...»

После ленча туристы обычно посещают восточный базар — сук Муске. О здешних базарах я уже рассказывал не раз, — каирский отличается от прочих, пожалуй, лишь обилием ювелирных и парфюмерных магазинов... Дородные торговцы льстиво навязывают кустарные изделия, игрушки, эссенцию духов, чеканные из меди кувшины, запрашивая втридорога, а потом сбивая цену тоже втрое. Пронзительно визжат ослы. Повара жарят шашлыки на улице, в тучах пыли. И за порядком здесь следит специальная «туристская полиция»: те же стражи, но с зеленым околышем фуражки.

Вечером туристы гуляют по городу.

На широких верандах кафе сидят франты, тучные, холеные, с высокомерными манерами. Они пьют кофе из маленьких чашечек, курят наргиле, перебирают с рассеянным видом янтарные четки — сибха.

Если у мечетей старики в халатах, с тюрбанами на голове, непрерывно считая зерна четок трясущимися пальцами, действительно творят молитву: «Аллах велик...», то франты играют четками.

Сибха обычно состоит из тридцати трех или девяти бусинок. Значит, перебирая их, правоверный обязан повторить «Аллах велик...» либо тридцать три, либо девяносто девять раз.

Между прочим, янтарные четки изготавливает и ввозит в Египет Союз польских кустарных художественных артелей...

Туристов, бесспорно, приводит в благодушное настроение мусульманский религиозный церемониал. В предназначенные часы радиорупоры на улицах и площадях передают записанные на пленку молитвы: ясно, что теперь самый пронзительный голос муэдзина с минарета безвозвратно исчезнет в кипящем автомобильными гудками котле миллионного города.

Правоверные свершают намаз там, где их застал срок молитвы: на тротуарах, на площадях.

Из моего номера в «Виктории» была видна внутренность старинной мечети — окна были всегда открыты, чтобы сквознячок освежал лица молящихся... Вечерами в мечети зажигалась люстра, и казалось, что наружная стена рухнула и мечеть, как театральная декорация, имеет три измерения... Правоверные входили в мечеть в носках, но обувь не оставляли на паперти, а благоразумно несли в руках. И, отвешивая земные поклоны, расстилали на полу носовые платки, чтобы не пачкать лба. Каждый вечер стекались сюда сотни молящихся; деловые люди забегали с портфелями.

Оплот древнего благочестия!

И когда в Национальном музее гид показывает золотые сандалии с одной петелькой для большого пальца, какие носили знатные женщины Египта в старину, и смеется: «Ничего нового!.. Сейчас точь-в-точь такие же ввозят к нам японцы, правда, синтетические и сравнительно дешевые...», то туристы переглядываются с удовлетворением... Ничего нового!

Таким образом, ленивый взгляд может скользнуть по Каиру, нарядному, веселому, традиционному, и ничего нового не заметить.

От зоркого глаза, однако, не скроются разительные перемены.

Собственно, перемены ощутимы уже на Шереметьевском аэродроме, под Москвою, — в толпе пассажиров, идущих к самолету, я вижу русских детишек дошкольного возраста, старушек в платочках с узелками и авоськами. Это семьи строителей Асуана.

Прыжок самолета из Москвы в Каир длится ровно пять часов.

Дородные мамы, притомившись от суеты с таможенными и паспортными процедурами, сладко дремлют. Дети прилипли к окнам, хотя на высоте ничего не видно, кроме хрустально-синей чаши неба и белопенных облаков. Старушки вяжут шерстяные носки — подарки сыновьям, изнывающим в Египте от жары... Кто едет в гости, кто на постоянное местожительство.

Вот этого три года назад, в 1959 году, не было... Шофер автобуса в Каире весело сказал: «Асуан — хорошо!» — и слово «хорошо» произнес по-русски. Но в 1959 году шофер говорил так же радостно: «Суэц — хорошо!..»

Мне не удалось побывать на Асуане, так случилось, что я прошел как бы по касательной к стройке, но даже в Каире видишь, что Асуанская плотина, сооружаемая советскими покорителями Ангары, воплощает в себе надежду народа на коренное улучшение жизни. Дело в том, что в Египте плотина для каждого феллаха — крестьянина — не символ: из глины он каждодневно лепит плотину на своем арыке, чтобы накопить в запруде воду священного Нила. Случается при этом, что стоит феллах одной ногою на зеленеющем поле хлопчатника, другою — на жгущем босую подошву песке.

Земельная реформа, провозглашенная и осуществляемая президентом Насером с исключительной настойчивостью, тоже в конечном счете зависит от воды — от Асуана.

Феллах видит, что земля в результате национальной революции переходит в его руки, но оживет эта земля, воспрянет тогда, когда до нее, спешейся в камень, добегут животворящие воды Асуана.

В Эфиопии три года назад у высокогорного озера Тана, среди синевы и тишины, стоял я на берегу Голубого Нила, речушки «так себе», у нас бы сказали, районного значения. Однако это был исток великого Нила, несущего жизнь Египту.

И в 1962 году в столице Судана Хартуме я увидел, как сливались Нил Голубой и Нил Белый, реки могучие, полноводные, порождая единый Нил — кровеносную артерию Египта.

В верховьях прошли дожди, и воды замутились, а говорят, что обычно долго плывут рядом, не смешиваясь, два потока: голубой и бесцветный, то есть белый.

День был жаркий, 43 градуса, и воздух желтел от песчинок, летящих из пустыни. Пустыня здесь — рядом, она уже на Хартумском аэродроме обжигает пылем. Порхающие песчинки, лезущие в глаза, уши, ноздри, струящиеся по мостовой и тротуарам, напоминают путнику о пустыне, раскаленной, мертвой.

Именно здесь, у слияния Белого и Голубого Нила, воочию видишь: вода — жизнь, вода — изобилие.

Я говорил, что жить египтяне стали теперь не лучше, но в народе держится бодрое настроение. И понятно — люди знают, что Асуан хлынет в пустыню, и все изменится чудодейственно, и пески, насытившись влагой, утолив вековую жажду, отблагодарят феллаха баснословными урожаями.

Республика напрягает все силы, чтобы справиться с нуждой, дать феллаху землю и воду, горожанину — дешевые квартиры.

Пустыни в Каире постепенно исчезают — на пути с аэродрома замечаешь белые кубики новых одноэтажных домов. Конечно, благоустройством в нашем понимании эти дома похвастаться не могут. Но ведь в Африке все наоборот: у нас квартиры отапливают, здесь — охлаждают, у нас в термосах хранят горячий чай, здесь — воду с кристаллами льда. И церкви, мечети, школы, кинотеатры строят с решетчатыми стенами, чтобы бушевали сквозняки, приносящие людям хоть какую-то прохладу.

Со стен цитадели — Каирского кремля — видны пирамиды Гизы, аскетические, а ближе — новые многоэтажные дома; это «сити хауз» — муниципальные, иные еще строятся, иные заселены. По нашим масштабам жилищное строительство ведется и медленно и кустарно, но молодая республика справедливо гордится первыми, пока немногочисленными домами с дешевыми, доступными по цене квартирами для средних служащих и рабочих.

Старые, так называемые доходные, дома Каира принадлежат частным владельцам, иноземным фирмам. Они забиты квартирантами до предела. Буквально в двух шагах от нашего отеля, в переулке, прохожий видит сквозь распахнутые двери темные комнаты-берлоги, а в берлогах — циновки и посуду на полу, и пыль, паутину на стенах, и груды мусора на лестницах, и рахитичных детей, и двадцатилетних старух с нарывами на голых ногах — матерей шести-семи детей.

Напротив отеля «Континенталь» на плоской крыше пятиэтажного дома можно разглядеть слеplенные из глины хжины.

Оборотистый хозяин сдает в аренду не только комнатки-берлоги, конечно, за строгую плату, но и бетонированную плоскую крышу.

Там на сложенном из крупных булыжников очаге женщина варит обед. Бегают дети, совершенно голые. На веревках сохнет рваное белье. И коза тут же «пасется», — втащили на такую высоту... Легко представить, каково приходится обитателям хижины в сорокаградусную жару на раскаленной сковородке крыши!

В садах по берегам Нила сияют мрамором особняки богачей. Пока, подчеркиваю, пока в Каире нехудо живет спекулянтам, торговцам, домовладельцам, агентам иностранных фирм.

Батраки, кочующие по стране в поисках работы, однако, спят в корзинах, которые носят с собою за спиной; крыша — грязный брезент. Перелетная хижина бедняка!..

Народ ждет Асуана.

ЧЕТЫРЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЯЗЫКА

В Сомалийской республике четыре государственных языка: английский, итальянский, арабский, сомалийский.

Республика обрела независимость в результате слияния двух колоний: английской и итальянской. Отсюда и возникло двуязычие. Депутаты парламента, партийные работники, студенты, школьники — в речах, в пресе, в учебе — вынужденно пользуются языком своих бывших хозяев, либо англичан, либо итальянцев.

Сами понимаете, какие дополнительные осложнения вносит двуязычие в жизнь молодой республики, у которой и без того, как говорится, хлопот полон рот...

Арабский язык — оружие могущественного мусульманского духовенства: муллы совершают богослужение по-арабски, в духовных школах мальчики зубрят Коран по-арабски.

Я говорю: мальчики, потому что мусульмане женщин за людей не считают, а следовательно, и грамоте не обучают...

И есть народный сомалийский язык, по отзывам лингвистов, богатый, пластичный, гармонический. Но это пока язык устный: нет письменности — алфавита, грамматики.

Многие годы идут ожесточенные споры между учеными, муллами, журналистами, политическими деятелями, какой же алфавит принять: арабский или латинский.

Сомалийские интеллигенты утверждают, и, на мой взгляд, правильно, что арабский алфавит невероятно трудный: в нем каждый звук имеет несколько рисунков, одна и та же буква пишется по-разному в начале, середине и конце слова. И, кроме того, под некоторыми буквами необходимо ставить точки, — скажем, звук «ч» имеет четыре рисунка, да их еще надо дополнять тремя точками.

В прошлом веке великий азербайджанский писатель Мирза Фатали Ахундов пытался упростить арабский алфавит, сделать его народным, доступным крестьянину.

Ясно, что из этой затеи ничего не вышло: муллы считали и ныне считают, что классический арабский алфавит, коим начертан Коран и другие духовные книги, свят и посему и неприкосновенен.

И сейчас в молодой Сомалийской республике муллы требуют наложить на живой народный язык узду наитруднейшего, а значит, антинародного арабского алфавита.

Почему муллы пользуются в Сомали таким влиянием? Потому что сомалийцы — кочевники-мусульмане.

Из года в год, из десятилетия в десятилетие племя во главе с султаном и муллой, с пыльными стадами овец, коз, верблюдов кочует по замкнутому кругу: скот сожрал, вытоптал траву — уходят на новое пастбище, а после сезона дождей, когда земля брызнет изумрудной зеленью, возвращаются на прежние луга.

Племя целиком отчуждено от соседей, от жизни республики. Светский повелитель кочевников — султан, духовный — мулла.

Духовенство властно подчинило себе все стороны личной и общественной жизни сомалийцев.

Выражается это по-разному. К примеру, на дипломатических приемах официанты наливали в бокалы сомалийцев — министров, партийных деятелей — апельсиновый сок, а в наши — вино. И мы провозглашали тост за дружбу.

Употреблять спиртные напитки, даже легонькое итальянское вино кьянти, даже пиво мусульманам запрещено.

Пьют ли дома, взаперти? Не знаю...

Как-то наше торгпредство устроило «коктейль» — прием в пять часов дня — не помню уж по какому поводу, ну, скажем, по поводу подписания коммерческого договора... Сомалийские гости, решительно отказываясь от спиртного, обычно с наслаждением лакомятся русской икрой, но на этот раз, как хозяева ни упраснивали, никто не подошел к столу.

Оказалось, что наступил религиозный мусульманский пост Рамазан, а работники торгпредства об этом и не подумали... В дни Рамазана мусульмане до наступления темноты обязаны поститься. Вспомним, что по обычаям русской православной церкви в канун рождения — сочельник — тоже нельзя вкушать пищу до первой звезды, но у нас нужно голодать — день, а у мусульман — целый месяц, изо дня в день.

В кафедральной мечети Могадишо старейшему, седобородому ахунду служки подносят на подносе мотки белых и черных ниток, и когда святой отец (в храме потушены все светильники) не сможет отличить белое от черного, то подает знак, и тотчас гремят барабаны, трубят трубы, с минаретов возглашают, что наступил вечер, а значит, правоверным разрешается приступить к трапезе...

Но и этот обычай, соблюдающийся неуклонно, еще не самый досадный, — встречаются куда более серьезные истории.

Например, первые строки всех без исключения манифестов сомалийских партий: и Лиги молодых сомалийцев, и Конституционной, и Либеральной, и прочих — гласят, что партия в борьбе за построение социализма (в некоторых программах уточняется: «африканского социализма») руководствуется заветами аллаха и начертаниями Корана.

Не думайте, что все лидеры партий — набожные правоверные.

Но, во-первых, опасно ссориться с муллами, а следовательно, и с султанами, — у султанов, как у всех африканских вождей племен, имеются дружинники с автоматами. Во-вторых, неграмотные кочевники-мусульмане попросту не поймут, что такое социализм, не благословленный Кораном.

Вот и приходится маневрировать...

Понятно, что позиции духовенства в таком, казалось бы, специальном вопросе, как алфавит сомалийского языка, прочны необычайно.

Я спросил сомалийского интеллигента:

— Разве нельзя провести плебисцит и наконец-то привязать народный язык к письменности?

Сомалиец пожал плечами:

— Мы, сторонники латинизации, обязательно проиграем. Прикажет мулла своему племени голосовать за арабский алфавит, и ему подчинятся. Кочевники поголовно неграмотные; собственно, не все ли им равно, за какой алфавит голосовать!..

Трудно сказать, чем и когда кончится распря между латинистами и арабистами.

А пока... Пока в Сомалийской республике выходят газеты: «Корьере делла Сомали» на итальянском, «Сомали ньюс» — на английском языке. Депутаты парламента произносят речи на итальянском, на английском и на арабском языках. Основные законы публикуются тоже на трех языках.

И молодой сомалийский поэт Уильям Жозеф Фари Саид пишет стихотворения на чужих — английском и французском — языках.

Народ не слышит своего поэта.

Какое одиночество!

В УНИВЕРСИТЕТСКОМ КОЛЛЕДЖЕ

Здание университетского колледжа в Могадишо — новенькое, построенное просто, изящно, как говорится, без архитектурных излишеств.

Учебные занятия идут, естественно, на итальянском и частично на английском языках. Правда, один предмет читает сомалиец на арабском языке, он преподает шариат — мусульманскую систему общественного и семейного права... На эту кафедру профессора-европейцы, конечно, не претендуют.

До сих пор колледж считается филиалом Римского университета, и для того, чтобы получить диплом о высшем образовании, необходимо студенту доучиваться в Италии.

Когда я был в Гане в 1960 году, тамошний университетский колледж тоже являлся филиалом Лондонского университета, и выпускникам вручался диплом с отгиснутой золотом короной английской королевы.

Университетские колледжи молодых африканских республик, в которых я побывал, значительно отличаются от наших высших учебных заведений тем, что дают студентам исключительно лингвистическое и социально-экономическое образование.

Зачем готовить инженера-электрика, если в стране нет электростанций? Зачем готовить инженера-металлурга, если в республике нет металлургического завода и всю руду возят без переработки в Европу и Америку?..

Упор прежде всего делают на языки, и надо сказать, что африканские интеллигенты владеют тремя европейскими языками — английским, французским, немецким или итальянским — безукоризненно.

Когда я думаю, что в нашей школе ученики годами бессмысленно зубрят иностранную грамматику, но не умеют сказать два-три слова, объяснить с туристом — англичанином или французом — на улице, то досада берет!..

Затем студенты изучают законоведение, международное право, историю, экономическую географию, коммерцию, бухгалтерию, журналистику. Таким образом, из колледжа выходит деловой человек-экономист, он же — коммерсант, он же — адвокат, который способен работать и в банке, и в министерстве своей республики, и в судебных органах, и в газете, и в торговой фирме.

Средние школы, те же колледжи, как правило, при-

надлежат частным лицам, церквам, монастырям. Улицы столиц и крупных городов Черной Африки пестрят вывесками монастырских училищ, английских, французских, итальянских колледжей.

Почему нет национальных?

Помню, как в Эфиопии меня удивило, что местные интеллигенты, богачи отдают детей в иностранные колледжи, а не в национальные школы, хотя существует древний амхарский — общегосударственный и народный — язык, письменность, книги. Первый же собеседник мне объяснил:

— Дороги нету!.. Куда денешься с амхарским языком? Специальность инженера, врача можно получить в европейских университетах... С амхарским языком возможно лишь поступить в духовную семинарию и стать священником. Конечно, нужно создавать национальные технические и медицинские вузы.

Да, нужно, но ведь на их создание и развитие уйдут годы, долгие годы, а сейчас «Колледж христианских девушек» сулит стипендии неимущим девушкам-африканкам, но обязательно перешедшим в католичество... Англиканская церковь открывает свои колледжи, протестанты-немцы тоже не отстают — насаждают просвещение.

В Дар-эс-Саламе, столице Танганьики, нынешней, после унии с Занзибаром, Танзании, я был в новом, только что открытом профессионально-техническом колледже. Умно распланированное, добротное построенное, блестящее белизной стен, густо пахнущее краской здание так и просилось на страницы иллюстрированного журнала.

Директор колледжа — англичанин — сказал, что в училище будут принимать 12—14-летних подростков с начальным образованием; изучать они будут английский язык, математику, физику, технологию, а в мастерских, тоже богато оборудованных, слесарное, токарное дело. Вечерами в этом же помещении станут учиться по такой же программе взрослые, причем принимать будут всех желающих, без вступительных экзаменов. Помилуйте, какой же у «туземцев» образовательный ценз, — понимали бы по-английски!.. Преподаватели, разумеется, иностранцы.

— Можно встретиться и побеседовать со школьниками?

— Извините, сегодня ученики на загородной экскурсии.

— А со взрослыми, вечером?

— Извините, сегодня вечерних занятий нету.

Но я рассказываю об этой школе совсем не потому, что видел здесь пустые классы и мастерские, а потому, что ее преподнесли в дар Танганике... швейцарские католики. Директор колледжа подчеркнул, что деньги пожертвовали не богачи, а — до чего трогательно! — рабочие, крестьяне, служащие, пенсионеры; каждый из благотворителей давал в храме обет ежемесячно вносить посильную лепту в кассу колледжа на богоугодное дело.

Таким образом, колонизаторы уходят, а приходят монахи, священники с учебниками.

У каждой церквушки своя начальная школа: священник, или его жена, или монах-прислужник, или монахиня учат босых, полуголых африканских детей грамоте. Разумеется, эти школы не имеют ничего общего с нашей начальной школой, но все-таки за три-четыре «зимы» (в вечнозеленой Африке нам, русским, зима представляется чисто условной!..) дети хоть как-то научатся читать, считать и разговаривать — на иностранном языке, конечно.

И это благо.

На мой взгляд, церковные школы в Африке в настоящее время имеют положительное значение.

Бог — это бог, мир «христианской цивилизации» со «священным принципом частной собственности» — зрелище малопривлекательное, но если молодые республики сейчас не имеют ни денег в казне, ни учителей для национальных школ, то пусть учат грамоте ребяташек миссионеры, священнослужители. Не забудем, что взрослое население поголовно неграмотное... Я понимаю, как щекотлив этот вопрос, предвижу, что медоточивый христианский яд смутит немало душ, но я также помню, что в России тысячи красноармейцев, сельских коммунистов в былые годы получили начальное образование именно в церковноприходских школах.

А затем начали читать большевистские газеты, сочинения Ленина.

Да и я сам учился при царе в первом классе церковноприходской школы...

Потому я считаю, что до поры до времени церковные школы полезны молодой Африке.

На новогоднем параде в столице Камеруна — Яунде — президент республики Амаду Ахиджо вручал ордена и медали европейским специалистам — консультантам министерств и камерунцам — государственным и общественным деятелям.

Между прочим, этот ритуал чрезвычайно трогательный: награжденные выходят на площадь, выстраиваются перед ложей президента, по радио сообщают имена и заслуги орденосцев, на трибунах и в толпе зрителей раздаются рукоплескания, и адъютант от имени и по поручению Ахиджо вручает награды. Это в подлинном смысле слова всенародное чествование!

Но самое интересное даже не это, а то, что среди награжденных было несколько африканок-монахинь в серых капюшонах с крестом.

Рядом со мною на трибуне стоял пастор, полный, холеный, в элегантно сером костюме.

— Божье дело, божье дело, — кивнул он с одобрением.

— К какой же церкви принадлежат награжденные? — спросил я.

— В республике есть католические, протестантские, англиканские монастыри. В Яунде есть и греческий, то есть православный, храм, — с нажимом добавил он, зная, что беседует с русским путником. — Божье дело, божье...

Как видите, католический священник не отличался религиозной нетерпимостью...

Буквально на другой день я видел, как к госпиталю на окраине Яунда подъехала на мотопеде монахиня с новеньким орденом на рясе, врученным ей на вчерашнем параде.

— Это наш доктор, — объяснил мне сторож госпиталя.

«Что ж, и сие благо», — подумал я.

Но вернемся в университетский колледж Могадиги.

ию. Там мы — члены Общества дружбы с народами Африки — беседовали со студентами. Ответы переводились с русского на итальянский и английский языки... Встреча проходила интересно, содержательно. Вдруг вихрь пронесся по рядам, раздались радостные восклицания: «Абдурахман! Абдурахман!..», и в зал ебежал, легко вспрыгнул на помост, где мы сидели, высокий, крепкий, словно кованый из красной меди, юноша.

Оказалось, что Абдурахман, студент юридического факультета Московского университета, приехал домой на каникулы, так сказать, «летне-зимние»: в Москве — лето, в Сомали — «зима». Узнав о нашей встрече, он приехал автобусом из пригородной деревни в столицу.

Теперь Абдурахман стал нашим переводчиком, и переводил он с русского сразу на сомалийский язык, родной слушателям. Каждую фразу Абдурахман дополнял свидетельством:

— Это — правда, сам видел!

Слова очевидца — весомые, чрезвычайно убедительные...

Неподалеку от меня сидел иностранец, не знаю, какого дипломатического ранга. Держался он с изысканной церемонностью, но, едва в зале зазвучала сомалийская речь, заметно переменялся в лице: ни национального, ни русского языков он, естественно, не знал.

В этот момент кто-то из задних рядов спросил, какие политические науки обязаны изучать африканские студенты в советских вузах.

— Не отвечайте! — посыпались со всех сторон гневные возгласы, слушатели затопали ногами, зашумели.

Внешне благопристойный вопрос, как видно, таил в себе враждебный «подтекст», и студенты это мигом почувствовали.

Но мы спокойно сказали, что советские и африканские студенты учатся по одной программе, совместно; для африканцев лишь открыты подготовительные курсы русского языка, ну, это понятно... Если советские студенты изучают политические и социально-экономические дисциплины, то и африканцы проходят эти же предметы по русским учебникам. И это понятно!..

Абдурахман повторил ответ по-сомалийски и добавил:

— Это — правда!

Дружные рукоплескания пробушевали в зале.

Трудно сказать, был ли вопрос явно провокационным или демонстрировал полнейшую неосведомленность, — я встречался в Африке и с провокаторами и с людьми благожелательными, но не имеющими точных знаний о Стране Советов, о так называемом советском образе жизни.

Десятилетия колониальные власти, пресса, радио либо молчали, боясь обронить слово о России, либо злобно и глупо клеветали на нас... Колонии превратились в независимые республики, но многое ли изменилось и могло измениться за несколько лет?

В Танганьике, в Дар-эс-Саламе мы встретились со студентами партийной школы.

В первые годы революции у нас были совпартшколы, где обучались деревенские работники: секретари сельсоветов, избачи, кооператоры. Были это люди кремневой закалки, прошедшие гражданскую войну, но порою разбирали они по печатному да умели расписаться, а таблица умножения пугала их ужасно.

Африка!.. Вообразите, юноша, живущий со своим племенем в джунглях жизнью если не первобытной, то вполне средневековой, вступил в народно-освободительную партию, ушел в подполье, может быть, и в партизанский отряд. Сейчас, в независимой республике, он оказался беспомощным: работать надо, быть вожаком народа, а на нем кандалы неграмотности... разумеется, я говорю не о лидерах партий и правительств, окончивших европейские университеты, — о низовых рабочих, мы бы сказали, районщиках.

Вот для них-то в Танганьике создана партийная школа. Студенты изучают английский язык, объединяющий племена с самобытными наречиями, арифметику, бухгалтерию, основы агрономии, историю, географию, кооперативное дело. Не шибко объемиста и глубока программа, но все-таки выпускники смогут после школы работать увереннее в провинциальных учреждениях, в местном самоуправлении, в кооперативе, смогут быть парторгами племен.

Студенты встретили нас дружелюбно, сразу же посыпались вопросы, с нашей точки зрения чрезвычайно наивные.

Вопрос. Разрешается ли в Советской России частная торговля?

Ответ. Нет, не разрешается, вся торговля государственная или кооперативная.

Слушатели переглядываются, отмалчиваются: то ли не поняли, то ли не поверили.

Прошу слова, говорю, что фермер-кооператор (здесь не скажешь — колхозник!..) может продавать на базаре продукты, полученные в кооперативе натуральной оплатой за труд либо собранные со своего приусадебного участка. Что ж тут такого!.. Коммерсантом он от этого не станет, — будет по-прежнему работать на земле.

Теперь студенты улыбнулись, закивали, — вероятно, поняли.

Вопрос. Можно ли иметь собственный дом?

Ответ. Можно иметь дом для своей семьи, но все многоквартирные, так называемые доходные дома принадлежат муниципалитету (здесь не скажешь — горсовету!..). Можно иметь и автомобиль, но для личного пользования: все такси также принадлежат муниципалитету.

Когда отвечаешь предметно, «зримо», то студенты довольны, откликаются одобрительными возгласами.

Нужно с огорчением заметить, что книги о Советском Союзе на английском и французском языках, попадающие в Африку, зачастую наполнены абстрактными политическими формулами, вообще-то правильными, но вовсе непонятными среднему читателю.

Документальный кинофильм, фотография, конкретный, я бы сказал, интимный рассказ о себе, о своей семье, друзьях — вот могучие средства воздействия на умы и сердца слушателей, зрителей, средства безоговорочные по убедительности.

С особой силой понял я это, услышав последний вопрос студентов, признаюсь, ошеломляющий.

Вопрос. Правда ли, что у советских людей жены и дети общие?

Ответ. Нет, неправда.

Слушатели молчат вежливо, но недоверчиво. Как говорится, «не дошло».

Я вынул, пустил по рядам семейные фотографии. К старости становишься сентиментальнее: конечно, я взял в далекое путешествие снимки... Вот тут-то в зале зашумели, загудели, послышались и смех и растроганные восклицания. Сами понимаете, семейную фотографию не фальсифицируешь: сразу видно — отец, мать, дети.

А когда профессор математики Л. И. Головина показала портреты своих четырех детей, то зал разразился рукоплесканиями.

Студенты поверили, усвоили, узнали, что и в Советской стране — «моя жена — моя жена, мои дети — мои дети...».

Иной читатель скажет, что это случай исключительный, своего рода анекдотический.

Нет, это случай определенно типический.

В 1966 году газета «Бараза», выходящая на языке суахили, то есть газета национальная, идущая в гущу народа, опубликовала письмо своего читателя Дж. М. Кингангаи.

«Мы слышали, что в России нет жен и нет мужей. Если женщина хочет иметь ребенка, она должна написать заявление властям, чтобы ей выделили самца. А если она не напишет такое заявление и заведет ребенка, ее подвергнут наказанию — отправят на всю жизнь в концлагерь... Недавно я слышал, как один миссионер рассказывал в своей проповеди, будто в России человека, достигающего семидесяти лет, душат, чтобы не кормить его зря, так как работать он уже не может».

Запомните это — миссионер рассказывал в проповеди! Учтите, как высок авторитет богослужителя среди богобоязненных и, как правило, неграмотных прихожан. Как же тут усомниться в правоте слов святого отца, — ведь его устами глаголет всевышний...

Теперь вы понимаете, какое значение для африканцев, даже интеллигентов, друзей нашей страны, имеет точная информация о жизненном укладе социализма, о нашем быте.

— Это — правда! — говорил Абдурахман в Могадишо, и сомалийские студенты верили ему безоговорочно: да, это правда...

Скоро сотни студентов вернутся в свои родные республики с дипломами советских вузов и, бесспорно, станут активными политическими и культурными строителями молодой Африки.

Дома, в Москве, я прочитал в статье Уильяма Бентона, бывшего сенатора и помощника государственного секретаря США, четырежды посетившего нашу страну:

«Наиболее могущественным оружием Советского Союза, возможно, является его самое тихое оружие — просвещение...»

Что правда, то правда, и, слушая Абдурахмана, студента-москвича, я думал, что наше «самое тихое оружие — просвещение», одухотворенное идеалами коммунистического гуманизма, уже перешагнуло отечественные рубежи, несет людям Африки и всей земли великие идеи мира, труда, братства.

РУССКАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА

В небольшом конголезском городке, километрах в тридцати от Браззавиля преподает в средней школе математику русская учительница; зовут ее Мариной.

Она закончила Ярославский педагогический институт, отлично владела французским языком, и когда ей предложили поехать на два года в Африку — согласилась.

Вы знаете, сколько слез проливают родители, провожая дочь-учительницу на Сахалин или на Камчатку.

А ведь тут надо ехать на край света в буквальном смысле этого слова.

«Оплакивали как заживо погребенную», — смеется, вспоминая, Марина.

Представим, что летела Марина в Конго-Браззавиль на нашем самолете ИЛ-18, тем же маршрутом, каким только что следовал я.

В Москве трещали морозы, бушевала метель в лесах у Шереметьевского аэродрома, родители, родственники, провожавшие девушку, кутались в шубы, и трудно было поверить, что через сутки Марина перенесется в страну, где зима означает сезон ливней и ничего иного.

Через пять часов самолет опустился в Белграде, и на Марину пахнуло весной, но еще ранней, с утренними заморозками, затягивающими лужи стекловидным льдом.

Пятичасовой прыжок через Средиземное море. Марина дремлет в кресле. Учивая бортпроводница приносит на подносе завтрак, а может — обед: привычное время — московское — исчезло, теперь в самолете все зыбкое, условное... Хлеб еще ржаной, еще московский. Долго-долго Марина не отведает родного хлеба, станет привыкать к безвкусным черствым белым булочкам: в Африке, да и вообще на Западе считают, и, пожалуй, справедливо, что черствый хлеб полезнее парного...

Алжир пахнул в лицо зноем пустыни; первое впечатление — будто открыли дверцу мартена. Вокруг аэродрома лежали желто-красные поля, всходило солнце, не нашенское, испепеляющее.

В салоне самолета исправно действует эйр-кондишн, и здесь всегда прохладно, но аэровокзалы Бомбомако, Дакара, Аккры, где пассажиры томятся часок-другой, напоминают липкой духотой инкубаторы... Ледяная кока-кола, о которой Марина столько слышалась дома, оказалась приятной на вкус и действительно утоляла жажду.

И, наконец, конечный путь маршрута — Браззавиль; встречи с работниками советского посольства, визиты в министерство просвещения. Витрины французских универмагов — филиалов парижских фирм — колдовски манят баснословным выбором товаров, если не слишком доброкачественных, то во всяком случае волшебной яркости по окраске, но сейчас еще не до них...

Сотрудник нашего посольства везет девушку в поселок, где ей предстоит прожить и проработать два года.

— Зажиточный район,— говорит он,— смотрите, здесь нет шалашей — тикулей, всюду хижины.

Плетенные из хвороста или сколоченные из досок хижины обмазаны глиной, окрашены известкой и вечерами под тяжело-шумными кронами деревьев похожи на украинские мазанки.

Сотрудник посольства представил Марину директору школы, конголезцу, окончившему Сорбонну, и укатил вечером в столицу.

Директор знакомит новую учительницу с коллегами — четой итальянцев, мужем и женою, каким-то востром занесенными в этот уголок Африки и решившими проработать здесь до пенсии.

Директор говорит, что учительнице приготовлен дом.

Марина смущена:

— А зачем мне отдельный дом? Дайте мне комнату.

Но здесь советские привычки приходится забыть...

Мягко улыбаясь, директор говорит, что городская община выстроила дома каждому учителю, даже одинокому, каждому врачу, каждому приходскому священнику. Директор предупредил, что жители, а тем более школьники не поймут, почему именно русская учительница не поселилась в построенном для нее доме.

Приходится подчиниться.

Марина входит в свой дом, построенный добротно, по среднему европейско-африканскому стандарту: пять комнат, ванна, вода горячая и холодная. Отопления, разумеется, нету: здесь дома не отопляют, как на Ярославщине, а охлаждают.

Ни на одной двери нет замка.

Девушку охватывает оторопь. Как жить одной в доме, двери которого не запираются ни днем, ни ночью?

Директор терпеливо объясняет, что если двери дома закрыты, то жители понимают, что хозяева либо ушли, либо отдыхают. И никто не зайдет в дом. Ни одна вещь не пропадет.

— Наша страна — не рай земной. К сожалению, есть и воры и бандиты. Но обворовать учителя, врача,

священника невозможно. Бывают случаи, что брат брата ограбит... Жилища учителей, врачей, священников неприкосновенны!

Итальянцы, люди милые, деликатные, подтверждают: в их доме двери тоже никогда не запираются.

Сперва Марина на ночь забаррикадировала двери стульями, столами, чемоданами.

Привычка — великая сила. Обжилась!.. И теперь уходит на весь день в школу, притворив двери, а вернувшись, наоборот, распахивает, чтобы родители школьников, да и сами школьники могли всегда навестить ее.

Марине нравится этот обычай, и правда благородный.

Вы решили, что на этом испытания ее душевной стойкости закончились? Ошибаетесь.

Директор сказал, что учительнице полагается иметь слугу-боя.

— Но я... я! — Девушка запнулась.

— Не беспокойтесь. — Директор понял, почему она так расстроилась. — Мы особо внимательно выбрали для вас слугу. Он — добродетельный христианин. Ему уже двадцать восемь лет, женат, двое детей.

Трудовая семья, жизнь в институтском общежитии приучили Марину обходиться во всех случаях собственными силами.

— Велико ли у меня хозяйство?

Учительница-итальянка заметила, что жители не поймут, почему Марина отказалась от слуги.

Пришлось и на этот раз покориться.

И сейчас в шесть утра в дом Марины без стука — двери-то не замыкаются — входит бой, серьезный, действительно добродетельный. Хозяйка еще спит, бой готовит завтрак, чистит туфли, гладит и вешает на «плечики» платье Марины. В семь утра учительница уходит в школу, бой прибирает в доме, идет на базар за продуктами, готовит обед, стирает белье: стирка здесь проводится ежедневно.

Платит своему бою Марина, как и положено, семь тысяч конголезских франков в месяц. Жалованье учительницы — 96 тысяч франков.

Я привожу эти цифры для того, чтобы вы поняли, как оплачивается в Конго, да и вообще в современной Африке, труд квалифицированный и труд неквалифицированный.

Кстати, вся прислуга здесь — мужская, кроме, разумеется, нянюшек, да богатые африканские дамы имеют камеристок-француженок. Прачки — тоже мужчины, и труд прачек котируется высоко, оплачивается соответственно; им не брезгают пожилые мужчины, отцы семейств...

Но вернемся в школу.

Марина приехала сюда преподавать математику.

Она считала, что свободно владеет французским языком, и она, верно, владела им, но это был язык литературный, а школьники говорили на жаргоне, обильно вплетая в речь местные — племенные — слова.

И на первом же уроке Марина услышала от своих учеников вместо внятных ответов картавую скороговорку, как она определила — тарабарщину.

Ее школьники понимали, она их не понимала.

Со слезами она прибежала к директору. Нет, она не собиралась убежать, дезертировать. Она попросту пришла в отчаяние.

Теперь Марина с благодарностью вспоминает, как директор и коллеги-итальянцы утешали ее, уговаривали не плакать: так случается со всеми европейцами.

«Да, так случается с европейцами, но ведь я-то русская, я советская, — размышляла Марина. — Большинство учеников вообще ничего не знают о моей стране, и, пожалуй, это хорошо. Хуже, что некоторые школьники, наслушавшись антисоветских передач по радио, считают, что Россия — страна вечных льдов, белых медведей и обитают там дикари, во всяком случае изучить французский язык неспособные».

Слава богу, в математике цифр и формул куда больше, чем слов.

Через месяц Марина вела уроки спокойно, уверенно...

Школа, в которой она преподает, и по программе и по организационной структуре типична не только для республики Конго-Браззавиль, но и для соседних

африканских стран, и потому расскажу о ней подробно.

Делится школа на три отделения: начальное четырехклассное училище, среднее училище, тоже четырехклассное, и двухклассный лицей; в лицее учатся только те, кто намерен поступить в университет.

Нумерация классов идет в обратном порядке, не так, как у нас: начальный класс — десятый, а последний класс — первый.

Марина преподает в четвертом и третьем; по-нашему это получается: в седьмом и восьмом.

Если в начальных классах много девочек, то в классах Марины, а тем более в лицее занимаются исключительно мальчики.

Почему?

В Конго существует обычай, пока незыблемый: четырех-пятилетнюю девочку обручают с семилетним мальчиком, и она навсегда после обряда переселяется в семью будущего своего мужа.

Дети вместе живут, растут, играют, вместе бегают в школу, сидят на одной парте, но все: и учителя, и школьники, и они сами — знают, что судьба их решена бесповоротно.

Конголезцы считают — не будем сейчас спорить, справедливо ли, — что такой обычай укрепляет семью: девочка вырастает под влиянием и попечением свекрови, привыкает к укладу семьи, в которой ей придется провести всю жизнь, свыкается с характером будущего мужа, чтобы — в зависимости от своего нрава — либо безропотно подчиниться ему, либо, наоборот, подмять его.

Свадьбу играют, когда невесте исполнится четырнадцать лет, а жениху шестнадцать-семнадцать.

Если в семье достаток, то муж продолжает учиться, но молодуха, говоря по-нашему, бросает школу, занимается хозяйством, ежегодно рождает...

Теперь вы поняли, почему в Браззавильском университете на тысячу студентов приходится всего три студентки: две из них — учительницы начальной школы (по секрету — старые девы), третья — дочь министра.

Об этом сообщил мне и члену нашей делегации

профессору Г. Е. Рябухину ректор университета, и мы, естественно, заинтересовались:

— Простите, но этот обычай существует лишь в языческих и мусульманских племенах, не так ли?

— Почему же,— улыбнулся ректор,— и в католических и протестантских племенах та же самая система.

Вы видите, какой внешний, я бы сказал, театральнo-декоративный характер имеет здесь религия, и христианская и мусульманская,— она не затрагивает вековые племенные устои.

— Но если эдаким манером и дальше дело пойдет,— не утерпел я,— то в республике долго-долго не появится женская интеллигенция, да и подлинное равноправие женщин тоже не осуществится!

— Вероятно,— кивнул ректор.

Ректор Браззавильского университета — француз, всю жизнь он проработал в Африке и, как все конголезцы признают, сделал очень много полезного для просвещения африканцев. На днях он уезжал в Абиджан,— предложили ему высокое и высокооплачиваемое место советника министра народного просвещения республики Слоновый Берег... Пожалуй, именно потому он так добродушно и говорил о своих трех студентах.

Таким образом, Марине приходится заниматься с подростками.

— Мальчишки как мальчишки,— смеется она,— такие же озорные, горластые, а зачастую и хулиганистые...

Бесспорно, вас удивляет, как это четыре учителя: директор, Марина, чета итальянцев — управляют с десятью классами? Удивило это и меня.

— Видите ли,— объяснила Марина,— здесь не возятся с отстающими учениками. Едва школьник «захромал», отстал, директор беспощадно вышвыривает его. И уже никакая сила: ни министр, ни правительство — не может заставить директора взять обратно слабого ученика. Мальчишки учатся вовсю, чтобы иметь диплом... Куда денешься без диплома!

Дело в том, что без диплома об окончании сред-

ней, по-нашему восьмиклассной, школы подростков не принимают в профессионально-технические училища.

А с дипломами принимают туда без экзаменов, и детей из бедных семей освобождают от платы за обучение, иногда и дают стипендию.

Счастливым удел!

За два года учебы в профессионально-техническом училище юноша приобретает квалификацию шофера, автослесаря, машиниста паровоза или парохода, электромонтера, специалиста по ремонту транзисторов и холодильников.

Эти профессии оплачиваются не так, как ремесло прачки или как служба боя,—15—17 тысяч франков в месяц, и юноша уверен, что будет материально обеспеченным, прокормит и жену и детей.

Вот отчего мальчишки учатся изо всех сил, с полным напряжением: диплом — путевка в жизнь в полном смысле этого слова.

В лицей (по-нашему в девятый-десятый классы) переходят дети богатых родителей: вождей племен, торговцев, помещиков,—многие из них уедут в европейские университеты, побрезговав «провинциальным» Браззавильским.

А девушки выйдут замуж и, народив десять — двенадцать детей, состарятся к тридцати годам...

В праздники Марина уезжает в столицу, заходит в гости к знакомым работникам нашего посольства, с наслаждением погружаясь в певучую прелесть русской речи, заглядывает в магазины, посещает кино-театр.

В поселке есть кино, однако местные жители не любят, когда туда заходят европейцы. Дико? Да, дико. Нелепо? Да, нелепо... Расисты не пускали «черных» в свои кинотеатры, а теперь, в независимой республике, африканцы не желают якшаться с «белыми» и рекомендуют им посещать столичные европейские, кстати, очень дорогие кинотеатры.

Вероятно, десятилетия пройдут, прежде чем исчезнет эта рознь, пусть внешняя, но советской учительнице неприятная...

Ночным автобусом русская учительница возвращается в поселок, где ей надлежит проработать, прожить два года, и на холмах белеют, совсем как украинские мазанки, крестьянские хижины, и где-то в джунглях, неподалеку от шоссе, хрипло, плаксиво лают гиены, пересвистываются, ухают, взвизгивают то ли птицы, то ли звери.

Учительница открывает дверь (без замка) своего дома. Нужно посидеть часок, подготовиться к завтрашним урокам...

В шесть утра придет бой, в семь Марина, позавтракав, пойдет в школу. Когда учительница идет по улице, все жители, и старики и старухи преклонных лет, встают со скамеек, отвечивают поясной поклон. Со всех сторон слышится: «Мботе!» — привет...

Конголезцы радушны, вежливы; здесь широко распространен завет гостеприимства — банту: «Чужеземца, пришедшего к тебе в дом, опекай, как неразумного младенца, делающего первые шаги».

И это не слова, это — всенародный незывлемый обычай.

Разумеется, мои вынужденно беглые заметки дают самое приблизительное представление о труде и быте русской учительницы в далеком африканском городке. Но думаю, что и они покажут читателю, как сказочно необычна тамошняя жизнь и какое душевное напряжение должна проявлять изо дня в день Марина.

Вероятно, в ближайшие годы мы получим пусть не литературные, чисто деловые записки советских специалистов, работавших в странах Африки. Они расскажут о своем благородном и нитруднейшем деле обстоятельнее, детальнее, чем я — путешественник.

СОМАЛИЙСКАЯ ДЕРЕВНЯ

Кочевые племена имеют свои постоянные базы — деревни.

Деревня обычно бедна, неприглядна.

Конусообразные тикули — шалаши, обмазанные

глиной, — жмутся к проезжим дорогам, к административным центрам провинций. У входа тикуль — дворик, обнесенный каменной изгородью; в нем очаг и курятник (скот круглый год на пастбищах). В тикуле нет окон, и потому в нем всегда прохладнее, чем под жарким солнцем. Земляной пол устлан циновками. На этих циновках и обедают, и принимают гостей, и спят вповалку всей семьею.

Полицейские, шоферы не рекомендуют европейцам входить в тикули: циновки кишат мириадами насекомых самого зловредного свойства...

У самого шоссе, там, где останавливаются автобусы, — лавчонки, ресторанчики; это такие же тикули, но прямоугольные, с плоской крышей, называются они «ариш».

Обычно в ресторанике на плите круглые сутки булькают два котла: в одном тушится мясо, в другом кипит красный соус, невероятно жгучий, опаляющий глотку струей расплавленного олова.

За некрашеными столами парни целыми днями режутся в карты.

У хозяина вся надежда на пассажиров автобуса: они отведают тушеного козьего или верблюжьего мяса под красным соусом, они закажут бутылку вездесущей ледяной кока-колы.

В будни в деревне встречаешь женщин, детей, отлынивающих от работы юношей-картежников (мы бы их называли «стилягами»), а все мужчины на кочевьях, со стадами.

В базарные дни, в праздники семья в полном составе шествует либо в мечеть, либо на площадь, где кипит торговля: впереди величественно шагает муж, за спиною он несет пастушеский посох, придерживая его сгибом локтей: статные сомалийцы от этого кажутся еще стройнее; сзади семенит жена, в кошелке за ее спиною — младенец, детишки постарше держатся за подол, на голове женщины таз, в тазу какие-то узлы.

Мусульманские нравы, освященные шариатом!..

Сомалийская деревня — полукочевая: мужчины бродят со стадами в саванне, женщины и дети ковыряются на крохотных делянках около тикуля. Разумеется, и здесь единственное сельскохозяйственное

орудие — мотыга. Пустующих земель много, и плодородных, но ведь все зависит от дождей: выпадут в срок лилии — семья соберет тучный урожай; грянет засуха — сгорят посевы.

К счастью, и в засушливые годы голод не грозит крестьянской семье — мясо выручит. А мяса в саванне избыток, и стоит оно гроши, а вернее, ничего не стоит...

Однажды на автобусной остановке я подарил пастуху овечьей отары пачку сигарет, обычную нашу «Лайку». Учтиво поблагодарив, приложив по мусульманскому обычаю ладонь ко лбу, поклонившись, пастух быстро пошел к блеющему, струящемуся в пыли стаду и через минуту вернулся, ведя за рога тучного барана. Это был ответный подарок. Я растерянно пожал плечами, но тоже поклонился, понимая, что отвергнуть дар невозможно. Шофер автобуса внес ясность в положение: с трудом, покряхтывая, вскинул барана на крышу автобуса, поднялся по лесенке и прикрутил его там веревками.

«Всякое даяние — благо, и рука дающего да не оскудеет...»

Я и пастух еще раз обменялись поклонами, рукопожатиями, и автобус тронулся.

Да, мяса — избыток, но продавать пока что нигде...

Все-таки полукочевники живут зажиточнее кочевников: в дождливые годы собирают богатые урожаи африканского проса, сахарного тростника, хлопка, арахиса, а на эти продукты всегда есть устойчивый спрос; следовательно, у семьи появляются деньги.

Правительство молодой республики приняло торжественный указ о переводе кочевых племен на оседлое жительство. Трудно сказать, как к этому почину отнесутся султаны и муллы... Люди они многоопытные, хитрые и прекрасно понимают, что кочевье, полностью изолирующее сомалийцев от политической жизни страны, укрепляет их владычество, пока еще безграничное, поселенье же неизбежно приведет, рано или поздно, к размыванию племенной спайки, дисциплины, гнета.

Но оседлому крестьянству нужно постоянное, устойчивое орошение, а в Сомали всего две реки не пересыхают летом: Веби-Шебели и Джуба. Именами этих многоводных рек названы лучшие отели столицы...

Ясно, что на берегах этих рек раскинулись тучные пахотные земли, здесь налажено хоть и примитивное, но исправно действующее орошение, но увы, самые крупные участки принадлежат богатым сомалийцам, как мы привыкли говорить, кулакам.

Бедные семьи довольствуются неорошаемой саванной.

Правда, геологи-итальянцы еще в колониальные времена, еще до независимости, разведали, что сомалийская саванна богата подпочвенными водами и залегают они мелко: на четыре — восемь метров, не глубже пятнадцати. Значит, широкая сеть артезианских колодцев чудодейственно преобразила б доселе безжизненную землю.

У республики сейчас нет ни денег, ни специалистов.

Как пышно, как щедро цветет, плодоносит здешняя почва при орошении, можно без труда увидеть и сегодня, достаточно сесть в автобус и съездить в виллу Абруцци.

Полное ее наименование: Виладжо дука делли Абруцци.

Полвека назад дядя итальянского короля герцог Абруцкий купил у сомалийских султанов необозримые земли и создал на берегах Веби-Шебели образцовое сельскохозяйственное имение. Умелое, а главное — регулярное орошение, даже при минимальных затратах, преобразило некогда уныло-серый, угнетенный зноем край.

«Микроклимат», — сказал я себе, едва в открытое окно автобуса пахнуло прохладой, душистым ароматом то ли спелых апельсинов, то ли раскаленных солнцем бананов. Это было густое влажное благоухание... Вода! Животворящая вода!

Вилла Абруцци теперь полугосударственное-получастное имение. Сразу же после проигранной войны, уже в сорок пятом году, итальянские хозяева передали

часть акций Сомали, наделили батраков-сомалийцев участками орошаемой земли. Опомитовались!.. Сейчас администрация помогает батракам-новоселам своими тракторами при вспашке почвы, снабжает удобрениями, выдает и натуральные — зерном, и денежные авансы под будущие урожаи.

Директор виллы, итальянец, сказал, что нынче колонистов-сомалийцев примерно столько же, сколько итальянских рабочих.

Как это проверишь?

Достаточно заглянуть в сомалийский поселок, где те же тикуги, тот же мусор, та же нищета, а затем бросить взгляд на особняки итальянцев, утопающие в вечнозеленых садах, в цветах баснословной величины и расцветки: бутон словно ручная граната, венчик цветка с суповую тарелку, чтобы понять, что перемены происходят значительно медленнее, чем хотелось бы и сомалийцам и нам — гостям.

У итальянцев свой клуб, свой кинотеатр...

Правительство республики хочет, чтобы вилла Аbruцци стала своеобразной сельскохозяйственной школой, в которой крестьяне приобретали бы хоть первичные навыки культурного земледелия.

Когда еще это будет!..

Пока же взаимоотношения итальянской фирмы «САИС», которой принадлежит вилла, с государством определены законом: «Культурно обрабатываемые земли остаются в собственности их фактических владельцев».

Я могу засвидетельствовать: земли виллы Аbruцци действительно обрабатываются культурно. На отлично удобренных и ухоженных плантациях сахарного тростника — отменные, из года в год, урожаи; срубленные стебли перевозят узкоколейными вагонетками, перерабатывают на собственном сахарном заводе — единственном в стране.

Да, единственном...

Приятно, что правительство молодой республики, — да что молодой! — по сути, новорожденной, старается помочь крестьянам, но надо тут же заметить, что начинается это дело с великими трудностями.

...В холле отеля «Джуба» вдруг слышу певучую и как бы нетерпеливо-страстную армянскую речь.

На юго-восточном побережье Африки армянских торговцев немало, но слишком уж привычно-знакомый, советский облик у красивых усатых мужей; не скажешь — мужчин, а именно мужей, до того они осанистые, дородные.

— Друзья! Давно из Москвы?— на чистейшем русском языке обращаются они к нам, ожидающим автобуса в полутьме холла.

— Здравствуйте, Петрос Даниелян! Здравствуйте, Рафик Мелконян! Вот куда судьба и служебный долг привели вас — прославленных армянских сыроваров...

Оказалось, что по приглашению правительства Сомали Даниелян и Мелконян приехали сюда, чтобы на государственной ферме наладить производство сыров, научить сомалийцев сыроварению.

До сих пор сыры ввозят в страну из Италии.

Разговор с армянскими сыроварами в холле сомалийского отеля проходил примерно так:

— Трудно, очень трудно,— сказал Петрос и многозначительно посмотрел на друга.

Рафик кивнул в знак согласия и вздохнул:

— Трудно...

— Почему трудно?

— А потому, что в мусульманской Африке, да и в Индии, на Цейлоне, в Бирме не доят коров, не пьют коровьего молока.

Я заметил:

— Ленинградский писатель, мой давний друг Владимир Дружинин, побывавший в Японии, рассказывал, что и там не пьют... В Токио в витрине лавки стоит стакан с молоком, и написано по-английски и по-японски: «Молоко для иностранцев».

— Вот видите!.. Если учесть, что во многих странах Черной Африки из-за мухи цеце коров вообще не разводят, то картина становится вовсе неприглядной. В Сомали, правда, коровы есть, но мясные, а не молочные. Конечно, в саванне холодильников нету, погребов льдом здесь тоже не набьешь по причине полного отсутствия льда, но, казалось бы, парным-то молоком

можно было поить детей, делать из молока сыр, брынзу. Но не умеют!

С нашей точки зрения, естественно, все это и удивительно, и непростительно, и, может быть, смешно. Умная пословица гласит: «В чужой монастырь со своим уставом не ходят». Действительно, у каждого народа свои обычаи, свой нрав.

События на государственной молочно-сыроваренной ферме развивались бурно. Закупили коров, но ведь раздаивать-то их некому, опытных доярок нет, и вот усадые мужи, Петрос и Рафик, засучили рукава, взяли подойники.

Молоко было необыкновенно жирное, прокисало через 14 часов (поймите, как это важно для Африки!), а у нас обычно прокисает летом через полтора-два часа.

Первые партии сыра получили восторженную оценку европейцев. На официальной дегустации, правда, один иностранец, референт какого-то министерства, проскрипел: «Сырок-то коммунистический...» Но и он не чинился, отведал «коммунистического» с аппетитом. Да и в конце концов можно на референта не обращать внимания.

Хуже получилось, когда пригласили на ферму сомалийских женщин из ближайших деревень, угостили парным молоком, сыром различных сортов.

Вкусно? Молчат. Не вкусно? Молчат.

Вот тут-то армянские сыровары перепугались — не угодили...

В министерстве сельского хозяйства республики их успокоили:

— С женщинами-мусульманками ни вы, ни мы договориться не сможем. Пока муллы не благословят с амвона сыроварение, не скажут, что сыроварение не противоречит шариату, женщины за молочное хозяйство не возьмутся.

— Значит, угощайте молоком и сырами мулл и ахундов, — предложил я.

— Придется! — Петрос и Рафик рассмеялись.

Пусть этот случай не имеет генерального, так сказать, вселенского масштаба, но, думается мне, что он красноречиво рассказывает о том, как противоречива

жизнь не только Сомали,—многих иных молодых африканских республик.

Дороги к новому ухабисты.

Саванна ровная, но бесплодная.

КООПЕРАТИВ В МОШИ

Танганьика неизмеримо богаче Сомали. Благотворно влияние более умеренного климата, да и земля, видимо, тучнее. Почти все племена давным-давно перешли к оседлости. Нужно подчеркнуть, что и англичане в пору колониального владычества вели себя расчетливее, умнее, чем кичливые эmissары Муссолини по соседству.

Моши — тихий провинциальный городок, и, пожалуй, смысл его существования не в административных учреждениях, слава богу, малочисленных, а в сельскохозяйственном кооперативе, самом мощном в республике.

Лучшие здания города — кооператива. Склады кофейных зерен, бананов — кооператива. Гаражи с сотнями грузовиков — кооператива. Жилые европейского типа дома — тоже кооператива.

Создали кооператив англичане в 1925 году.

Зачем?

А зачем Столыпин насаждал в царской России отруба, покровительствовал хуторянам-кулакам? Для того, чтобы укрепить царскую власть, спасти помещичьи имения.

Примерно по этой же причине англичане-колонизаторы видели свою опору, оплот своего могущества в Танганьике не только в вождях племени, но и в зажиточных фермерах.

Характерно, что тотчас же после провозглашения независимости Танганьики англичане добровольно ушли с руководящих постов в правлении кооператива. Правда, они остались там... референтами. С прежними окладами. И все-таки это был умный маневр: в правлении теперь работают африканцы.

Кооператив сейчас объединяет примерно 50 тысяч

фермеров; средний размер земельного участка каждого кооператора — четыре гектара. Этого вполне достаточно, чтобы крестьянская семья, восемь — десять едоков, жила сравнительно безбедно.

Нужно учесть, что кофейные деревья боятся обжигающих лучей тропического солнца, — их нужно затенять, и затеняют их от зноя широковетвистыми, гигантского размаха и высоты бананами. Таким образом, с одного участка крестьянин снимает два урожая: и кофе и бананов. Выгодно!

Вице-президент кооператива, пожилой африканец, всю жизнь после окончания Лондонского университета проработавший в аппарате правления, рассказал нам, что фермеры получают от своего кооператива денежный аванс, химические удобрения, а если потребуется — и семена высшей кондиции. У кооператива есть передвижная станция по борьбе с вредителями посевов.

Шторы были спущены, в полутемном кабинете гудел эйр-кондишн; нас угощали своим кофе, действительно редкого вкуса и аромата.

— Сейчас создали строительную контору, сперва она обслуживала только кооператив, а нынче берет уже подряды. Вот новое здание банка — наша работа!

Вице-президент приподнял штору, и мы полюбовались светло-серым, с иголочки, как говорится, домом «Стандард бэнка», то ли английского, то ли американского, а вернее — международного. Африканские строители, надо добавить, работают качественно: там не понимают, что такое «недоделки».

— Мы строим жилые дома, и собственные, кооперативные, и по заказу хозяев...

Правление при окончательных годовых расчетах взимает с фермеров определенный процент на содержание аппарата, на строительство складов, гаражей, на расширение коммерческих операций. Кроме того, есть «культурный процент» — отчисления на больницы, вечерние школы, библиотеки.

Вице-президент предложил заглянуть в центральную кооперативную библиотеку, благо, расположена она рядом, на этом же этаже. Библиотека — солидная, укомплектована, конечно, исключительно английскими

книгами по социально-экономическим, юридическим, финансовым вопросам.

— У нас есть специальный отдел литературы о Советском Союзе,— похвастался вице-президент.

Мы подошли к книжным полкам и ахнули: обычная антисоветская белиберда... «Россия и Сталин», «Заговор международного коммунизма» и прочее.

Не думайте, что правление злоумышленно закупало антисоветскую литературу.

Попросту в городских книжных магазинах иной — не антисоветской — литературы о нашей стране не было.

Советские книги на английском языке в Танганьике еще не поступают...

Фермеры-кооператоры, повторяю, живут значительно зажиточнее сомалийских крестьян. Во многих поселках появилось электрическое освещение, дома каменные, с цементированными полами.

— С цементированными полами! — подчеркнул вице-президент.

Разве это столь важно? Чрезвычайно!

Вы помните, что я говорил,— в тикулях лежащие на земле циновки кишат мириадами паразитов. Так вот цементированные полы в здешних домах можно мыть и дезинфицировать специальными жидкостями.

«В чужой монастырь...» — вспомнил я и понял, почему с таким нажимом сказал о цементированных полах вице-президент. Действительно, в смысле оздоровления деревенского быта, цивилизации каменный пол крестьянской хижины — великое благо.

Кроме того, цемент прохладнее земляного пола, а это в жаркой Африке надо ценить...

Не надо думать, что все кооператоры живут одинаково; я был в деревнях и видел рядом с аккуратными каменными, добротной кладки домиками обычные тикули.

Как-то вечером я заглянул в один из шалашей. В люльке качался младенец, а им любовались три коровы; на ночь их обычно загоняют в тикуль,— хозяева побаиваются и воров и шакалов. На циновках укладывается спать вся семья. Нет никакого освещения: ни электрического, ни керосинового. Старая русская

деревня освещала избы лучиной, а здесь и этого не ведают...

Как видите, африканские кооперативы своеобразные и во многом глазу советского путешественника удивительные.

Помню, как два года назад в республике Того член нашей делегации, видный кооператор, нанес визит правлению местного союза кооператоров.

— Ну, каковы впечатления, Василий Иванович? — спросил я.

— Да что ж, — Василий Иванович натянуто засмеялся. — Не по-нашему... Кое-где у кооператоров до шестидесяти батраков!

Но и такие кооперативы, на мой взгляд, прививают крестьянам навыки культурного земледелия, разбивают принудительно низкие заготовительные цены иноземных монополий на сырье, создают в деревне квалифицированных рабочих — шоферов, строителей, трактористов.

А цементированные полы? И о них забывать не следует.

ЖИРАФЫ, СЛОНЫ, ОБЕЗЬЯНЫ...

Жирафы шагали неподалеку от шоссе, рассекающей государственный заповедник Танганьики, за кустами, их шеи, чудесно удлинённые, словно лебединые, плыли в синеющей вечерней полутьме.

Древние викинги украшали ладьи вырезанными из дерева фигурами фантастических животных и птиц. Как знать, может, в дни долгих морских путешествий они видели на африканском берегу жирафов?..

Два слона дремали, положив головы на спины друг другу; широкие, как простыни, уши свисали неподвижно; на рычащий автобус с разинувшими рты от восхищения путниками слоны не обращали ни малейшего внимания.

Пробежало стадо буйволов, сотрясая землю, разбивая копытами сухую почву в пыль; долго висело в воздухе серое облачко.

Грациозными прыжками пролетели антилопы, как

бы крылатые, и подумалось, что на заре человечества первые балерины, вероятно, у них, легконогих, учились искусству стремительного, изящного танца.

«Летит, как пух из уст Эола» — это волшебная строка Пушкина.

Летит пушинкой в просторе саванны пленительно легкокрылая антилопа, догоняя наш автобус, перегоняя автобус...

Обезьянки сидят на пнях, лицом друг к другу, и о чем-то с уморительными ужимками беседуют. Вот бы подслушать, понять...

Автобус вдруг с разбегу наткнулся на что-то прочное, монолитное, пассажиры посыпались с кресел, егеря, вооруженные крупнокалиберными ружьями, закричали: «Кабан, кабан!» — и выскочили на дорогу, за ними выпрыгнул шофер.

Поднялась беспорядочная стрельба.

Никого на шоссе не было.

Если действительно сунулся под колеса кабан, то можете представить, какой же он величины, толщины, какого веса — уцелел от удара автобуса, ушел в кусты.

Ночные джунгли, недоступные взгляду, тем временем щедро наполнились громовым рыком, ухающими стонами каких-то зверей, пронзительным свистом то ли птиц, то ли змей. Цикады трещали металлическим, похожим на пулеметные очереди скрежетом. В траве мерцали светляки огнями круглыми, крупными, и казалось, что по земле разбросаны электрические фонарики. Птицы горланили, визжали, верещали с умопомрачительной страстью. Все здесь было африканским, то есть могучим, предельно гиперболизированным.

Государственный заповедник в Танганьике не одинок; сейчас все молодые республики усердно создают заповедники, благо пустующей земли еще избыток.

Это и вопрос достоинства, своего рода государственного престижа, и дело элементарного благоразумия.

После второй мировой войны в Африку хлынули богачи-охотники на быстролетных джипах, с американскими скорострелками, которые вернее было бы назвать ручными пулеметами. На полном ходу джипа

догоняли они добродушных слонов, косили их струями крупнокалиберных пуль.

Когда появились охотники на вертолетах, то национальную интеллигенцию охватил ужас: эдаким манером можно в считанные годы истребить не только слонов, тигров, львов, но и вообще всех диких зверей Африки.

Потому правительства молодых республик ввели строжайшие ограничения для охоты, начали устраивать заповедники, заказники.

Беда, что пока отказаться от допуска заграничных охотников нельзя: валюта нужна государственной казне, а естественно, что в Африку охотиться бедняк не приедет...

Например, в Сомали за право застрелить первого слона надо теперь заплатить государственную пошлину 140 долларов, а за второго — уже двести.

Так это вы платите за право охотиться, а промахнетесь или метко врежете пулю в громоздкого и неизменно как бы дремлющего гиганта — решит мастерство и охотничье счастье.

Авиационная фирма «Алиталиа», занимающаяся и охотничьим бизнесом, в красочных разноцветных проспектах «предлагает своим пассажирам возможность посетить Сомали — страну, где Африка предстает в диком и первобытном состоянии».

И тут же фотография: туша огромного слона, похожего на дирижабль, из которого постепенно вытекает газ. Крупными буквами объявлено:

«Великолепный экземпляр слона, убитого единственным в Сомали профессиональным белым охотником — хозяином «Сафари» (частная охотничья контора), синьором Джулиано Белли делль Иска. Длина бивней — два метра 80 сантиметров, вес — 99,5 килограмма».

Охотники-сомалийцы, кстати, за слонами не гонятся, и не по доброте, а по здравому расчету: мясо жесткое, несъедобное, а контора «Сафари» за слоновую кость платит скупое: всего два доллара за килограмм.

Потому сомалийцы, вооруженные, конечно, не скорострельными ружьями, а копьями, луком и стрела-

ми, — да, да, теми самими, какие вы теперь видите в музейных витринах, — предпочитают мясо антилопы, нежное, сочное, душистое.

Вообще сомалийцы охотятся, я бы сказал, благородно: царит неписанный, но твердый закон: пока у племени есть пища, убивать животных, даже рыбу ловить нельзя. Неприлично, что ли...

Охота на кабанов, однако, в Сомали поощряется. И доллары не надо вносить за пошлину. Мусульмане, как известно, не едят мясо свиней, как домашних, так и диких.

Лук, стрелы — вооружение не только сомалийских охотников, жители джунглей по всей Африке не расстаются с ними, прежде всего потому, что это оружие дедов и отцов совершенно бесплатное, не требующее денежных затрат. А денег у африканцев мало...

В джунглях Камеруна я встретил старика охотника: всю жизнь он не имел ружья и приобретать не собирается. Его оружие — лук и отравленные стрелы. Яд он варит сам из корней растений. Тайна яда охраняется свято. Но возможно, что так говорится для пущего эффекта и эту отраву умеют варить все охотники племени барба. Яд слабый, не убивает, а на несколько секунд парализует зверя, и нужно подбежать, прирезать кинжалом добычу.

Охотится старик преимущественно на обезьян. Обезьянье мясо — пища бедных горожан. Европейцы и богатые африканцы, как я уже говорил, покупают за весьма высокую цену прессованное замороженное австралийское мясо. Знатоки утверждают, что национальные кушанья из обезьяньего мяса получаются такими лакомыми, что пальчики оближешь... Думаю, что все же покупателей прельщает дешевизна.

Сколько лет старику? По одним подсчетам — за семьдесят, по другим — без малого девяносто. Метрику в джунглях нету. Приходится полагаться на память, а она ненадежна... Учтите, что чиновник министерства информации, наш неперменный спутник, говорил со стариком на языке его племени, а с нами по-французски, так что разнобой в толковании тех или иных слов был возможен... Было у старика четыре жены и примерно 72 ребенка. Да, примерно, ибо старик непре-

рыено путается. Жены и большинство детей умерли: детская смертность в джунглях потрясающая. Похоже, что родители не шибко тужат, когда болезнь уносит младенца. В дореволюционной русской деревне я не раз слышал, как матери говорили с облегчением: «Бог прибрал...» Какого бога — христианского или языческого — поминают в джунглях, сказать не берусь.

Оставшиеся в живых дети выросли, ушли из дома. Где они теперь? Как сложилась их судьба?.. Пришел срок, птенцы окрепли, улетели из гнезда — таков закон джунглей. Старик забыл имена детей. Несколько лет он жил один, сейчас вернулась из города, поселилась с ним дочь-вдова, занялась хозяйством.

— А давно она овдовела? Неужели у нее не было детей? Чем она в городе занималась? — заинтересовался кто-то из нас.

— Не знаю. Я ее ни о чем не спросил, — сказал охотник.

— Ну, понимаете, мосье, здесь джунгли. Джунгли! — объяснил чиновник.

...Да, здесь джунгли.

ПРОФЕССОР ХИРОМАНТИИ

На торговой улице Дар-эс-Салама, наискосок от нагло сверкающих зеркальными стеклами витрин магазина Форда (это английский Форд, а не американский, и потому в Танганьике он машины со своих английских заводов ввозит беспопылинно), расположено ателье дипломированного профессора хиромантии; так оповещает прохожих широкая вывеска.

Двери открыты, и остановившийся путник видит благообразного старца с библейской, до пояса, белоснежной бородою.

Это и есть профессор-индус; по-английски он якобы не понимает — об этом предупреждает клиентов специальное объявление.

При всем уважении к профессору могу заметить, что тут-то он слухавил: отлично понимает, хотя, может быть, и не говорит... Но ведь так эффектно умному

старцу подслушать разговор туристов, а затем ошеломить их пронизательностью, едва ли не таинственной.

Переступив порог ателье, мы отвесили профессору учтивый поклон. Из-за перегородки вышел юноша-индус, то ли переводчик, то ли комиссионер.

Старец с величественным видом раскрыл книгу, испещренную письменами,— бог весть, на каком языке и в каком веке была написана сия рукопись.

Но мы не жаждали услышать предсказания; член нашей делегации, армянский художник Варткез Степанян, попросил разрешения нарисовать портрет профессора.

Выслушав переводчика, старик милостиво качнул бородою вправо-влево.

А можно ли сфотографировать профессора? И это не возбраняется: реклама...

Уверенными штрихами Варткез набросал эскиз, на мой взгляд, удачный, таящий в себе живописное решение портрета.

Эскиз был благосклонно одобрен,— в знак признательности профессор предложил гостям определить по пульсу возраст каждого из нас. Положив твердые, вовсе не стариковские пальцы на мое запястье, он уловил, как бы послушал бег крови, кивнул, заглянул в таинственную книгу, задумался. Переводчик сделал предостерегающий жест: тиш-ше... Сосредоточенное молчание длилось минуту. Наконец профессор назвал мои годы. Он накинул мне несколько лет, и я, естественно, протестовал.

— По крови, не по паспорту,— тотчас вмешался переводчик.— Профессор никогда не ошибается.

Я вспомнил войны: финскую 1939—1940 годов, Отечественную, голод в блокированном Ленинграде и скрепя сердце признал, что старик прав.

Зато пылкому Варткезу профессор великодушно скинул пять годков. И тоже, пожалуй, не ошибся: художник поражал всех нас задором, неутомимостью, а следовательно, и молодостью.

Возможно, что кибернетическая машина теперь определяет возраст людей, даже по току крови, точнее, но ведь здесь присутствовала магия, и старик улы-

бался так величественно, что мы рассыпались в благодарностях.

Конечно, профессор в обычные дни подобными пустяками, да еще бесплатно, не занимается,—он заверяет влюбленных, что они будут счастливы в долготлетнем браке, ободряет неутешных вдовушек, заверяет матерей, что вскорости они получат весточку от уехавших на заработки сынов.

И за эти предсказания ему платят щедро...

Надо сказать, что хироманты, гадалки, колдуны до сих пор пользуются непререкаемым влиянием в общественной и семейной жизни народов Африки.

Лоуренс Грин, ученый, серьезный исследователь африканского быта, рассказывает, что в Тангании однажды к чиновнику окружного управления пришли с жалобой крестьяне: колдун повалил священный баобаба, и если дерево не поднимется, то все племя погибнет...

Чиновник приехал в джунгли, увидел, что старейшины сидят с причитаниями и слезами вокруг совершенно целого, невредимого баобаба. Чиновник их уверял, что дерево и не пошатнулось, но старики своими глазами видели, что баобаба рухнул. Тогда чиновник пригрозил колдуну, что повесит его на этом повалившемся дереве, если баобаба не поднимется... Разожгли костер. Принесли в жертву богам козла. И вот с воплями восторга старейшины наблюдали, как «упавшее» дерево приняло прежнее положение.

Грин пишет:

«Это был явный случай массового гипноза, захватившего всех присутствующих, за исключением чиновника. Случай этот зафиксирован в официальном протоколе...»

В официальном протоколе!

Но вы же помните тоже в своем роде фантастическую историю, как профессор Покровский попал в племя идолопоклонников...

В этой же книге Л. Грина «Последние тайны старой Африки» рассказано о том, как его знакомый шейх Ибрагим лечил пациентов от мучительных головных болей.

«Пристальный взгляд и успокаивающий голос составляли два основных секрета врачебного искусства шейха. Я почти дословно могу перевести поток тщательно подобранных им арабских фраз: «Ваши глаза устали... они закрываются... вы отдыхаете... головная боль исчезает... боль не вернется».

И больной чувствовал неизъяснимо блаженное успокоение...

Как же не поклоняться такому чудодейственному целителю!

Вероятно, местные лекарства, которые знахари варят из растений (африканская национальная народная медицина еще не изучалась), тоже приносят славу прежде всего колдунам.

Теперь вам понятно, почему профессор хиромантии в Дар-эс-Саламе пользуется вниманием и африканцев и иностранных туристов, — толпами идут, гадают, фотографируют.

Экзотика!..

Вообще Танганьика, по моим наблюдениям, для путешественников — суший рай.

Конечно, и в Мogaдишо туристы любят «Гарезой» — дворцом занзибарских султанов, некогда правивших Сомали... Высокие каменные стены, старинные пушки у врат, — дворец был в те времена и неприступной крепостью. Тяжелые кованые двери открываются с пронзительным скрипом. Во внутреннем дворе бьется в мраморной чаше фонтана лепесток воды, вокруг — пальмы, цветущие, пряно благоухающие розы. Здесь на коврах танцевали перед благосклонным взором султана обнаженные одалиски... Европейский или заокеанский турист с интересом смотрит богатейший историко-этнографический музей во дворце, а в читальный зал не заглянет, но там-то мне, советскому человеку, всего интереснее — шкафы с советскими книгами на английском и итальянском языках.

Книги почему-то получены музеем из Аддис-Абебы, не из Москвы.

Читателям, разумеется, это безразлично, а книги — потрепаннные, значит, читателей много...

Таким образом, туристу дворец и музей понравятся, в читальный зал он не завернет, но едва путник

услышит, что Могадишо постоянно подвергается набе-гам то рыжих, огромных, величиной с палец муравьев, то мокриц, выползающих после ливней, вероятно, из подземелий, то налетам саранчи, да таким налетам, что небо днем темнеет, что здесь постоянно не хватает пресной воды и в самых лучших отелях придется умываться океанской, соленой,— схватит чемоданы, умчится на аэродром, к самолету в Дар-эс-Салам.

А в Дар-эс-Саламе турист отдохнет. Благословенный городок!.. Воздух суше, чем в Сомали, ветер сдувает с побережья жару. Вечера прохладные. Здесь прелестная коралловая бухта, глубоководная,— океанские лайнеры причаливают прямо к берегу. Ночью пароходы украшают себя янтарными бусинками огней. В сумерках по заливу ходят яхты с алыми парусами.

Перечтем романтическую повесть Александра Грина о прекрасной девушке Ассоль, мечтавшей увидеть корабль с алыми парусами...

«Разбрасывая веселье, он плыл, как вино, роза, кровь, уста, алый бархат и пунцовый огонь... Крылья пены трепетали под мощным напором его кия... взошло солнце, и яркая полночь утра сдернула покровы со всего, что еще нежилось, потягиваясь, на сонной земле».

И утром, до наступления жары, в заливе ходят яхты с алыми парусами...

На самолетах, на пароходах спешат туристы в Дар-эс-Салам зимою (по-нашему, летом: в июле — августе), чтоб поваляться на пляжах, покачаться в зыбке крутых валов океанского прибоя, поохотиться в джунглях.

Городские пляжи в аренде туристских фирм; на столбах предупреждения: «Прайвит», то есть частное, как у нас говорят, приватное владение. И «диким» купальщикам заходить сюда возбраняется.

Советской молодежи это покажется невероятным: на блага природы, на океанские берега ввели частную собственность.

Полиция, однако, охраняет «прайвит» строго...

В дни нашего пребывания в Дар-эс-Саламе туда приплыл очередной океанский лайнер с американскими туристами. Пожилые дамы, ясное дело, занялись писанием открыток. Юноши и девушки бросились в город за африканской экзотикой.

Доходы профессора хиромантии в это время, бесспорно, возросли.

ПОЧТИ НЕВЕРОЯТНЫЕ СЮЖЕТЫ

Университетский колледж в Могадишо; знакомимся с административным ректором господином Пироне. Его сан соответствует примерно должности проректора по учебной части советских университетов.

Господин Пироне говорит с нами на русском языке, не только чистом, что уже само по себе является достоинством, но на старомодном чистом русском языке: «судите сами...», «смею ли я заметить...», «согласитесь, что...», «приношу душевную признательность...», «благодарствуйте», — подобные выражения исчезли из нашей устной речи.

Михаил Рафаилович родился в Петербурге, мать его — русская, отец — обрусевший итальянец, врач. Окончил Пироне петербургскую классическую гимназию на Васильевском острове. В годы гражданской войны семья покинула Россию, — отцовский итальянский паспорт пригодился... Окончив Римский университет, Михаил Рафаилович уехал в итальянскую колонию Сомали, еще не ставшую независимой республикой Сомали, работал долгие годы административным чиновником в провинции, стал выдающимся знатоком Восточной Африки. Научные труды он пишет, естественно, по-итальянски, издает в Риме, — в Могадишо еще нету книжной типографии...

Утром следующего дня Пироне зашел к нам в отель. Начались бесконечные воспоминания о Петербурге — Петрограде. Детство!.. Отрочество!.. Самое заветное, чарующее в жизни каждого из нас.

Вдруг выяснилось, что Михаил Рафаилович и профессор Хитаров, член нашей делегации, вертели когда-

то — в разные годы, конечно, — ручку органа в костеле св. Анны. Католический юноша Пироне — бесплатно; рабфаковец Коля Хитаров в двадцать втором году — за умеренную, ох, весьма умеренную плату.

Что ж, я в студенческие годы грузил баланс в Ленинградском порту, был ночным сторожем магазина, а Николай Иванович, нынешний профессор, подрабатывал у католиков.

Безработица!.. Современному советскому студенту это трудно понять.

Накануне я подарил Михаилу Рафаиловичу книгу своих рассказов (не упрекайте меня в нескромности: конечно, я повез в Африку собственную, а не чужую книгу!..), изданных в библиотечке «Огонька». Ознакомившись с рассказами, Пироне сказал:

— Я ведь совсем не знаю теперешней России! Перечитываю Чехова и Тургенева. Новые русские книги начали поступать в Могачишо только после открытия советского посольства.

Затаенная грусть прозвучала в его словах...

А через несколько дней в Дар-эс-Саламе на набережной к нам подошел высокий сутулый юноша в очках, таких массивных, что, казалось, голова его все время клонилась на грудь и он как бы клевал носом.

— Здравствуйте! — сказал он тоненьким, как бы неустоявшимся голосом.

Мы обернулись: русский.

Доцент Иоганнесбургского университета по кафедре биологии; узкая специальность — биохимия.

Десятилетним мальчиком в сорок четвертом году Бориса увезли из Киева, — гитлеровцы отступали... Сейчас меня не занимают подробности тех событий.

...Прощай, Днепр, и св. София, и Крещатик, лежавший в ту пору грудой развалин, и памятник Богдану Хмельницкому, — никогда больше не увижу родных мест!

Лагерь для «перемещенных лиц». Английский колледж. Лондонский университет. За восемнадцать лет Борис, овладев английским языком, стал ученым, от-

правился работать, преподавать в далекую, такую далекую Африку.

Конспект судьбы киевского мальчика, который я набросал в путевом блокноте и передаю здесь без изменения, поражает, условно говоря, неправдоподобной правдивостью...

Борис говорит, что и поныне читает лекции студентам по-русски, то есть думает по-русски, и сам себя переводит, вслух произносит соответствующие английские фразы.

Ученые, члены нашей делегации, обрадовались, узнав, что кафедра получает основные журналы Академии наук СССР, и Борис устно реферировал их коллегам подряд, статью за статьей: читает и тут же переводит русский текст на английский язык.

И еще скажу о двух встречах, тоже путевых, тоже случайных, а может, и не случайных, по-своему типичских.

В Эфиопии, в Аддис-Абебе, заслышав русскую речь, к нам подошли два старика эмигранта; один из них был замечательно красив: высокий, с копной белых кудрей, с юношеской талией, с выправкой гвардейского офицера,— действительно, он некогда был гвардейцем; знакомясь, назвал родовитую дворянскую фамилию; другой старец, с прыгающей узенькой бородкой, был поплотнее: суетлив, волнуясь, приподнимался на цыпочки.

Мы разговорились.

Гвардеец прожил жизнь «умно»: после разгрома деникинской армии, в рядах которой сражался, как он признался, «по глупости», поступил в сельскохозяйственный институт в Бельгии, получил диплом агронома и нанялся на службу в министерство земледелия Эфиопии. Держался он с достоинством, и мне показалось, что причина этому — тридцать лет труда... Может, я преувеличиваю? Да нет, не преувеличиваю. Когда он приехал сюда, то в Эфиопии еще существовало по закону рабство. И он работал в архитруднейших условиях среди князей-расов, помещиков, безземельных крестьян, батраков, рабов. Такая жизнь могуче формирует характер.

— А это наш недорезанный буржуй!— показав на приятеля, сказал с плутовской усмешкой агроном-гвардеец. Да, он выразился именно так: «недорезанный...»— Домовладелец! Имеет доходный дом.

У старца запрыгала борода. Приподнявшись на цыпочки, он возмущенно прошипел:

— Тридцать пять лет благоразумия!..

А я вспомнил либерийские разговоры: «Дело... Крупное дело!»

Через год в Париже, на аэродроме, тоже слышав русскую речь (повод для знакомства — неизменный), к нам подходит молодая женщина, рекомендует графиней К.

Графиня преподает в лондонских женских колледжах французский и русский языки, а в Париж прилетела самолетом к старикам родителям на рождественские каникулы.

Услышав, что год назад я был в Эфиопии, она сказала:

— В Аддис-Абебе живет мой дядя.

— Турчанинов?— бог весть почему вырвалось у меня.

— Да! Встречались?— без удивления сказала графиня, словно встретиться с ее дядюшкой в далекой Африке — пустяковое дело.

...Не придавайте этим моим заметкам из блокнота неоправданно многозначительное содержание. Хочу я сказать одно: самые хитроумные детективы ничего не стоят по сравнению с непревзойденной мастерицей сюжетов — жизнью!

СНЕГА КИЛИМАНДЖАРО

Астров. А, должно быть, в этой самой Африке жарища — страшное дело!
Войнички. Да, вероятно.

А. П. Чехов. «Дядя Ваня»

У подножия Килиманджаро было холодно, сеялся мелкий дождь, точь-в-точь подмосковный, осенний, и в ложбинках клубился туман.

Дорогу размыло, автобус застрял в колдобине, колеса со свистом вертелись, разбрасывая сучья, а мы таскали из леса жерди, торили гать,—так на фронтовых дорогах когда-то мы, молодые солдаты, плечом, грудью подталкивали машины...

Однако африканская грязь оказалась цепкой, покруче псковской или новгородской, и мы пошли, выломав посохи, скользя, сдувая с лица изморось; тропинка извивалась, терпеливо ползла в гору, а мы шагали по ней, ежась: брр, до чего ж студено!

После нескольких часов изнурительного восхождения от нас валил пар, как от загнанных лошадей. Наконец тропинка выскочила из леса, расплылась по альпийским лугам, эйлагам, как говорят в Закавказье, мы отдышались, осмотрелись... Велико ж было разочарование: Килиманджаро занавесилась грязно-мутными тучами.

Так мы ничего и не увидели в этот день, а устали, продрогли, вымокли до косточек.

Хозяйка пансиона в Маранге, где мы остановились, утешительно сказала, что ненастье здесь длится неделями.

— Но вы сможете на базаре в Аруше полюбоваться и за скромное вознаграждение сфотографировать масаи,—любезно добавила она.

Да, мы там были, мы видели воинов-масаи с копьями и щитами, женщин с тяжелыми кольцами в ушах и на щиколотках; рук почти не видно под спиралью бронзовой проволоки; обматывают проволокой руки девушек, вернее — девочек, а через несколько лет, когда зрелая женщина уже потучнела, раздобрела, из этой кольчуги буквально выползают, вываливаются ломти мяса.

Лица и мужчин и женщин выкрашены белой глиной.

Может, я и ошибаюсь, но мне показалось, что копья и щиты масаи сохранили для туристов: целыми днями они сидят на базаре...

Да, я ошибался

Вернувшись в Москву, я прочел в научном журнале статью о трайбализме. Этот термин (tribe) становится сейчас в Африке все более злободневным и означает

он племенную рознь, племенную вражду. В статье приводились слова воина-масаи:

«Копье и нож я ношу не против зверей, а потому что живу на границе племени луо и всегда должен быть готов к защите своей территории».

Так что «базарный» масаи, приманка туристов, в любой момент превращается в готового к схватке воина.

Фотографии, даже удачные, не смогли заглушить во мне чувства досады: подумайте, как обидно лететь через всю Африку и теперь вязнуть в плотном сыром тумане, зябнуть, сушить мокрые носки и ботинки и... и не видеть Килиманджаро!

А в моей памяти «Снега Килиманджаро», рассказ Хемингуэя,—вершина его лирической поэзии...

Много лет назад мы, молодые, вернее — начинающие писатели: Н. С. Атаров, А. Г. Письменный, Е. Г. Босняцкий и я — были ошеломлены, восхищены рассказами, как мы фамильярно выражались, Хема.

Долго мы не могли вырваться из-под властного влияния благородно-лаконичной композиции, пластики, гармонии внешне простого, принципиально простого, но с глубочайшим психологическим подтекстом стиля Хемингуэя.

Как будто потом вырвались...

«Снега Килиманджаро» — рассказ о величайшей ответственности писателя перед обществом, о запоздалом, уже у врат смерти, сожалении, что ты не все сделал, что мог бы и обязан был сделать, что необходимо если и не торопиться, то во всяком случае отдавать всего себя творчеству, а не транжирить жизнь на пустяки.

Умиравший от гангрены в Африке писатель говорит себе:

«Сколько всего было, о чем хотелось написать. Он следил за тем, как меняется мир; не только за событиями, хотя ему пришлось повидать их достаточно — и событий и людей; нет, он замечал более тонкие перемены и помнил, как люди по-разному вели себя в разное время. Все это он сам пережил, ко всему приглядывался, и он обязан написать об этом, но теперь уже не напишет».

Так искренне, с такой душой рвущей тоскою в русской поэзии говорил Маяковский. Помните?

Я
в долгу
 перед бродвейской лампией,
перед вами,
 багдадские небеса,
перед Красной Армией,
 перед вишнями Японии —
перед всем,
 про что
 не успел написать.

Разумеется, здесь нет прямого совпадения, но ведь я сейчас не пишу литературоведческого трактата, а рассказываю о том, что думал, вспоминал дождливым вечером у Килиманджаро.

Ветер наконец-то сжалился над приунывшими путниками, прогнал тучи, и когда мы утречком вышли из отеля, то замерли в восхищении: кристалл льда, именуемый Килиманджаро, сиял первозданной чистотой.

В нем было что-то космическое: обычные оценки, представления, масштабы исчезли, как вчерашние тучи. В оправе вечнозеленой Африки стояла Килиманга Нгара — Сверкающая гора (на языке суахили). Трещины дымились снежной пылью. Солнце умножало блеск, отражаясь от зеркально-литых ледников. Тысячелетия волшебного сияет серебряная корона Африканского материка! Так же, как пирамиды Гизы потрясают и поражают, казалось бы, недоступной человеческому гению простотою формы, Килиманджаро приковывает взор и сердце неправдоподобно исполинским, действительно космическим величием: если можно вообразить ледяное холодное солнце, то это и будет Килиманджаро...

Венки облаков плыли ниже вершины, а еще ниже их по зеркалам ледников скользили легчайшие тени облаков.

Днем приехали, разбили палатки в саду отеля английские школьники, чуть-чуть неуклюжие, может быть, кокетливо неуклюжие, как все молодые англи-

чане. Долго пылал костер ночью и слышались песни... Хорошо быть четырнадцатилетним, и ночевать под звездным небом, у низкого костра, и любоваться серебристым облаком Килиманджаро!

А в день отъезда установилась ясная, сухая, но не жаркая погода, и в окне автобуса, увозящего меня на аэродром, долго была видна Сверкающая гора — фантастическая башня льда, снега и солнечного блеска.

Как бы напоминала — не забывай.

Да разве такую забудешь!..

СОДЕРЖАНИЕ

РАССКАЗЫ

Устинья Иванова	7
Тишина	29
Тебе можно позавидовать	43
Свидание с юностью	50
Моментальный снимок	59
Влажный снег	74
По ленивой волне	85
Переходный возраст	101
Подростки	117

ПОВЕСТИ

Юва — семья, гнездо, дом	133
Волков	166

ОЧЕРКИ

Под небом Африки

В далекой Эфиопии	213
Гана, Того, Либерия	236
Снега Килиманджаро	277

Василевский Виталий Сергеевич

ВРЕМЕННОК

М. «Советский писатель», 1971, 336 стр.
План выпуска 1971 г. № 72. Редактор О. Г.
Маркова. Худож. редактор В. В. Мед-
ведев. Техн. редактор А. И. Мордош-
кин. Корректор С. И. Малкина. Сдано в
набор 20/X 1970 г. Подписано к печати 26/I
1971 г. Бумага 64×104¹/₂, № 2. Печ. л. 10¹/₂
(17,64). Уч.-изд. л. 16,45. Тираж 100 000 экз.
Зак. № 616. Цена 69 коп. Издательство
«Советский писатель», Москва К-9, Б. Гнед-
никовский пер. 10. Тульская типография
Главполиграфпрома Комитета по печати
при Совете Министров СССР, г. Тула, про-
спект им. В. И. Ленина, 109.

БИБЛИОТЕКА КГПИ

Инв. № 186551